НОВЫЙ ЖУРНАЛ

XIV

НЬЮ-ИОРК

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Основатель М. О. ЦЕТЛИН

THE NEW REVIEW
RUSSIAN QUARTERLY

под редакцией
М. М. КАРПОВИЧА

XIV

НЬЮ-ИОРК
1946

Printed in the United States of America
by L. Rausen, 417 Lafayette Street, New York 3, N. Y. GR, 5-9802
Residence AU 3-0310

ОГЛАВЛЕНИЕ:

И. А. Бунин. — Ловчий 5
Б. К. Зайцев. — Путешествие Глеба 13
В. С. Яновский. — Американский опыт 69
Роман Гуль. — Конь рыжий 94
Владимир Варшавский. — Первый бой 114

СТИХИ:

А. Лисицкой, Гизеллы Лахман, Е. Рубисовой, Александра Ян Рубана 130

ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ:

С. Л. Франк. — Ересь утопизма 137
Г. П. Федотов. — Между двух огней 154
И. М Хераскова. — Общество благородных 170
М М. Карпович. — О смысле международного права 186

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО:

Б. К. Зайцев - М. О. Цетлин 199
М. О. Цетлин. — Восьмидесятые годы 204
Н. К. Авьерино. — А. Г. Рубинштейн 209

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ:

Д. Ю. Далин. — Как Россия оборонялась 213
В. Б. — Из встреч и разговоров 232
С. П. Мельгунов. — Рыцарь свободы 245
Г. Я. Аронсон. — Эпизоды февральской революции 260
Н. М. Ясный. — Ахиллесова пята колхозной системы 273
А. П. Вельмин. — Русское население в Польше во время оккупации 290
В. А. Маклаков. — Канун революции 306

БИБЛИОГРАФИЯ:

В. М. Зензинов. — I Chose Freedom, by Victor Kravchenko 315
Н. С. Тимашев. — Книги о советской России: Russlands Volkswirtschaft unter den Soviets, von S. N. Prokopowicz. — The Development of the Soviet Economic System, by Alexander Baykov. — Russia and the Western World, by Max M. Laserson 321
А. А. Г-ер. — From a Political Diary: Russia, the Ukraine, and America, by Arnold D. Margolin 326
С. М. Соловейчик. — The Great Retreat, by Nicolas S. Timasheff 328
М. В. Вишняк. — О правах человека: Human Rights and Fundamental Freedom in the Charter of the United Nations, by Jacob Robinson. — Toward Peace and Equity. — Human Rights in the Peace Treaties 332
Г. П. Федотов. — Третий час, вып. I 333
М. М. Карпович. — Памяти Рахманинова 335

ЛОВЧІЙ

Въ людской избѣ, на большой печи, въ сумракѣ, зиму и лѣто лежалъ Леонтій, длинный и невѣроятно худой, заросшій сѣдой щетиной бороды, бывшій бабушкинъ поваръ. Въ лѣтніе дни въ людской часто бывало пусто, одинъ Леонтій лежалъ на печи. На столѣ были прикрыты рядкомъ черные хлѣбы. Я приходилъ, садился на лавку, отламывалъ корку, солилъ и ѣлъ. А Леонтій лежалъ и говорилъ:

— Да, барчукъ, не всегда я такъ лежалъ, мусоромъ голову пересыпалъ. Не всегда и поваромъ былъ. Я у вашего дѣдушки по бабушкѣ, у Петра Алексѣича Чамадурова, ловчимъ былъ, стаей правилъ...

— Стаей собакъ?

— Такъ точно. Не телятъ-же! Былъ сперва простымъ доѣзжачимъ, борзыхъ, значитъ, велъ, а вслѣдствіе времени ловчимъ сталъ. А вѣдь это вамъ не книжку прочесть, тутъ даже простого русака ослѣдить, и то надо умъ имѣть. Вотъ хоть взять охотничій подкликъ — тутъ не одно хайло нужно! Тутъ куражъ нуженъ. А я, бывало, как наддамъ: «О, гой!», такъ весь лѣсъ дрогнетъ! Опричь того былъ дѣдушка вашъ охотникъ смертный, завзятый, — ему угодить не всякій могъ. Была у него завѣтная наложница, дѣвка именемъ Малашка, — я потомъ разскажу вамъ какъ-нибудь, какъ я из-за нее погибъ, попалъ подъ страшный сюркупъ... Ужъ какъ онъ людей своих терзалъ, до чего неприступенъ былъ! А эта Малашка просто веревки изъ него вила, онъ за нѣжное ея притворство на все былъ готовъ. «Она мнѣ, Леонтій, миляе всѣхъ на свѣтѣ!» Такъ прямо и говаривалъ мнѣ. Я ему въ отвѣтъ, что не можетъ того быть, что, молъ, это вы только замысловато шутить изволите, а онъ мнѣ еще тверже того: «Нѣтъ, не шучу и ты изволь

Copyright 1946 by the New Review. All Rights Reserved.

слушать меня съ примѣчаніемъ». Ну, а я все противныхъ мыслей былъ, все думалъ про себя: погодите, погодите, сударь, покажетъ она вамъ себя въ нѣкій срокъ! Вѣдь на суслѣ пива не узнаешь, вѣдь сейчасъ-то она пока дѣвчонка, а вотъ какъ станетъ въ лѣта входить... Они же между тѣмъ въ даль свои мечты не простирали, — молъ, когда-то еще это будетъ! Мы такое заведеніе имѣли, послѣ осеннихъ охотъ былъ у насъ завсегда большой публичный столъ, такъ что жъ вы думаете? — Они эту дѣвку съ гостями сажали! Ну, а послѣ Малашки нащетъ охоты съ ума сходили, и охоту держали мы истинно знаменитую. Такъ собаку любить, какъ дѣдушка любили, никто во вселенной не могъ. Они всякую охоту обожали, — и ла шасъ о леврье и о шьенъ куранъ, — иной разъ интересовались даже и мокрой, а весной по брызгамъ...

— Какой мокрой?

— А всякой, значитъ, болотной. И какихъ только собакъ у насъ не было! Были понтеры, были сетеры, были лягавыя, а борзымъ и гончимъ и счетъ потеряешь — ихъ за усадьбой цѣлый станъ стоялъ. Ну и я гончихъ и борзыхъ любилъ — можетъ, не меньше дѣдушки. Изъ того холостой на вѣкъ остался, не увлекался самыми первыми красавицами. Да и некогда было, круглый годъ только стая на умѣ. Да и что эти красавицы, барчукъ! Всѣ, какъ говорится, на одинъ и тотъ же вкусъ, подобно курицѣ, — что черный, что бѣлый хохолъ. Всѣ эти понтеры, сетеры, лягавыя мнѣ были не по чемъ, ружья я и не зналъ. Бывало, спросятъ дѣдушка: «Ну какъ, Леонтій, на твой взглядъ моя новая лягавая?» Хороша, скажешь, сударь. Стоитъ мертво, подаетъ отлично. Они опять изволятъ ко мнѣ приставать: «Нѣтъ, ты скажи мнѣ пожалуй хорошенько, что ты точно думаешь?» Да что-жъ, говорю, могу я точно думать? Не возьмите во гнѣвъ: не могу я ни понтера, ни сетера, ни лягавую любить, изъ какого гнѣзда они ни будь.

— Какъ изъ гнѣзда?

— А это всегда такъ, сударь, говорилось: изъ дурного гнѣзда собака, изъ хорошаго гнѣзда собака... изъ какой фамиліи, значитъ.

— А какъ еще говорилось?

— Да мало-ли какъ. Теперь такъ ужъ не могутъ говорить.

— Ну скажи что-нибудь.

— Да что жъ не къ дѣлу говорить? Это подобно тому, какъ пѣсню пѣть не кстати. Вотъ была, къ примѣру сказать, самая главная пѣсня у насъ — лучше этой пѣсни, на мой сгадъ, на свѣтѣ нѣтъ, а пѣть ее надо было тоже ко времени. Эта была самая наша задушевная: «Выпьемъ, други, на крови!» Эту пѣсню, сударь, пѣли на добычѣ:

Выпьемъ, други, на крови,
Въ честь охотницкой любви!

И вотъ ужъ истинно картина была: лежитъ на полянѣ взятый звѣрь, кровяной, гордый, ужъ съ пленкой на глазахъ, съ закушеннымъ языкомъ, а округъ него цѣлой ассамблеей охотники — вдаришь въ рогъ и грянутъ всѣмъ хоромъ: «Выпьемъ, други, на крови!» И вотъ какое дивное дѣло бывало почесть всегда: какъ нарочно о ту пору солнце выглядывало! То все дождь сѣетъ, а тутъ какъ разъ стихнетъ, разойдется мга, засинѣетъ въ небѣ и солнце глянетъ: весь мокрый лѣсъ озаритъ, согрѣетъ, сдѣлаетъ такой апофеозъ — во вѣкъ не забудешь! А дѣдушка стоятъ во всемъ своемъ охотницкомъ нарядѣ замѣчательнѣе всѣхъ, съ чаркой въ рукѣ, а возлѣ нихъ — ихъ самый главный форитъ Побѣдимъ...

— Это его гончій кобель?

— Такъ точно-съ.

— Такъ вѣдь ты какъ-то говорилъ, что онъ ужъ старый былъ?

— Что жъ что старый! Прямо герой былъ даже и въ ту пору! Онъ разъ въ одно поле...

— Это значитъ сразу?

— Никакъ нѣтъ. За одинъ день, лучше сказать, за одно полеваніе. Онъ за этотъ день взялъ цѣлыхъ пятерыхъ лобановъ! Былъ изъ себя приземистый, брудастый, иначе сказать, усатый, и мастью муругый, — вродѣ какъ черный, только съ красниной, — лапы стойкія, въ локоткахъ съ кривизной немножко, а ужъ про грудь и говорить нечего: Ерусланъ! И весь въ цапинахъ и хваткахъ — волки не разъ пятнали. Мы его на Бушуя у князя вымѣняли, молодымъ еще, онъ тогда еще не опсовѣлъ какъ слѣдуетъ, а ужъ видно было, что изъ него будетъ. А Бушуй, хоть и знаменитъ былъ, да ужъ сталъ на балалайкѣ поигрывать...

— Какъ это на балалайкѣ?

— Паршивѣть съ годами сталъ. Сядетъ — и ну лапой частить по бокамъ, по ушамъ!

— А что значитъ не опсовѣлъ?

— А это всегда такъ говорится про молодого кобеля, — значитъ, еще не сталъ настоящимъ псомъ. Да и про суку тоже: молода, молъ, еще не опсовѣла. Это какъ про звѣря говорятъ, про волка: прибылой, значитъ, молодой, а если старый, то это, въ просторѣчіи, лобанъ, матёрый. Если же взять, къ примѣру, зайца, такъ онъ бываетъ, во перьвыхъ, февральскій, настовикъ...

— Почему настовикъ?

— По той причинѣ, что о ту пору снѣгъ ужъ крѣпко занастѣлъ, коркой, настомъ покрылся, а онъ любитъ по этому насту жировать, иначе сказать, играть, петли дѣлать. Вонъ лисица, та любитъ мышковать, мышей по-полю промышлять, вродѣ какъ дворовая сучка по-полю за ними мышкуетъ, сычуетъ, — вѣдь сычи и совы тоже за ними охотятся, — а заяцъ, онъ только съ жиру играетъ, жируетъ. И это настовикъ называется, а старый русакъ, онъ голубой: онъ ужъ, значитъ выцвѣлъ, сѣрую шерстку спустилъ.

— Ну, хорошо, а какъ же это Побѣдимъ въ одно поле пять лобановъ взялъ?

— А такъ и взялъ. Очень лютъ былъ. И характера самодурнаго, угрюмаго. Пока не разровнялась охота, идетъ будто скучный, равнодушный. Онъ отъ своръ, отъ стаи всегда одиночкой ходилъ, безпремѣнно возлѣ дѣдушки, и все будто что-й-то думаетъ, хмурится, никуда не спѣшитъ. Да и дома такой же. Бывало, кричишь на-корму: «Атрышъ!» — чтобы, значитъ, не кидались собаки не во время къ корму, а онъ и не слушаетъ — стоитъ отвернувшись, самъ, молъ, знаю время. Кричишь наконецъ того: «Надбруцъ!» — значитъ, разрѣшаешь на корыто съ запаркой кинуться — онъ опять не спѣшитъ, подходитъ будто нехотя — и ужъ тутъ не стой другая собака возлѣ него близко — такъ рыкнетъ да оскаблится, что дай Богъ ноги унести! Вотъ я и говорю: все, бывало, самъ по себѣ ходилъ, возлѣ дѣдушки. И уменъ до того, что только не говоритъ: будто и не смотритъ, а всякій дѣдушкинъ взглядъ видитъ, знаетъ и отъ его стремени, пока работы нѣту, ни на шагъ. А ужъ это, по охотницкимъ замѣчаніямъ, много значитъ. Такъ и говорится: умница собака, отъ стремени безъ дѣла ни на пядь.

— А еще какіе у васъ знаменитые кобели были?

— Гончіе, тоесть? Былъ Будило, Карай, Вопило, Пылай... Были сучки отмѣнныя, чистопсовыя, все больше краснопѣгія: Вьюга была, Стрѣлка, Заира... Эта Заира воейковскую Ласку съ ушей обрывала!

— Перегоняла?

— Такъ точно.

— У ней щипецъ хорошъ былъ?

— Не кстати, сударь, говорите. Слыхали звонъ, да не знаете, гдѣ онъ. Щипецъ, а по-просту говоря, пасть, это только у звѣря бываетъ. Это какъ всякій хвостъ полѣномъ называется, а лисій — трубой. Хвостъ не охотницкое слово.

— А лисій слѣдъ — нарыскъ?

— Не нарыскъ, а нарыскъ, — тутъ надо на «на» упирать. Онъ рыскаетъ, вотъ и выходитъ нарыскъ.

— А гдѣ ее ждутъ? На лазу?

— И опять ни к чему вы говорите. Тутъ опять на «зу» надо упирать — на лазу! — а главное, это не лисицу, а волка ждутъ на лазу, тамъ, значитъ, гдѣ онъ вылѣзаетъ, да и то не всегда — мало-ли гдѣ его ждутъ! И что жъ это вы все меня сбиваете, слова не даете сказать? Вотъ я ужъ и забылъ, о чемъ была рѣчь.

— Ты про Побѣдима хотѣлъ разсказать.

— Ну да, а вы все сбиваете. Вотъ я и говорю приказали разъ дѣдушка большой охотѣ быть. Разъ говорятъ мнѣ: «Знаешь, Леонтій, я даже ночь вчерась не спалъ, упражненъ будучи с самой ужины воображеніемъ на счетъ нашихъ охотъ. Разбился въ идеяхъ, куда жъ намъ на полеванье итить? Надоѣли мнѣ наши скаредныя мѣста. Конечно, легче въ бездѣлицахъ упражняться, нежели въ дѣлахъ изрядныхъ, одначе это не мой вкусъ. Будемъ брать поле въ Верховьи». Ужъ очень, говорю, непролазныя мѣста, сударь. Тѣмъ лутче, говорятъ, молчи и слушай мое готовое. Потомъ, послѣ ужины...

— Послѣ ужина?

— Это теперь такъ выражаются, а мы говорили по своему, по старому. Ну такъ вотъ, дали они послѣ ужины повторительный приказъ камердинеру, чтобы какъ можно скоряй кофій имъ нарани подали. Опочивать изволили рано, по разговорахъ со мной вскорости къ себѣ ретировались, поутру же были изрядно строгъ, все въ полслова приказывалъ. Чѣмъ свѣтъ опять меня зовутъ. Леонтій, говорятъ, повторяю тебѣ — мы нынѣшній годъ срамимся до девятой пуговицы, большой охотой все манкируемъ, съ поля иной разъ уходимъ, не видавъ ни шерстинки. Я отвѣчаю, что, молъ, не наша въ томъ вина, время все стояло теплое, всякая звѣрь хоронилась, не въ рыску была...

— На «ку» надо упирать?

— Такъ точно. Значитъ, не рыскала. Ѣздили, говорю, раза два по бѣлотропу...

— Это по первой порошѣ?

— Ахъ, сударь, замучили вы меня! Ну, конечно, такъ. Ѣздили, говорю, по бѣлотропу, а онъ подъ котомъ таялъ — развѣ эта охота? Все перемочки, изгарь, сырая прохолодь... Вотъ теперь другое дѣло и звѣрь ужъ вылѣзъ какъ слѣдуетъ...

— Откуда вылѣзъ?

— А изъ лѣсу. Это когда онъ позднюю осень почуетъ и въ лѣсу больше не хоронится, а въ поле выходитъ. Опять-же, говорю, и Побѣдимъ хворалъ, а мы все на Катая надѣялись, съ нимъ роль хотѣли разыграть. (Дѣдушка тогда только что вымѣняли у Рудина на Рѣзвую этого Катая и увлекались, понятно). Катая, говорю, нельзя покорить, собака ладная и съ ногами, работаетъ правильно, да развѣ Побѣдиму чета?

— А какой Катай былъ? Чернопѣгій, краснопѣгій или полвопѣгій? Брудастый?

— Ишь какъ вы навострились, сударь! А спроси васъ, какой такой полвопѣгій, анъ и не знаете.

— Нѣтъ, знаю. Бѣлый въ желтыхъ пятнахъ.

— Правильно-съ. А брудастый?

— Ты это уже говорилъ. Усатый.

— Опять вѣрно. А подъуздый?

— А это когда нижняя челюсть маленькая.

— В аккуратъ вѣрно. А Катай былъ чернопѣгій и брудастый. Ну хорошо, только опять мы съ вами съ дороги сбились, надо вамъ досказать про Побѣдима. Вышли въ тотъ день дѣдушка на крыльцо ранымъ рано, оглядѣлись — ну, говорятъ, съ Богомъ, на-конь! Двинулись мы всѣмъ нашимъ многолюдствомъ, прошли по вѣнцу нашей горы, выровнялись на просторъ, поднялись дѣдушка на своемъ буланомъ на темя и приказали зачинаться полю...

— На какое темя?

— Ахъ, Царица Небесная! Ну какъ это сказать? На возвышенное мѣсто по просту говоря, — какой вы непонятный! Шли сперва по мелочамъ, по мелкому, зна-

читъ, кустарнику, потомъ свалились въ луга къ лѣсу, перешибъ я луга рысью и сталъ подвывать. Только отголосу не слышу никакого, — вѣрно, думаю, они на добычѣ. Выскочила, было, лисица да скатилась въ овраги и сразу понорилась, ушла в свое нырище — не стали мы на нее и время терять. Потомъ подозрилъ я русака, хлопнулъ арапельникомъ — заложились за нимъ Стрѣлка съ Заирой по грани, воззрѣлись, сладились....

— По грани? Это по рубежу, значитъ?

— По межѣ, по рубежу... Спѣютъ, спѣютъ...

— Настигаютъ?

— Понятное дѣло? Спѣютъ за нимъ почесть ухо въ ухо, только сталъ онъ вдругъ отростать отъ нихъ...

— Какъ это отростать?

— Уходить, сударь, уходить. Да Заира не глупѣй его была — наддала маленько, сбила его съ грани и покатилась вмѣстѣ съ ним, а тутъ стая и накрыла ихъ? Дѣдушка кричатъ: «Прими!», а я ужъ давно принялъ...

— Закололъ?

— Конечно, закололъ, да кто жъ такъ-то говоритъ? Приказная строка какая-нибудь! Да не въ томъ дѣло, сударь, я все это къ тому, что окромя этих пустяковъ ничего мы въ тотъ первый день не сдѣлали до самаго вечера. Ввечеру встрѣли охоту Рудина, сбили обѣ стаи въ одну и пошли къ нему на наслѣгъ, подвалили къ усадьбѣ...

— На ночлегъ?

— На наслѣгъ, сударь, на наслѣгъ. А у Рудина...

Но мнѣ, какъ это часто бываетъ съ дѣтьми, вдругъ становилось скучно, хотѣлось въ садъ, на прудъ. Я начиналъ вертѣться, уже плохо слушалъ, что было у Рудина, и наконецъ подъ какимъ нибудь предлогомъ ускользалъ изъ избы, пообѣщавъ Леонтію придти дослушать его завтра. И Леонтій опять оставался одинъ въ сумракѣ на печи, въ пустой избѣ, со своими думами о временахъ дѣдушки.

1946 г. Парижъ **Ив. Бунинъ**

ПУТЕШЕСТВІЕ ГЛѢБА *)

IV.

Среди спокойствія, прозрачныхъ вечеровъ Балыкова (блѣдно-зеленѣющее небо. Венера на закатѣ, шуршаніе пузырьковъ снѣга тающаго, всѣхъ поръ его) — вотъ, весна приближается, зимній Оріонъ отходитъ. Сиріусъ блеститъ еще надъ елками, скоро перестанетъ блестѣть.

Мать хотѣла-бы ровнаго благоустройства дома балыковскаго, продолженія прошлаго, но вмѣстѣ съ годомъ, звѣздами, клонящимися къ веснѣ, въ медленномъ вращеніи всеобщемъ малая ея жизнь тоже поворачивается: не ея одной — всей семьи.

Извѣстіе о Глѣбѣ пришло когда отецъ по распутицѣ уѣхалъ въ Илевъ. Въ тепломъ большомъ домѣ съ весенними зорями за двойными еще рамами изживалось оно въ одиночествѣ. Краса Венеры не помогала. Благоуханіе сосенъ саровскихъ тоже. Сыночка исключенъ! А если его арестуютъ? «О, Боже мой, Боже мой!» Мать бродила по дому. Онъ сталъ теперь для нея темницей. Что-же, второй разъ въ Москву собираться?

Отецъ вернулся черезъ два дня, къ бѣдствію сыночки отнесся покойнѣе. Довольно бодро сказалъ:

— Кэпско коло Витебска.

И рѣшивъ, что конечно Глѣбъ юноша съ причудами — въ этомъ, впрочемъ, никогда и не сомнѣвался, — не захотѣлъ мѣнять бытія своего, сталъ готовиться къ тягѣ: разбиралъ ружья, протиралъ стволы, масляной тряпочкой до блеска, набивалъ патроны для вальдшнеповъ дробью номеръ шестой. «Книжные они всѣ

*) См. 12-ую и 13-ую книги «Нового Журнала».

люди, жизни настоящей не знаютъ» — въ этотъ разрядъ именно и Глѣбъ входилъ, книжность объясняла все. А когда черезъ нѣсколько дней пришло новое письмо, гдѣ Глѣбъ сообщалъ, что собирается въ Университетъ, отецъ махнулъ рукой, но и успокоился. Онъ такъ и зналъ, что Глѣбъ книжный. Вотъ и Университетъ все для книжекъ. Ну, ладно. Какъ хочетъ. Недорослемъ изъ дворянъ не будетъ, разумѣется. Экзамены, латынь, греческій... — что-жь, онъ способный малый, и упорный. Herr Professor. Захотѣлъ, такъ своего добьется.

За ужиномъ, прихлебывая пиво, заявилъ:

— Къ экзаменамъ одному трудно готовиться. Долженъ будетъ себѣ маэстро какого-нибудь раздобыть. Чтобы ему помогалъ.

Мать вполнѣ была съ этимъ согласна. Но чтобы только возразить, сказала:

— Сыночка настолько хорошо учится, что ему ни какой учитель и не нуженъ.

Отецъ покачалъ головой.

— Отказать! Отказать! Ты въ гимназіи не была. Въ твоемъ пансіонѣ Труба древнихъ языковъ не изучали. А ты попробовала-бы косвенную рѣчь... Нѣтъ, латинскій языкъ трудный, и замѣчательный. Его надо учить какъ слѣдуетъ. Это развиваетъ умъ, логику.

Онъ налилъ себѣ еще пива, закурилъ. — Civis romanus sum. Caïum Muzium vocant. Nec ad mortem minus est animi, quam fuit ad caedem. — Вотъ какъ они выражались. Краткость-то какая, сила! Нѣтъ, ничего, пусть учится.

Мать хмуро раскладывала пасьянсъ, отецъ училъ ее, она строго подымала на него глаза, рѣдко совѣтамъ слѣдовала. И какъ это онъ можетъ благодушно разглагольствовать, когда съ сыночкой происходятъ такія вещи!

Послѣ пасьянса вечеръ какъ всегда кончился. Мать ушла къ себѣ. Ночь застала ее въ постели, за предсоннымъ «Вѣстникомъ Европы». Долго въ ночи весенней

свѣтилось ея окно. Отецъ ужъ давно похрапывалъ въ кабинетѣ подъ ружьями, а мать, во второмъ часу потушивъ лампу, долго не могла заснуть. Сыночка, Университетъ, подготовка. Вѣдь онъ ужъ училъ всѣ эти глаголы и латинскія склоненія, еще маленькимъ, въ гимназіи, а теперь опять. «О, Боже мой, Боже мой!» Какъ трудно все, сложно. Николай Петровичъ равнодушенъ. Ему бы пиво да вальдшнепы, да въ Илевѣ полюбезничать съ какою нибудь инженершей... — только и всего.

Утро подходило. Окно проступало, на стѣнѣ вырисовалась голубятня, глѣбово произведеніе — «миленькая картинка». Нѣтъ, не такъ-то легокъ Глѣбъ, не такъ-то.

Скоро и Лиза дала о себѣ вѣсть.

«Милая мамочка, я недавно вернулась изъ Нѣжина, куда ѣздила повидать Артемія. Онъ вмѣстѣ съ другими студентами былъ арестованъ и высланъ въ Нѣжинъ. Они всѣ страдаютъ по несправедливости, жестокости правительства. Ихъ при мнѣ отправили въ другую тюрьму, въ Черниговъ, а дальше я и не знаю куда. Ты понимаешь, какъ я взволнована».

Да, это мать понимала. Вообще все понимала. Тамъ сыночка, тутъ Лиза. Превосходно. Тотъ исключенъ, едва не арестованъ, эта... — Вотъ она одинокая жизнь въ Москвѣ, безъ призору и руководства. Студентъ-медикъ со своими хохлацкими пѣсенками, длинными усами, папахой, дубиной. Герой! Хорошо еще, если порядочный человѣкъ и женихъ (что-же, она сама вышла за Николая Петровича когда тотъ былъ студентомъ Горнаго Института. Но то Николай Петровичъ... а какой то еще этотъ... Артемій! Артюша! — странная кличка. Можетъ быть, просто соблазнитель?).

И притомъ: вдругъ его и на самомъ дѣлѣ изъ Чернигова вдаль зашлютъ? Вѣдь вотъ въ Нѣжинъ Лиза за нимъ собралась, а за декабристами жены и въ Сибирь отправлялись — Богъ ее знаетъ, что она еще можетъ устроить.

У матери съ ранней юности, когда ходила она еще въ Петербургѣ слушать Сѣченова, былъ весь Некрасовъ въ коричневыхъ переплетахъ того времени. «Рыцаря на часъ» она иногда даже декламировала. «Русскія женщины», всѣ эти Трубецкія, Волконскія, превосходно, но представить себѣ, что ея Лиза, вмѣсто того, чтобы учиться въ Консерваторіи, заберется къ политическимъ въ Нерчинскъ, Читу...

Такъ проходили ея дни. Но въ треволненіяхъ за дѣтей она не знала, что гдѣ-то, для нея невидимо, ужъ созрѣвала перемѣна и въ судьбѣ отца, и въ ея собственной.

Когда дороги обсохли и тяга кончилась, отецъ опять съѣздилъ въ Илевъ. Въ Балыковѣ летали уже майскіе жуки, нѣжно распускались березки, одѣваясь зеленоватымъ дымомъ. Передъ балкономъ мать завела возню съ цвѣтами въ клумбахъ, отражаясь въ глупомъ розовомъ стеклянномъ шарѣ — безобразно онъ ее уродовалъ.

Изъ за теплаго солнышка чай пили на балконѣ. Отецъ былъ нѣсколько задумчивъ. Мать замѣтила это, но дѣлала видъ, что не замѣчаетъ.

Можетъ быть, и отцу хотѣлось-бы, чтобы его спросили? Мать не спрашивала. И онъ самъ заговорилъ.

— Мнѣ въ Илевѣ предложеніе одно сдѣлали.

Мать молчала.

— Пріѣзжалъ Кохъ, изъ Петербурга. Ну, огромное металлургическое дѣло. На югѣ заводы, въ средней Россіи тоже. Такъ вотъ не согласился-бъ я къ нимъ поступить? Проведутъ въ Правленіе, у нихъ тамъ инженера не хватаетъ. Но надо жить въ Москвѣ.

Лицо матери стало серьезнѣй, какъ бы и суровѣй.

— Какія-же условія?

— Лучше чѣмъ здѣсь, понятно.

Когда разсказалъ, какія именно, мать подняла на него глаза.

— Что-жъ... ты, конечно, согласился?

Отецъ пустилъ кольцо дыма, не безъ задумчивости.

— Сказалъ, что долженъ обсудить. Отвѣчу окончательно отсюда.

Москва! Сыночка, Лиза... вдвое больше жалованье, проценты съ производства...

Мать начинала волноваться. И чтобы волненіе скрыть, стала еще суровѣй.

— Что-жъ тутъ обсуждать? Разумѣется, соглашайся.

Отецъ помолчалъ.

— Разумѣется, разумѣется. Тамъ городъ. Все другое. Тѣснота. Вонъ какая здѣсь благодать...

— Всю жизнь по медвѣжьимъ угламъ просидѣли, наконецъ, въ Москву, и онъ колеблется.

Голосъ матери сталъ какъ бы глуше. Еще немного и гнѣвъ въ немъ послышался-бы.

— Не люблю я города. Ни простора, ни зелени. Охотиться негдѣ.

— Охотиться! Въ Москвѣ наши дѣти.

— Да, дѣти, конечно.

Противъ дѣтей не возражалъ отецъ, это все вѣрно, все-же лицо его приняло выраженіе скучающее. «Кэпско коло Витебска», могъ-бы онъ сказать. Да, здравый смыслъ. Ничего не подѣлаешь. Разумѣется, отказываться невозможно.

Отецъ ясно представилъ себѣ Москву, улицы, грохотъ, Правленіе, и заводъ, разныя засѣданія съ иностранцами — всего этого терпѣть онъ не могъ. А охота? Нѣтъ, навсегда съ ней кончай. Пойдутъ разныя канцеляріи, юрисконсульты... Конечно, деньги большія, положеніе въ столицѣ...

Утѣшало и то: въ нѣсколько лѣтъ можно стать если и не богатымъ, то состоятельнымъ — плюнуть на всѣ заводы, купить имѣніе и зажить какъ подобаетъ порядочному охотнику, какъ жили отцы, дѣды.

Передъ ужиномъ онъ позвонилъ въ Илевъ — предложеніе Коха принялъ.

Родители не задержались въ Балыковѣ — сбылось давнее желаніе матери жить въ большомъ городѣ, съ дѣтьми.

Снятъ особнякъ на Чистыхъ Прудахъ — не из роскошныхъ, но просторный, съ садомъ. Заново обставленъ — у отца гнутая мебель (обивка бордо, съ шишечками), въ гостиной зеленая плюшевая, въ столовой мореный дубокъ и матовый полушаръ электрическій на потолкѣ — свѣта много. Все вообще прочно и основательно. Въ новыхъ комнатахъ съ новою мебелью возобновляется ткань — длинный холстъ дней отъ Устовъ до Людинова и Балыкова, а теперь Москва, все нежданно-негаданно, по таинственнымъ законамъ, все стремящимъ, стремящимъ...

Изъ особняка на Чистыхъ Прудахъ отецъ ѣздилъ въ Правленіе на Мясницкую, засѣдалъ тамъ съ иностранцами и русскими. Пофыркивалъ, къ работѣ относился насмѣшливо («чиновничья служба... пустяки... что они понимаютъ въ живомъ дѣлѣ?»). Весь видъ его говорилъ: «я-же зналъ, что это будетъ неинтересно, ничтожно, такъ оно и оказалось».

Матери-же не казалась ничтожнымъ: служитъ и много зарабатываетъ — такъ ведь и надо. У нея самой теперь много денегъ. Мѣсячный ихъ извозчикъ увозилъ ее ежедневно въ городъ, тамъ дѣйствовала она по магазинамъ. На Чистые Пруды присылались ковры, кресла, посуда, безконечные пустяки хозяйства. Но — надо, это жизнь, мелкое, крѣпкое ея сложеніе: «гнѣздо», мать эти гнѣзда цѣнила.

Тотъ-же извозчикъ возилъ Лизу на Никитскую въ Консерваторію. Въ большомъ свѣтломъ классѣ Игумновъ, сидя на табуретѣ, змѣями сплетая длинныя ноги, выслушивалъ ея упражненія на роялѣ.

Но у Лизы искусство, музыка. А Глѣбъ просто сталъ съ сентября брать уроки латинскаго, греческаго у из-

вѣстнаго латиниста, инспектора гимназіи на Разгуляѣ. Угодно недюжинной жизни? Потрудитесь сначала вспомнить правила косвенной рѣчи, ablativus absolutus и мало-ли еще что. А вотъ греческій: захотѣлось сбѣжать отъ глагола «хистѣми» въ Калугѣ, такъ поспрягайте его теперь въ Москвѣ.

Глѣбъ заявлялся къ латинисту своему въ четыре. Холодная каменная лѣстница, крѣпостныя стѣны — Никифоръ Иванычъ жилъ въ казенной квартирѣ. Рукоятка звонка, обитая клеенкой дверь, молоденькая горничная. Небольшія окна въ толстенных стѣнахъ — на подоконникахъ мѣщанскія герани. Гостиная съ блистающимъ паркетомъ и рододендрономъ въ кадкѣ, иногда невообразимо-накрашенная мадамъ-латинистъ, а чаще — прямо кабинетъ съ тѣми-же оконцами, съ быстро вскакивающимъ Никифоромъ Иванычемъ: онъ отдыхалъ послѣ классовъ. Спалъ честно, крѣпко — какъ по загадочному залогу греческому (medium) говорится — «въ своихъ интересахъ». Отъ интересовъ этихъ Никифора Иваныча отрывали внезапно. Онъ былъ вообще запуганъ штукатуренною супругой — взлеталъ мгновенно, съ полоумнымъ видомъ, конфузливо напяливалъ пиджачекъ чесунчовый, вся правая щека его въ багровыхъ полосахъ, отлежана крѣпчайшимъ сномъ. Половина бороды вбокъ уѣхала, остатки волосъ на головѣ тоже торчатъ косвенно — онъ улыбается, пожимаетъ руку Глѣбу, бормочетъ смущенно.

— Прилегъ, знаете-ли... тово. Видите-ли. На полчасика. Такъ сказать. Ну, ну... что тамъ у насъ сегодня?

Но какъ только бралъ въ руки грамматику (собственнаго сочиненія, очень извѣстную) — сонъ соскакивалъ. Не то, чтобъ былъ въ восторгѣ предъ собою какъ авторомъ. Но преклонялся предъ латинскимъ языкомъ — заикающійся, помятый, кособокій Никифоръ Иванычъ въ пуху и перхоти...

Глѣба онъ не раздражалъ. Даже и нравилось нѣчто нелѣпое въ немъ, выставленное насмѣшкѣ, неказистое

и скромное. Не могло быть и рѣчи о самомъ Никифорѣ Иванычѣ. Но попробовалъ-бы Глѣбъ не совсѣмъ точно перевести фразу изъ Цезаря, Корнелія Непота: Никифоръ Иванычъ начиналъ улыбаться, улыбкою состраданія къ несчастному, который спуталъ одинъ глаголъ съ другимъ и не принялъ во вниманіе, что это косвенная рѣчь. Блаженно начиналъ самъ бормотать: «Цезарь, убѣдившись, что... ну что тамъ... переправы... переправы, которыя, не будучи достодолжно укрѣплены... не укрѣплены достодолжно... тогда-то онъ, имѣя три легіона и отрядъ... да... всадниковъ»...

Никифоръ Ивановичъ почесывалъ заросшую бородой щеку. Щека еще пламенѣла отъ пламеннаго сна, борода все еще была устремлена вбокъ, отъ него пахло тепло-затхлымъ и домашнимъ. Если-бы Цезарь увидѣлъ своего поклонника!

Глѣбъ уходилъ отъ него нагруженный. Да и дома работа. Весною экзаменъ, надо одолѣть всю гимназію — латынь и греческій. Онъ засаживался. Было чувство, что времени мало, надо впередъ, все впередъ, безъ потери часа. Зажмуриться, пережить, а тамъ... студенческая тужурка какъ у Артюши, фуражка съ синимъ околышемъ.

Лиза что нибудь копошилась въ сосѣдней своей комнаткѣ, къ ней пріѣзжали подруги, Вилочка Косминская громко сморкалась покраснѣвшимъ носомъ. Иногда изъ гостиной доносилась ихъ музыка — Глѣбъ мало выходилъ и не очень любилъ, чтобы къ нему заходили. Исключеніе одно, старая дружба дѣтства — Соня Собачка. Она объявилась внезапно.

Узнавъ, что въ Москвѣ поселились «дядечка и тетечка», прикатила Собачка на Чистые Пруды съ Самотеки, гдѣ жила. Хоть и неожиданно, но нѣкоторымъ веселымъ обваломъ — двадцатилѣтней мощной дѣвушки съ могучимъ бюстомъ, яркими щеками, запахомъ аптеки: она на фельдшерскихъ курсахъ, работаетъ тоже во всю. «Дядечка, тетечка»... — Собачка всѣхъ цѣлова-

ла, радовалась, жмуря глаза попрежнему дѣлала «кота» изъ своего лица. Глѣбъ потонулъ въ ея объятіяхъ, въ черноземѣ Мценска.

И она получила, молчаливо, но прочно, доступъ въ Глѣбову комнату, право отрывать отъ работы, мѣшать, но и ободрять.

— Глѣбъ, Глѣбъ, ты опять учишься... ты по моему все и такъ уже знаешь... все такой-же какъ въ Устахъ, Калугѣ, Herr Professor. Опять эти греки, латиняне? Зачѣмъ-же ты ихъ тогда бросилъ?

Зачѣмъ бросилъ? Да, вопросъ. Но не могъ-бы онъ ей толково и на то отвѣтить, куда бросаетъ его самого судьба, такъ или иначе жизнь юную слагающая.

— «Тэнъ д'апамейбоменосъ просефэ нефелэгеретадзеусъ...»

Глѣбъ декламировалъ внушительно.

— Ты не можешь этого понять. Здорово сказано: «Ей отвѣчая прорекъ тучегонитель Зевесъ».

— Глѣбъ, Глѣбъ, ты берешь уроки, изобрази своего профессора, это чучело кажется первой степени...

И Собачка заливалась, когда Глѣбъ, перекосивъ физіономію и взъерошивъ волосы начиналъ бормотать: «Цезарь... убѣдившись, что переправы... не будучи достодолжно... достодолжно не будучи укрѣплены»...

— Ты еще когда въ Калугѣ зубрилъ, на Спасо-Жировкѣ — помнишь, тетечка называла: Спассъ-на-Жироннь... — я еще тогда знала, что это все чушь. Помнишь, какъ ты училъ: «апетметесань тасъ кефаласъ?».

Она опять захохотала.

— Глупость, а засѣла въ головѣ.

— Вовсе не глупость. «Были обрублены по отношенію къ головамъ» — винительный отношенія.

— Да это для жизни не нужно, Глѣбъ.

— А ты «Иліаду» бы почитала, вотъ это вещь...

Иліаду Глѣбъ только-только еще понюхалъ, но плавная вязь гекзаметровъ, легкая, вьющаяся, правда ему понравилась. Собачка предпочитала медицину. Это-

го Глѣбъ не любилъ — хотя и не зналъ ничего: но не смущался.

— Медицинскія науки? Фу, тоска!

— Нѣтъ, нѣтъ, наши науки разумныя. А названія какія: десмургія, фармакогнозія!

Теперь Глѣбъ фыркалъ.

— Вотъ и названія даже у грековъ сперли.

Собачка защищала. Десмургія полезная наука — о перевязкахъ.

О пользѣ этой науки, о трудностяхъ зачета могла она разсказать, но при всей къ Глѣбу дружественности не разсказывала, что сама уже вступила, какъ и Лиза, въ кругъ иной науки, важнѣйшей: любви. Пылала уже бурнымъ темпераментомъ своимъ, къ доктору Екатерининской больницы, да и онъ пылалъ, хоть былъ женатый. Тутъ то все и затрудненіе. Объ этомъ съ Лизой шушукалась Собачка, въ ея комнаткѣ, безъ конца-начала, какъ и та съ ней объ Артюшѣ — это относилось къ той таинственной области, которая съ дѣтства еще называлась «бимъ-бомъ»: отсюда Глѣба изгоняли, какъ во времена Устовъ.

Но о всемъ другомъ легко Собачка говорила съ нимъ. И не искала — само шло изъ того чувства родного, съ дѣтскихъ лѣтъ близкаго, что было между ними. Вспоминали Усты, скарлатину, Калугу, гимназію, Красавца. Глѣбъ достачно теперь выросъ, не могъ-бы уже прокатиться на Собачкѣ по гостиной, но въ существѣ это было тоже: Глѣба Собачка принимала цѣликомъ, онъ это чувствовалъ. И онъ ее такъ-же. Она это знала. «Разскажи, разскажи Глѣбъ, какъ ты тамъ бунтовалъ, въ Техническомъ?»

Глѣбъ другому и не сталъ-бы разсказывать, но съ Собачкой вмѣстѣ они смѣялись, все это казалось ему теперь далекимъ, страннымъ. «Глупости страшныя», говорила Собачка: «наши фельдшерицы тоже бастовали, изъ сочувствія, но ты, конечно, долженъ былъ показать, что ничего не боишься. Глѣбъ, я тебя пони-

маю. Помнишь, какъ Красавецъ кичился нашимъ дворянствомъ? У него это выходило чепуха, а всетаки ты вѣдь баринъ, и какъ баринъ поступилъ».

Она сдѣлала изъ своихъ щекъ руками кота, потомъ обняла Глѣба и поцѣловала.

— Не люблю плебеевъ... помнишь, насъ въ гимназіи учили? Они все еще на какую-то священную гору уходили? Ну, и пусть уходятъ. Михрютки! А вотъ ты не михрютка. Потому у тебя съ ними ничего и не вышло.

— Да они не всѣ михрютки.

— Нѣтъ, всетаки. Глѣбъ, Глѣбъ, я по своимъ фельдшерицамъ знаю. И я нашихъ предпочитаю.

«Наши» — значитъ изъ Калуги, Мценска, баре. Она сказала это тѣмъ же тономъ, какъ въ дѣтствѣ говорила, глядя на картинку: «Мой конь! Мой конь!» Глѣбъ ни-чего ей не отвѣтилъ, но такого-жь, приблизительно, и самъ былъ мнѣнія — не умомъ, а натурой. Они кровно другъ другу отвѣчали — съ ней Глѣбъ чувствовалъ себя даже свободнѣе, чѣмъ съ Лизой. И любилъ, когда она являлась, съ пышущими щеками, отрывая отъ грамма-тикъ, но внося живое, теплое, милое и женское, чего такъ мало было въ его жизни.

Около пяти зовутъ чай пить, въ столовую море-наго дубка. По бульвару проѣзжаютъ извозчики, само-варъ клохчетъ, угольки въ немъ краснѣютъ.

Уже сумерки. Мать за самоваромъ разводитъ чай-ную свою дѣятельность. Отецъ пьетъ съ блюдечка, со сливками. Около Лизы Артюша, недавно изъ Чернигова возвращенный — бобрикъ, горизонтальные усы, въ сту-денческомъ мундирѣ. Соня, Собачка съ Глѣбомъ тоже устраиваются. Все течетъ правильно. Крѣпко гнѣздо матери.

. . . . . .

На одномъ изъ чаевъ такихъ Артюша заявилъ, что надняхъ былъ съ товарищемъ въ новомъ театрѣ. Называется Художественно-Общедоступный. Ставили

пьесу «Царь Федоръ Іоанновичъ». Замѣчательно интересно.

Артюшу стѣснялъ отецъ. Вообще то не очень рѣчистый, тутъ оказался онъ совсѣмъ туманенъ. «Все тамъ по новому... толпа такъ толпа... совсѣмъ, ну какъ толпа, колокола якъ зазвонятъ... и царь будто настоящій, и бояре»...

Отецъ пофукивалъ папироской, посмѣивался. Театры считалъ пустяками, людей, которые въ нихъ ходятъ — несерьезными (равно и тѣхъ, кто любитъ путешествовать).

Артюша не сталъ особенно распространяться, но позже, въ комнатѣ Лизы разговоръ возобновился. Глѣбу показалось, что все это любопытно. «А что-же тамъ еще ставятъ?» «Ахроменко бачивъ хороша пьеса одного новаго писателя... какъ его?» — Артюша потянулъ себя за усъ (при отцѣ навѣрно и не вспомнилъ-бы): «Да, Чехова, Антона Чехова. Называется «Чайка». «Ну, я Чехова знаю, прекрасный писатель!» Глѣбъ даже удивился, что Артюша такъ неувѣренно говоритъ. Слыхала о «Чайкѣ» и Вилочка — въ этой-же комнатѣ сразу рѣшили: взять ложу на ближайшій спектакль. Тутъ-же сложились, деньги передали Артюшѣ, онъ пусть и беретъ билетъ. Въ воскресенье всѣ ѣдутъ.

Глѣбъ былъ доволенъ. Хоть и говорилъ объ «Иліадѣ» сочувственно, всетаки это древность, далекій міръ, чуждый, Чеховъ-же рядомъ, Чеховъ — знойный день лѣтомъ въ Балыковѣ, диванъ, на которомъ читаются «Хмурые люди» и «Моя жизнь». Чеховъ свой и особенный, ни на кого непохожій. А вотъ теперь онъ въ театрѣ!

Вечеромъ въ воскресеніе, при нѣкоторыхъ усмѣшечкахъ отца, Глѣбъ съ Лизой покатили съ Чистыхъ Прудовъ черезъ Трубную площадь въ Каретный рядъ. Глѣбъ волновался: не опоздать бы въ театръ! Артюша говорилъ, тамъ все по новому — подняли занавѣсъ, такъ никого ужъ не пустятъ, жди конца акта.

Но немудрый Ванька на санкахъ немудрыхъ съ синею полостью, на средне-русской лошадкѣ, доставилъ ихъ во-время. Вилочка ждала у подъѣзда съ билетомъ.

Все странно, непривычно показалось Глѣбу въ этомъ театрѣ. Просто, какъ будто скромно, очень изящно. Сѣро-коричневый тонъ, одноцвѣтно, безъ украшеній. На занавѣсѣ тяжелой матеріи бѣлая чайка. Въ фойе снимки постановокъ, портретъ Чехова.

— Ты знаешь, вполголоса сказала Лизѣ Вилочка: будетъ еще Лера. Ей очень хотѣлось, я не могла отказать.

Лиза улыбнулась.

— Скучаетъ съ мамашей своей на Волхонкѣ. Ну, вотъ, Глѣбъ, для тебя и занятіе.

Вилочка слегка покраснѣла, сапнула носомъ. Глѣбъ хотѣлъ-было сказать, что ему «все равно», да какъ разъ отворилась дверь ложи, Лера вошла. Артюша весело вскочилъ, раскланялся.

Глѣбъ давно не видалъ ее, съ того весенняго дня у Лизы, во время забастовки, когда изображалъ изъ себя дѣятеля. Нельзя сказать, чтобы онъ ее позабылъ. Наоборотъ, и тѣмъ лѣтомъ и теперь вспоминалъ нерѣдко, всегда съ нѣкоторымъ волненіемъ, и не безъ грусти. Такъ ему все казалось: ну вотъ, видѣлъ, больше не увижу.

Лера будто-бы за это время и похорошѣла. Сейчасъ была въ сиреневомъ платьѣ, нарядней Лизы и Вилочки, въ духахъ, въ легкой волнѣ очень мягкихъ свѣтлыхъ волосъ, сильно вившихся. Какъ бы самъ обликъ прозрачнаго, свѣже-испеченнаго воздушнаго пирога, духовитаго и сладостнаго, вошелъ съ нею.

— Maman не хотѣла меня пускать, но я сказала, что будутъ однѣ только барышни...

Она улыбнулась, пожимая Лизѣ руку.

— А вотъ какъ здорово maman свою надули, Лера. — Тутъ у насъ и студенты.

Лера совсѣмъ засмѣялась, весело и не такъ ужъ смущенно.

— Ну, знаете, мама...

Ее усадили въ первый рядъ, къ барьеру, между Лизой и Вилочкой. Глѣбъ и Артюша сзади — да и пора уже: зазвенѣлъ гонгъ, рѣзкимъ металлическимъ звукомъ. Въ залѣ погасъ свѣтъ. Медленно пошелъ вбокъ, раздвигаясь отъ средины, занавѣсъ съ бѣлою чайкой.

Лера слегка обернулась.

— Почему-же занавѣсъ не подымается?

Въ темнотѣ Глѣбъ не видѣлъ ея глазъ, но чувствовалъ ихъ удивленность. Ощущалъ теплоту волосъ, отъ которыхъ слабо пахло хинной водой.

— Н-не знаю... Тутъ все по новому.

На сценѣ вначалѣ было совсѣмъ темно. Понемногу взоръ примѣнился — у самой рампы скамья, дальше группы деревъ, межъ ними что-то бѣлесое, вродѣ озера. Мужчина и женщина сѣли на скамью. «Отчего вы всегда ходите въ черномъ?» «Это трауръ по моей жизни. Я несчастна».

«Чайка» началась, юные люди съ Чистыхъ Прудовъ и Козихи, Волхонки медленно погружались въ ея нервный сумракъ. Зала также. Все шло неторопясь и не такъ, какъ въ другихъ театрахъ и другихъ пьесахъ. Выбрались къ скамьѣ и Тригоринъ съ Аркадиной, появилась Зарѣчная. Худенькій Треплевъ, угластый, похожій на молодого лося, волновался и нервничалъ — начиналось чтеніе его пьесы.

Эстрада въ саду, за ней доморощенный занавѣсъ, Зарѣчная начинаетъ декламировать, слушатели сѣли спиной къ зрительному залу. «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливыя рыбы, обитавшія въ водѣ, морскія звѣзды... всѣ жизни, всѣ жизни, свершивъ печальный кругъ угасли».

Въ залѣ нѣкоторое движеніе. У Глѣба холодѣютъ руки. Да, ну а вдругъ... Въ партерѣ кто-то засмѣялся. На него шикнули. Смѣхъ отозвался въ другомъ мѣстѣ.

«Общая міровая душа — это я... я... Во мнѣ душа и Александра Великаго, и Цезаря, и Шекспира».

Къ Глѣбу опять обернулось лицо съ теплыми электрическими волосами.

— Я ничего не понимаю.

Теперь Вилочка на нее шикнула.

— Тише! Поймете.

Молодой лось бѣгаетъ по сценѣ — горячится непризнанный литераторъ. Нѣтъ, Глѣбъ понимаетъ. Чѣмъ дальше идетъ дѣло, тѣмъ слаще и ядовитѣе происходящее въ полутьмѣ этой, въ саду хоть и невѣдомой, но уже чѣмъ-то близкой усадьбы. Нѣтъ, это не зря. И не зря зала смолкаетъ, смѣшковъ больше нѣтъ, слушаютъ очень серьезно. «Какъ всѣ нервны! Какъ всѣ нервны! О, колдовское озеро!»

Занавѣсъ снова поѣхалъ, съ боковъ къ серединѣ. Опять чайка на сѣромъ его фонѣ, свѣтъ вспыхнулъ, апплодисменты. «Браво, Станиславскій, Книпперъ...» Артюшины усы побѣдоносны, бобрикъ крѣпокъ, онъ высовывается изъ ложи, изо всѣхъ силъ хлопаетъ. «О цей высокій и есть Станиславскій» — показываетъ его Лизѣ. «Самый у нихъ главный... то онъ и есть». «Чудный, чудный!» Лера скромно помалкиваетъ. Поняла она во всемъ этомъ мало, но вообще сейчасъ очень мило, пріятное общество...

Со второго акта спектакль вполнѣ сталъ на ноги. Больше никто уже не посмѣивался. Треплевъ приносилъ убитую чайку, Тригоринъ разсказывалъ о писаніи своемъ, тосковалъ старый Соринъ и Аркадина появлялась въ вѣчной маскѣ всероссійской актрисы. Все шло впередъ, все протекало. Съ каждымъ актомъ тѣ молодые, что пріѣхали съ Чистыхъ Прудовъ и Козихъ становились старше: узнавали раньше незнаемое и волновались, и затягивались въ волшебство театральной выдумки. Съ каждымъ дѣйствіемъ возрастало ихъ возбужденіе. И не ихъ однихъ. Весь театръ непрерывно разогрѣвался,

апплодисменты росли. Да, успѣхъ! Москва привѣтствовала скромное свое дитя.

Глѣбъ находился въ восторженности. Встрѣтилъ-ли брата, друга? Когда чайка на занавѣсѣ отходила, прячась въ кулису, и со сцены шелъ теплый слегка пыльный, но уютный запахъ представленія, а залъ во мглу погружался, Глѣбъ тоже выходилъ въ иное бытіе. Въ бытіи томъ предъ нимъ воздымался — совсѣмъ рядомъ — мягкопахучій садъ лериныхъ волосъ, лерино платье шуршало шелкомъ, слабо поскрипывала косточка корсета. Глаза Леры оборачивались, въ нихъ было теплое зеленоватое сіяніе, прежняя и всегдашняя прелесть и покорное непониманіе. Но и никакой самонадѣянности. Ну, они чего-то волнуются и восторгаются, я не противорѣчу, хоть сама не волнуюсь, но пріятно быть въ театрѣ, съ молодежью. Чувствовать, что хорошо одѣта, и что нравишься. Худенькій молодой человѣкъ возбужденно говоритъ съ нею въ антрактахъ — ей хоть и довольно безразлично, что тамъ происходитъ на сценѣ, всетаки она охотно слушаетъ (больше смотритъ на его глаза, юношескій румянецъ щекъ) — во всемъ соглашается. И тоже нравится, что съ ней разговариваютъ серьезно, «какъ съ дамой».

Глѣбъ въ инобытіи своемъ чувствовалъ, что Лера не такая какъ Лиза и Вилочка, совсѣмъ «другая», но это не раздражало сейчасъ, даже радовало. Пьеса радовала его по одной линіи, Лера по другой, линіи эти не скрещивались, жили отдѣльно — и уживались.

Вотъ записываетъ Тригоринъ себѣ въ книжечку: «Но случайно пришелъ человѣкъ и отъ нечего дѣлать погубилъ ее, вотъ какъ эту чайку». Записалъ, смутилъ Нину, уѣхалъ съ Аркадиной, пишетъ повѣсти, а молодой лось Треплевъ все мучится неудачами своими — въ любви и литературѣ.

Къ послѣднему дѣйствію разогрѣлись нервы юности въ ложѣ. Нависаетъ бѣда! Грустно вѣтеръ подвываетъ въ усадьбѣ, хмурь, осень. Горекъ Треплевъ, такъ ничего

и не добившійся. И вотъ — «направо за сценой выстрѣлъ».

Долго шумѣлъ театръ, долго восхищался. Но наконецъ разошлись. Сивые Ваньки ждали у подъѣзда господъ, везти кого куда. Лерѣ наняли на Волхонку. Она весело сѣла. «Спасибо большое, было очень интересно». Лиза ей крикнула: «Лерочка, пріѣзжайте къ намъ на Чистые Пруды» — Ванька тронулъ, она из простора московскаго, изъ московской ночи еще разъ звонко поблагодарила.

А Вилочка покатила ночевать къ Лизѣ. Кое какъ втроемъ умѣстились на извозчикѣ, не торопясь до дому доплюхали.

Отецъ все еще сидѣлъ въ столовой, читалъ, потягивалъ пиво. Ярокъ свѣтъ матоваго полушара. Тепло. Рядомъ въ кабинетѣ (съ мебелью бордо-пуговками) жарко горитъ каминъ — бѣгаютъ отблески его по письменнмоу столу, по дивану, кресламъ. Хороша молодость! — волненіемъ своимъ, остротой, новыми мірами, постоянно открывающимися.

Пьютъ чай, потомъ въ кабинетъ забираются — въ каминѣ жаркій огонь, у камина заново переживаютъ всѣхъ Тригориныхъ, всѣхъ чаекъ, Треплевыхъ. Пусть посмѣивается отецъ: ничего. Важно то, что была благодатная гроза, искусство пронеслось освѣжающе, сейчасъ солнце сквозь радугу, капли дождя висятъ еще въ воздухѣ, но солнце, солнце...

«Ахъ, какой Станиславскій! Книпперъ!» «Книпперъ совсѣмъ очаровательна»... «Главное, это совсѣмъ какой-то особенный театръ. Я ничего подобнаго не видѣла. Играютъ такъ естественно, будто это настоящая жизнь, точно вотъ мы тутъ сейчасъ сидимъ! И такое настроеніе...»

Въ окна виденъ занесенный снѣгомъ бульваръ. Въ другую сторону садъ — тоже въ снѣгу, замело всѣ дорожки. Фонтанчикъ завѣянъ, молодые, чуть подстриженные тополькі.

Лиза съ Вилочкой будутъ еще болтать въ постеляхъ: надо какъ слѣдуетъ все перечувствовать.

«Никифоръ Иванычъ, успѣемъ мы пройти курсъ?»

Никифоръ Ивановичъ послѣ дневного сна скромно помаргиваетъ, отлежанная его щека багровѣетъ, борода совсѣмъ уѣхала вбокъ. Онъ мучительно перелистываетъ книгу, подавляя зѣвоту. Пытается улыбнуться. «Если ничего... особеннаго если ничего... какъ сказать, не произойдетъ... м-м... если не произойдетъ ничего... ну, особеннаго (тутъ онъ вздыхаетъ, какъ передъ труднымъ препятствіемъ): то, полагаю, успѣемъ!» и раскрываетъ книгу. Съ блаженнымъ видомъ начинаетъ бормотать: «Такимъ образомъ Ахиллъ... не удовольствовавшись... ну, тамъ... побѣдой надъ Гекторомъ... Какой побѣдой? Вотъ вы и видите тутъ... опредѣлено точно: въ достопамятномъ... въ достопамятномъ состязаніи... не удовольствовавшись...»

Классическій бредъ начинался, а январьское солнце, потомъ и февральское, мартовское глядѣло въ оконца толстостѣннаго дома Второй Гимназіи. Освѣщало герани на подоконникѣ, письменный столъ съ ученическими тетрадками, чесунчовый пиджачекъ Никифора Иваныча, глѣбову упорную голову, склоненную надъ Ахиллами и Гекторами. Да, Глѣбъ продѣлывалъ все что полагалось и Никифоръ Иванычъ могъ спокойно вѣрить въ успѣхъ. Но никакъ не могъ знать, что остроугольный и большеголовый его ученикъ занятъ, собственно, совсѣмъ другимъ.

«Чайка» только сгустила это. Вотъ она литература! Въ промежуткахъ между занятіями Глѣбъ кропалъ разсказикъ. На этотъ разъ принялъ рѣшеніе: въ великой тайнѣ (ни Лиза, ни даже Собачка не знали) — отправилъ рукопись въ Петербургъ, въ толстый журналъ — тотъ самый народническій, читая который нѣкогда Батька въ людиновѣ баюкалъ младенца.

А пока, ожидая отвѣта, читалъ и другіе журналы. Однажды наткнулся на разсказъ, его поразившій.

Что въ немъ было такого особеннаго? Весна, разливъ, деревню подтопило, плаваютъ на лодкахъ, происходятъ разныя событія, сентиментальныя и поэтическія... — и все это какъ разъ не такъ написано, какъ пишутъ въ толстыхъ журналахъ. Да и журналъ это не толстый, и подъ разсказомъ подпись неизвѣстная: Андрей Александровъ. Но какъ ново, свѣжо, ярко! Навѣрно, молодой. Прелестно. А фамилія... очень ужъ простовато. Неужели писатель съ такой фамиліей можетъ стать знаменитымъ? Это Глѣба немного смутило, все-таки съ книжкой въ рукѣ онъ отправился къ Лизѣ.

Въ комнатѣ ея піанино, надъ нимъ Бетховенъ. Свѣтлыя занавѣски на окнахъ, жемчужный свѣтъ дня мартовскаго сквозь нихъ, въ садикѣ ужъ совсѣмъ сухо.

Лиза только что кончила играть. Артюша, въ креслѣ, покручиваетъ горизонтальные усы.

— У-у, якій сумный Глѣбъ!

— Нѣтъ, я ничего... я вотъ разсказъ замѣчательный прочелъ.

— Давай сюды, и мы прочитаемъ.

Артюша протянулъ руку, взялъ журналъ. Онъ былъ уже на ты съ Глѣбомъ, относился къ нему ласково, глѣбовы остроугольности даже ему нравились. Глѣбъ это зналъ. Они были въ добрыхъ отношеніяхъ.

— Завтра у насъ Лера будетъ къ чаю, сказала Лиза. — Глѣбъ, она здѣсь уже третій разъ, тебѣ надо бы тоже къ нимъ заѣхать.

Глѣбъ смутился.

— Ну, чего тамъ...

Лиза подмигнула.

— Чего ни чего, нужно-бы... на Волхонку.

Артюша взялъ его за обѣ руки, вытянулъ впередъ голову.

— У-у-у, Глѣбочка, поѣзжай. Лера складная дівчина, якъ пава ходить...

Онъ вскочилъ, сдѣлалъ видъ, что распускаетъ хвостъ, прошелся по комнатѣ.

— Ахъ, что тамъ Лера!

— Да ужъ знаемъ, знаемъ... — Лиза сдѣлала обезьянью мордочку. Глѣбъ быстро прервалъ.

— Разсказъ лучше читайте, чѣмъ пустяки болтать.

И ушелъ къ себѣ. За учебники не засѣлъ, легъ на диванъ. Не лежалось. Онъ всталъ, одѣлся, вышелъ на улицу. Писать! Такъ писать, какъ Чеховъ, или этотъ Александровъ. Ну, развѣ это возможно?

Весенній вѣтеръ бурлилъ, рвалъ на Чистыхъ Прудахъ, но весело рвалъ, тепло, съ яростью молодости. Путаныя облака неслись по небу, оно было пестрое, но тоже полно свѣта, свѣтъ и въ ряби лужъ, вздуваемой вѣтромъ, и въ чириканьи воробьевъ, и въ брызгахъ изъ подъ резиновыхъ шинъ пролетокъ. Но что-то безпокойное, мятущееся. На углу гремѣла въ порывахъ плохо пристроенная вывѣска.

Примутъ-ли въ журналъ разсказъ? То видѣлъ онъ уже подпись свою и фамилію въ оглавленіи, то ясно представлялось, что его, никому неизвѣстнаго, никуда и не примутъ. Да и не отвѣтятъ вовсе.

Глѣбъ прошелъ такъ, въ пестрой бурѣ весенней, иногда сладко задыхаясь отъ вѣтра, вкуснаго какъ нѣжный персикъ, иногда шляпу придерживая, иногда вѣтеръ подхватывалъ его и почти несъ. Онъ весь находился въ коловращеніи стихій.

Возвратившись домой тотчасъ къ Лизѣ явился, нѣсколько блѣдный, будто и усталый. Спросилъ строго:

— Ну, прочли?

У Лизы былъ равондушный видъ. Артюша подклеивалъ ей какую-то коробочку.

— Да, прочли. Ничего особенного.

— Какъ ничего особеннаго?

Глѣбъ слегка задохнулся. Артюша мирно поднялъ отъ своей клейки голову. Съ добродушнымъ удивленіемъ на Глѣба взглянулъ.

— Я самъ вслухъ читалъ. Може, я плохо читаю... а

тольки... намъ не такъ ужъ очень... чтобы.

— Да вѣдь это превосходная вещь! Что-жь вы, читали и ничего не поняли?

— У-у, Глѣбочка, не журись! Понять поняли, да что-то не тово...

Лиза сѣла за свое піанино.

— Правду сказать, Глѣбъ, я не понимаю, чѣмъ ты такъ восхитился.

Глѣбъ пытался доказывать, что все это и по новому, и съ талантомъ написано, но скоро почувствовалъ что слова не доходятъ — что такое? Лиза, съ дѣтства своя, и не понимаетъ? Онъ сталъ раздражаться. Гнѣвъ его, вѣроятно, былъ и смѣшонъ, во всякомъ случаѣ Артюшу не взволновалъ. Наоборотъ, благодушіе его лишь возрасло, онъ вдругъ вскочилъ, ухватилъ Глѣба подмышки, выволокъ на середину комнаты.

«Этотъ кладъ, виноградъ,
«Намъ Нормандія рождаетъ,
«Что за вкусъ, вотъ игра,
«За Нормандію — ур-р-ра-а!»

Почему русскій студентъ съ Козихи такъ восторгался Нормандіей, почему думалъ, что это родина винограда? Но въ Москвѣ пѣли тогда эту пѣсенку и какъ честный медикъ пѣлъ ее и Артюша — хотѣлъ, чтобы и Глѣбъ помогалъ. Глѣбъ нервно вырвался. Обругавъ ихъ обоихъ, подъ хохотъ, маршъ, неожиданно грянувшій на піанино, выскочилъ изъ комнаты. Не поняли Андрея Александрова! Не оцѣнили глѣбова вкуса.

Это ничего не значитъ. Не поняли и не поняли, ихъ дѣло, имъ-же хуже. Отъ этого разсказъ не испортится. И онъ, Глѣбъ, своего мнѣнія не перемѣнитъ. Наоборотъ, еще болѣе убѣждается, что правъ именно онъ.

Опять диванчикъ въ комнатѣ глѣбовой, подушка подъ головой. Голова горячая и раздраженная, подушка быстро нагрѣвается. Нѣтъ, онъ, конечно, одинъ. Кто его пойметъ? Даже Лиза, даже Лиза...

Глѣбъ вертѣлся, лежалъ, вставалъ. Такъ-же, навѣрно, и его разсказа не оцѣнятъ въ журналѣ. А вотъ Александровъ можетъ быть и оцѣнилъ-бы. Но гдѣ онъ? Кто онъ такой? Если-бы знакомымъ съ нимъ хоть быть?

Къ ужину Глѣбъ вышелъ хмурый. Мать сразу это замѣтила. «Заработался очень, все съ книжками, книжками»... Обнять бы его, приласкать, чтобы онъ что нибудь про себя сказалъ. «Разумѣется, вѣдь и возрастъ такой... переходный». Но мать отлично знала, что ни обнять, ни приласкать Глѣба, когда онъ въ такомъ духѣ — нельзя. Отецъ тоже видѣлъ, что Глѣбъ не въ порядкѣ, но относился гораздо проще и равнодушнѣе. Отецъ вообще считалъ, что всякія эти «настроенія» — чепуха, выдумка «книжныхъ» и «городскихъ» людей, не понимающихъ ничего ни въ деревнѣ, ни въ охотѣ. Теперь-бы на тягу хорошо, куда нибудь въ Сопѣлки или на Касторасъ, а они опять въ Художественный театръ соберутся, смотрѣть какого-нибудь Ибсена или Чехова и потомъ до зари охать и восторгаться.

Послѣ ужина, уходя, Артюша добродушно Глѣба обнялъ.

— Глѣбочка, не журись... Якій сумный! Какъ тебя въ дѣтствѣ-то называли? Herr Professor?

Глѣбъ прохладно высвободился. Безпокойство и волненіе томило его.

— Никакъ не называли. Никакой не профессоръ.

— У-у, дурный!

Мать встрѣчала Леру раза два, но бѣгло. Изъ усмѣшекъ Лизы, ревнивыхъ вспыхиваній Вилочки, изъ артюшиныхъ шуточекъ понимала, что Лера Глѣбу нравится. Нельзя сказать, чтобы ей самой она не понравилась. «Видная дѣвушка, что и говорить... Очень привлекательная. И изъ хорошей семьи». То, что отецъ Леры предсѣдатель суда, извѣстный юристъ, человѣкъ серьезный и съ положеніемъ — хорошо. Въ общемъ-же вся

«эта» сторона глѣбовой жизни все болѣе и болѣе ее занимала: Глѣбъ несомнѣнно въ «такомъ» возрастѣ, все «это» неизбѣжно. Отца его она достаточно знала, Глѣбъ, конечно, молчаливъ и скрытенъ, но — она чувствовала увѣренно — въ «этомъ» совсѣмъ такой-же. Какъ ни печально, такой-же. При всей его благовоспитанности. Слава Богу, тамъ, въ Гавриковомъ переулкѣ, ничего съ нимъ не приключилось («ну, эта гусыня...»), но произойти можетъ въ любой день.

Влюбится, и конецъ. Или подцѣпитъ его какая нибудь авантюрьерка — еще того хуже. Конечно, онъ очень молодъ, о женитьбѣ что говорить, всетаки лучше ужъ встрѣтить хорошую дѣвушку нашего-же круга. Мало ли, романъ можетъ тянуться, еще предстоитъ высшее образованіе.

Лизинъ выборъ мать не особенно одобряла, этотъ Артемій слишкомъ ужъ демократъ, чуть было изъ Университета не вылетѣлъ. Впереди Лизѣ быть кѣмъ? Женой земскаго врача? Но ничего не подѣлаешь. Тутъ дѣло ужъ крѣпко, близко къ свадьбѣ. А насчетъ Глѣба еще все вопросъ.

Тѣмъ съ большимъ интересомъ встрѣтила мать Леру въ то апрѣльское воскресенье, когда все было такъ очаровательно пестро, свѣтло отъ дня погожаго, рѣдкаго по теплотѣ и ясности, въ залитой свѣтомъ столовой особняка чистопруднаго, за столомъ съ грузомъ конфетъ и тортовъ, издѣлій Эйнема, и вареній домашнихъ, и самовара домашняго, и голубого неба, въ которомъ за окномъ вѣтеръ покачивалъ тонкія вѣтки тополей — воздушная тѣнь рѣяла. Лера явилась тоже вся въ свѣтломъ, сидѣла межъ Лизою и отцомъ, прямо напротивъ матери, свѣжая и благоуханная, вновь похожая на воздушный пирогъ. Глѣбъ рядомъ съ матерью — напряженный, нервно молчащій.

А отецъ распустилъ хвостъ. Ему Лера сразу понравилась, мужской нюхъ не обманывалъ. Мать степенно разспрашивала ее, отецъ перебивалъ, хохоталъ — Лера держалась довольно мило, была розовая и отъ нѣкото-

раго смущенія (чувствовала, что мать не то экзаменуетъ ее, не то разсматриваетъ).

Узнавъ, что она поетъ, отецъ вполнѣ воодушевился. «Не иску-ушай ме-ня безъ ну-ужды, воз-звратомъ нѣжжно-сти твоей...» онъ тутъ-же за столомъ, въ четверть голоса, ласково на Леру посматривая, сталъ напѣвать романсъ — чѣмъ ее нѣсколько удивилъ. Матери это не очень нравилось. Она предложила, чтобъ Лера какъ слѣдуетъ спѣла въ гостиной, Лиза поаккомпанируетъ.

Чай отпили. Лера помялась, всетаки отказать не рѣшилась.

У рояля стояла она высокая, стройная, спѣла что надо (болѣе чѣмъ средне), отецъ апплодировалъ и все порывался устроить дуэтъ. Но Лера отговорилась: не въ голосѣ, да и дуэтовъ отца не знаетъ.

— Я вѣдь вообще мало пою и мало училась. — Она улыбнулась довольно благодушно. — Я просто такъ, по любительски...

Мать ласково на нее смотрѣла.

— А почему-же вы въ Консерваторіи не учитесь?

— Ахъ, знаете, maman... всего боится. Она думаетъ, что въ Консерваторію идти, значитъ ужъ тамъ театръ, что я буду актрисой...

— Почему-же, вотъ и моя Лиза въ Консерваторіи...

Лиза засмѣялась.

— Мамочка, лерина мама боится какъ огня Консерваторіи. Она думаетъ, что консерваторки всѣ богема, что тамъ дурные нравы, примѣры.

Мать болѣе серьезно поглядѣла.

— Правду говоря, я сама вашу Консерваторію не очень люблю. Много и грубоватого, и профессора разные бываютъ... и ученики.

Лера складывала ноты.

— Я нисколько не опасаюсь Консерваторіи, но maman... впрочемъ, она вообще немного... retardataire.

И онѣ съ Лизой опять весело улыбнулись.

— Лерочка, а васъ нынче легко отпустили? — спросила Лиза.

— Ну, знаете, вашъ домъ солидный.

— Такъ что даже и безъ горничной?

— Что вы, я и въ театрѣ съ вами была одна.

Отецъ отворилъ балконную дверь.

— Вотъ денекъ! Вотъ денекъ! Эхъ, нынче вечеромъ тяга какая въ Балыковѣ!

— Что такое тяга? спросила Лера.

— А, вы городская барышня, вы не знаете.

И сталъ объяснять. Это Лерѣ не такъ было интересно. Но на балконъ она вышла. За ней Глѣбъ.

— Какой славный садикъ!

— Хотите пройтись?

Лера съ Глѣбомъ спустились. Отецъ, въ виду солнца и тепла, вынесъ на балконъ пиво и усѣлся.

Онъ былъ правъ. День удивительный. Вчера бурлило, трепало, нынче все тихо, задумчиво, тепло, золотисто. Лера шла легко по дорожкѣ, легко входя въ музыку весны. Песокъ еще чуть влажный, но ничего, уже нѣтъ сырого, непріятнаго. Все пріятно. И все звучитъ — какъ надо. Въ лериныхъ волосахъ нѣжно сіяетъ свѣтъ, ореоломъ. Движенія тѣла стройнаго лучше поютъ, чѣмъ было тамъ, у рояля. Вотъ она полуоборачивается, Глѣбъ видитъ мягкую, сильную шею, глаза полны улыбки, зеленоватаго блеска. Разговоръ ни о чемъ, да и не разговоръ, просто отдѣльныя слова, но все радостно, интересно. Вонъ свѣжая крапива выбилась у забора, какой запахъ! Какая зелень! Вѣдь первая. Рядомъ желтенькій одуванчикъ — прелесть!

За садикомъ, вокругъ, разумѣется, и Москва, тамъ пролетки гремятъ, но здѣсь тихій пригрѣтый рай.

Глѣбъ съ Лерой прошли въ дальній конецъ рая, сѣли на скамейку, лицомъ къ дому, и вотъ солнце ихъ пригрѣваетъ, голубой дымъ въ небѣ, золотой свѣтъ на землѣ. Такъ бы все сидѣть, сидѣть...

— У насъ въ Астрагани тоже очень хорошо. И весною, и лѣтомъ.

— Астрагань... это что?

— Наше имѣніе, подъ Смоленскомъ. Тамъ станція

Духовская и къ намъ нѣсколько верстъ, на лошадяхъ.

Лера смотрѣла ему прямо въ глаза, немного откинувшись на скамейкѣ. Онъ видѣлъ, какъ билась у ней нѣжная жилка на шеѣ, завитокъ волосъ, мягко золотѣвшій, очень легкій, почти его касался.

— Много лѣсовъ, озеро внизу. Пріѣзжайте послѣ экзаменовъ, вотъ и увидите. Мама будетъ очень рада.

— Спасибо... да... послѣ экзаменовъ.

Глѣбъ довольно безсвязно еще что-то пробормоталъ, но краснорѣчія не обнаружилъ — да его и не надо было. Лера раздумчиво улыбалась, онъ самъ тоже улыбался.

Можетъ быть, и Астрагань, а пока и тутъ хорошо, какъ прекрасно! Вотъ бабочка прилетѣла, разноцвѣтная, усѣлась на вѣточку, въ томъ блаженствѣ тепла и свѣта, какъ и они сами. А другая, яркожелтая, показалась совсѣмъ безплотной, летитъ зигзагами, сама весна летитъ, Психея. И это непремѣнно такъ, она не зря, она вѣдь возвѣстила нѣчто невѣсомымъ и безшумнымъ своимъ полетомъ.

Глѣбъ сказалъ тихо, для себя неожиданно.

— Какъ нынче хорошо!

Лера смотрѣла на бабочку. Но подняла на него глаза.

— Хотите... давайте, запомнимъ сегодняшній день. И какъ мы сидѣли вотъ тутъ на солнышкѣ.

— Хочу. Это чудесный день.

Они вѣрно назвали, не слукавили и не ошиблись.

Жизнь-же обычная шла своимъ ходомъ, по своимъ законамъ. Посидѣвъ на солнышкѣ (ничего вѣдь и не произошло!), благовоспитанно они вернулись.

Отецъ продолжалъ тянуть пиво на балконѣ. Когда Лера сказала, что пора ей уже уходить, онъ изобразилъ изумленіе и, какъ нерѣдко дѣлалъ съ тѣми кто ему нравился, взялъ ея руку въ свою и погладилъ.

— А я думалъ, вы у насъ ночевать останетесь и завтра отобѣдаете... Куда вамъ спѣшить? Оставайтесь, поселяйтесь у насъ.

Лера отца не знала, шуточекъ и пріемовъ его еще не усвоила — удивленно, но весело разсмѣялась.

— Нѣтъ, поселяться не собираюсь.

Въ дверяхъ мать появилась. Она слышала отцовы слова. Нѣкоторая тѣнь прошла по ея лицу, но легкая. Она привѣтливо къ Лерѣ обратилась.

— Очень рада буду видѣть васъ у себя и еще. Приходите, голубчикъ, запросто.

И обнявъ, прохладно поцѣловала въ лобъ.

Лера чуточку покраснѣла.

. . . . . .

На звонокъ Глѣбъ вышелъ самъ. Почтальонъ подалъ почту. Одно письмо, съ бланкомъ петербургскаго журнала, именно и должно было попасть прямо къ нему, безъ всякихъ вопросовъ, разспросовъ Лизы-ли, матери или Артюши. Письмо ударило горячимъ въ ноги. Глѣбъ перемогся, сунулъ его въ карманъ, а «Русскія Вѣдомости» положилъ отцу на столъ.

Свое письмо вскрылъ заперевъ дверь. Писалъ редакторъ. По мѣрѣ того, какъ Глѣбъ читалъ, ноги его холодѣли, въ горлѣ сохло. Длинно, благожелательно и почти ласково народникъ сообщалъ, что хотя въ присланномъ есть безспорныя достоинства, но въ общемъ это «не подходитъ», напечатано не будетъ. «Ну, конечно, я такъ вѣдь и зналъ»... Глѣбъ старался быть покойнымъ, отложилъ письмо, принялся-было за Тита Ливія. Но сейчасъ-же, съ болѣзненной остротой, вновь развернулъ бумажку, опять перечелъ. Да, разумѣется. Чтобы утѣшить, говоритъ о дарованіи, это слова, вотъ если бы напечаталъ...

Глѣбъ легъ на диванъ, закрылъ глаза. Ѣдко и жестоко ныло сердце. Да, и тутъ пролетѣлъ, какъ раньше въ рисованіи и живописи. Все равно, пусть и на экзаменѣ провалится, одинъ конецъ: не удалось, не удалось... «Жизнь не удалась — ну и Богъ съ ней». Это очень мило, разумѣется, что народникъ такой благоже-

лательный, но и Глѣбъ не ребенокъ — пустяками его не умаслишь. Нѣтъ, онъ не боится правды. Недоросль такъ недоросль, неудачникъ такъ неудачникъ. Что-же, это его доля. Жизнь пройдетъ быстро. И, конечно, въ страданіяхъ. Никому до этого дѣла нѣтъ. Вотъ онъ, Глѣбъ, бездарный художникъ, бездарный писатель, лежитъ сейчасъ на диванѣ, но никто никогда не узнаетъ, что онъ чувствуетъ и къ чему стремится. Ахъ, если-бы вотъ взять, вздохнуть... — и не проснуться.

Онъ лежалъ на спинѣ, съ закрытыми глазами, но не засыпалъ. Конца не наступало. Напротивъ, жизнь, таинственный потокъ, въ которомъ плылъ и онъ, и Лиза, мать, отецъ, Москва, Россія — продолжался. Солнце милой весны медленно, неотвратимо все перемѣщало, все вело коверъ свой золотой изъ окна по полу, коверъ всползалъ къ Глѣбу, нѣжно золотилъ руку его, протянутую вдоль бедра. Въ этой рукѣ кипѣла кровь, въ тактъ біеніямъ ея, какъ великое радіо, сотрясалась его душа, посылала вокругъ волны. Глѣбъ былъ юнъ, такъ былъ полонъ силъ, тоски, непонятнаго ему самому напора, такъ сжигался огнемъ, которому и конца края еще не видно было...

Онъ не могъ больше лежать. Всталъ, снялъ пиджакъ, снялъ ботинки, оглянулся — въ зеркалѣ увидалъ поблѣднѣвшее лицо съ блестящими (точно бы небольшой жаръ) глазами. Медленно, чуть присѣдая, сталъ красться вдоль стѣны, потомъ на диванъ — вродѣ леопарда въ штатскомъ — прижимаясь къ спинкѣ его. Это ему нравилось. Это было хорошо. Раздирало сердце, но и раздираніе такое утоляло.

Въ дверь постучали.

— Нельзя.

— Глѣбъ-Глѣбъ, это я, отопри.

Голосъ Собачки. Не труба Іерихона — гласъ дѣтства, Устовъ и Калуги, нынѣ курсистки съ фармакогнозіей и десмургіей. Не отворить невозможно.

Видъ Глѣба Собачку удивилъ, но — по сообщаю-

щимся сосудамъ родного, чутьемъ женщины безошибочнымъ — она его приняла, поняла, обняла и поцѣловала.

— Глѣбъ, Глѣбъ, ты тутъ въ одиночествѣ распространяешься? У тебя отъ дураковъ-грековъ голова кругомъ пойдетъ. Вонъ ты безъ башмаковъ, ахъ ты милый Глѣбочка, что-жь ты тутъ выдѣлываешь?

Глѣбъ смотрѣлъ на нее серьезно.

— Я путешествую.

— Какъ такъ?

— Странствую. Вотъ въ этой комнатѣ.

Онъ сдѣлалъ рукою кругообразный жестъ.

— Зачѣмъ-же это?

— Мнѣ такъ нравится.

— Глѣбочка, ты на четверенькахъ?

Собачка спросила такимъ тономъ, точно на четверенькахъ — самое обычное, точно все происходитъ въ Устахъ и въ дѣтствѣ. Такъ-же спокойно и Глѣбъ ей отвѣтилъ:

— Нѣтъ, не на четверенькахъ. Но вотъ башмаки снимаю. Чтобы диванъ не замарать тутъ у меня и дорога по дивану.

— Глѣбъ, Глѣбъ, давай вмѣстѣ! Запри дверь.

И Собачка сняла ботинки. Путешествіе возобновилось. Но теперь уже въ видѣ маленькаго каравана: впереди Глѣбъ, за нимъ, въ шагѣ разстоянія, стараясь попадать въ слѣдъ его — Собачка. Подъ могучимъ тѣломъ ея скрипнулъ диванъ, въ одномъ мѣстѣ она чуть не опрокинула вазочку. Все-же благополучно и даже легко сдѣлали они два тура. На третьемъ она обхватила его сзади за шею, обняла и захохотала.

— Глѣбъ, Глѣбъ, отпутешествовали! Довольно.

И обрушивъ его на диванъ, сама сѣла рядомъ.

— Ну вотъ и будетъ. Я тебя понимаю. Ты чего это такія глупости выдумываешь? Влюбленъ, что-ли, Глѣбочка, влюбленъ?

Она гладила ему голову, слегка ероша волосы.

Глѣбъ лежалъ на спинѣ, поблѣднѣвшій, закрывъ глаза.

— Я ничего... нѣтъ, я ничего.

— Ужъ я вижу... да вѣдь ты не скажешь... и не говори. Лежи, Глѣбочка, отдыхай, тосковать вовсе тебѣ не надо.

Глѣбъ лежалъ, онъ не говорилъ, но и не гналъ ее. Ему, правда, сейчасъ было покойнѣе, время-же будтобы шло назадъ, къ далекому домику Тарховой, невыдержанному экзамену, первому утѣшенію этой-же самой Собачки. Какъ и тогда, мягкая ея ладонь на лбу и на лицѣ заглаживала зыбь въ душѣ — тягостную и мучительную. Но въ Калугѣ Собачка могла подѣлиться съ нимъ дѣтскими горестями, а теперь любовныя свои томленія только Лизѣ повѣряла. Такъ-же и Глѣбъ словомъ не обмолвился о неудачѣ, да Собачка не такъ и допытывалась, въ чемъ дѣло. Она считала Глѣба не совсѣмъ обычнымъ, еще съ дѣтства — особеннымъ. Сердцемъ понимала, что у него есть что-то на душѣ — а что именно? Не все-ли равно. Если и влюбленъ, она не Вилочка Косминская, ее это не задѣваетъ. Да нѣтъ, причина не та.

Она сидѣла у него какъ всегда, до вечерняго чаю. Разговоръ понемногу наладился — совсѣмъ обычный. Глѣбъ передъ нею не козырялъ. Лежалъ на диванѣ тихій, немного грустный, но съ каждой минутою чувствовалъ, что жизнь именно не уходитъ — не словами думалъ, а ощущеніе такое было: не изсякаетъ жизнь, а прибываетъ, вмѣстѣ съ теплотой тѣла собачкина и лаской.

Въ столовую вышелъ почти ужъ нормальный. И никакъ не боялся, что выдастъ его Собачка.

Въ немъ было теперь и новое, твердое, безъ его воли всплывшее: продолжать. Писать. писать, писать! Не Никифоръ Иванычъ, не греческіе глаголы, не Ливій и Иліада. И не старый народникъ. Новое, все другое, все свѣжее...

Ближайшіе дни Глѣбъ отдалъ на розыски Александрова. Адресъ его не такъ легко было и достать.

Въ тишинѣ, полной тайнѣ Глѣбъ всетаки раздобылъ. Ѣхать къ совсѣмъ незнакомому человѣку! Онъ холодѣлъ. Можетъ быть, дерзко? Не принято? Какъ Александровъ посмотритъ? Но не ѣхать нельзя. Все равно, одержимъ, боленъ желаніемъ. Невозможно сидѣть, Иліаду читать... хочу и хочу, поздно, не остановишь. И откладывать нечего.

Въ три часа, въ пятницу, вотъ подходитъ Глѣбъ къ дому № 15 по Владиміро-Долгоруковской. Сѣрая улица за Садовой, къ Грузинамъ. Дворника не оказалось. Спросилъ худенькую дѣвченку, тащившую лохань съ помоями, гдѣ здѣсь живетъ писатель Александровъ. Дѣвочка указала входъ, добавила: четвертый этажъ. На лѣстницѣ у Глѣба стали леденѣть ноги. Куда онъ идетъ? На какой Монбланъ съ чернаго хода? (лѣстница оказалась именно для прислуги). Глѣбъ сжималъ портфельчикъ съ рукописью, но и ледяныхъ ногъ остановить не могъ. Полутемными закоулками, гдѣ иногда попадалось ведро, метла, пахло чадомъ кухни, поднялся въ четвертый этажъ. Передъ дверью, обитой клеенкой, на мгновеніе остановился. Ну, да ужъ что тамъ!

Вся кухня была въ пару — онъ ходилъ сизыми, влажными облаками. Посреди корыто, въ немъ стирала бѣлье немолодая женщина съ худенькимъ пріятнымъ личикомъ простонароднаго типа. Она удивилась, но привѣтливо, карими глазами посмотрѣла на Глѣба.

— Я... собственно я... можно видѣть Андрея Иваныча?

Женщина улыбнулась, обтерла руки, пріотворила дверь въ корридоръ.

— Сынокъ вотъ тутъ, пожалуйте. Сейчасъ направо.

Она пошла впередъ, въ темномъ корридорѣ постучала въ дверь.

— Андрюшенька, къ тебѣ.

Глѣбъ былъ настолько взволнованъ, что не обратилъ даже вниманія на то, что бѣдно-одѣтая эта женщина съ засученными рукавами оказалась матерью Андрея Александрова.

Да и некогда было вниманіе обращать. Дверь отворилась. Глѣбъ вошелъ въ небольшую комнату. Тутъ никто не стиралъ. Обставлено очень скромно — кожаный диванъ, надъ нимъ портретъ Толстого, у окна письменный столъ, полочка съ книгами. Жилье литератора россійскаго, съ пепельницей, окурками, табачнымъ дымомъ.

Андрей Иванычъ оказался темнокурымъ, темноглазымъ, быстрымъ въ движеніяхъ сыномъ своей матери. Какъ и она, очень привѣтливо поднялся навстрѣчу. Да, это онъ. Это онъ, даже лучше чѣмъ онъ. Глѣбъ давно о немъ думалъ, воображалъ, старался представить себѣ его. Андрей Александровъ былъ отчасти его наважденіемъ, посѣтителемъ одинокихъ часовъ и мечтаній. Теперь вотъ онъ здѣсь — Андрей Иванычъ, «Андрюша» и «сыночекъ». Блестящіе, нервные глаза — очаровательные. Нѣтъ, не ошибся. Страхъ сразу пропалъ.

— Извините, сказалъ негромко, но не погибая: что побезпокоилъ васъ. Я читалъ ваши произведенія, мнѣ настолько понравилось... я и рѣшилъ...

Тутъ Глѣбъ началъ немного путаться. Но на него пристально, доброжелательно смотрѣли глаза Андрея Иваныча, сама папироса въ рукѣ дымилась сочувственно. Показавъ рукой на портфельчикъ глѣбовъ, онъ улыбнулся.

— А тамъ, конечно, рукопись?

Глѣбъ на улыбку не обидѣлся, обижаться было-бы глупо. Андрей Иванычъ, хоть и старше его, но тоже молодой и держится по товарищески, совершенно просто.

Такъ оно началось, такъ и продолжалось. Глѣбъ сидѣлъ скромно на стулѣ, хозяинъ, непрестанно куря, разгуливалъ взадъ впередъ, блестя глазами, то поворачивая къ Глѣбу тонкій профиль со вздрагивающими ноздрями, то въ упоръ на него глядя, какъ бы магнетизируя. Дымящейся папиросой рисовалъ на ходу узоры въ воздухѣ. Правой рукой по временамъ поправлялъ волосы на головѣ.

Все Глѣба затягивало: и комната, и диванъ, и почеркъ хозяина — на столѣ лежалъ исписанный имъ листъ. Болѣе-же всего онъ самъ — то, что у него прекрасные глаза, нервно-мѣняющееся лицо, мягкій говоръ московско-орловскій, такой простой, свѣтлый тонъ съ незнакомымъ. Опьяненіе Глѣба росло. Покореніе завершалось.

Можетъ быть, это чувствовалось и въ лицѣ его. Поддѣлать восторженный взглядъ нельзя, нельзя вѣру поддѣлать и обожаніе. Андрей Иванычъ самъ еще молодой писатель, недавно начавшій — вотъ пришелъ къ нему неизвѣстный поклонникъ, который — если-бы и захотѣлъ — не можетъ скрыть чувствъ. Все написано на юношескомъ лицѣ.

Андрей Иванычъ не зналъ еще, въ какомъ родѣ и какъ пишетъ Глѣбъ, но заранѣе былъ къ нему расположенъ. Избалованъ еще не былъ. Не первый-ли почитатель и заявился къ нему, вотъ такъ съ улицы, преодолѣвъ робость?

— Я прочту, прочту тотчасъ, и напишу вамъ. Нѣтъ, толстый журналъ, конечно, не годится. А тутъ скоро будетъ выходить новая газета и меня какъ разъ просятъ завѣдывать литературнымъ отдѣломъ. Вотъ что-нибудь намъ маленькое, импрессіонистическое, знаете-ли. Эту вашу рукопись я прочитаю, но она велика.

Онъ сталъ листать ее, просматривая.

— Ну, да, въ формѣ лирическаго дневника. Я такъ и думалъ... — Онъ опять улыбнулся. — Разумѣется, для того журнала не подходитъ.

— Да я... эту вещь вовсе и не для печати... это такъ, для себя.

Тутъ Глѣбъ преувеличилъ. Но настолько былъ увлеченъ, настолько любилъ сейчасъ Андрея Иваныча, что охотно ему уступилъ-бы эту рукопись (всю слабость которой вдругъ почувствовалъ). Нѣтъ, это не то, конечно. Онъ напишетъ другое, настоящее, что воистину понравится.

А хозяинъ курилъ уже третью папиросу. Держа ее

межъ вторымъ и третьимъ пальцемъ лѣвой руки, расхаживалъ все быстрѣе. Говорилъ о литературѣ. Довольно эпигонства, пережитковъ реализма! Идетъ новое, только оно можетъ освѣжить...

Ясно, что именно это новое и вычеркиваетъ узоры своей папиросой. Глѣбъ не спускалъ съ него глазъ. Да, тайное желаніе не обмануло. Рѣшительный день! Не напрасна была тоска, все томленіе послѣдняго времени. Да, сюда, въ эту узкую комнату съ кожанымъ диваномъ и портретомъ Толстого. Да, все правильно.

Матушка принесла на подносѣ чай съ вареньемъ. Андрей Иванычъ сѣлъ.

— Мать, готовь намъ еще по чашкѣ. Самое время.

Онъ ласково погладилъ ее по плечу — какъ старую и милую игрушку.

— Да мнѣ не жаль, Андрюшенька, ты не подумай... Мнѣ не жаль. Кушайте съ Богомъ.

Эта мать ужъ нисколько на глѣбову не походила! Но онъ отъ всего сейчасъ былъ въ восторгѣ.

Андрей Иванычъ сталъ Глѣба разспрашивать о его жизни, семьѣ. Разсказывалъ и о себѣ.

Время шло. Оно полно было для Глѣба высшаго значенья. Онъ себя чувствовалъ такъ, будто ужъ давно они знакомы, будто и ничего нѣтъ удивительнаго въ томъ, что вотъ онъ распиваетъ чай со своимъ старшимъ братомъ, котораго вчера и въ глаза еще не видалъ.

Разстались на томъ, что прочитавъ рукопись Андрей Иванычъ Глѣбу напишетъ, они опять поговорятъ, а когда выйдетъ газета, Глѣбъ попробуетъ свои силы на небольшихъ вещахъ.

V.

Поѣздъ отходилъ вечеромъ, въ десять, съ Брестскаго вокзала. Глѣбъ пріѣхалъ заранѣе. На билетѣ его, 1-го класса, было оттиснуто: Духовская. Чемоданъ не тяжелъ, онъ отлично бы могъ и самъ его донести, но рѣшилъ взять носильщика: пассажиръ перваго класса!

Первый классъ былъ какъ полагается — синій ва-

гонъ съ длиннымъ корридоромъ, купэ съ диванами краснаго бархата, на спинкахъ бѣлыя вышивки. Пустынно, тихо, въ фонарѣ надъ входомъ полузавѣшанная свѣча. Никифоры Иванычи, латынь и греческій и треволненія зимы московской, экзаменъ въ Шестой Гимназіи — все вчера, навсегда ушло. Начинается новое.

Носильщикъ положилъ чемоданъ на полку, получивъ что надо козырнулъ, вышелъ. Глѣбъ остался одинъ въ купэ — со своей молодостью, далью дороги, станціей Духовской — таинственной для него станціей, откуда десять верстъ на лошадяхъ до Астрагани.

Онъ не снялъ перчатокъ. Прогулялся по корридору — почти никого въ вагонѣ. Время шло медленно. И въ извѣстный моментъ поѣздъ съ полу-пустымъ первымъ классомъ, везя новоиспеченнаго, наряднаго студента, отошелъ. Поѣздъ не торопился. Онъ составлялъ часть той небыстрой, крѣпкой и полной Россіи, что могуче воздвигалась на своихъ пространствахъ. Глѣбъ стоялъ у окна. Огоньки близъ Ваганькова уходили, его путь лежалъ мимо Кунцевыхъ, Голицыныхъ, подмосковными лѣсами и полями, вблизи разныхъ Архангельскихъ, Ильинскихъ по Москвѣ-рѣкѣ.

Вагонъ плавно катилъ. Глѣбъ смотрѣлъ предъ собою на тучу, во мглѣ тогда обнажавшуюся, когда дальнія глухія молніи раздирали ее бѣлымъ сіяніемъ. Этотъ свѣтъ былъ прелестенъ. Онъ таинственно блисталъ Глѣбу въ сердце — освѣщалъ, вновь во мрак погружалъ, возбуждалъ, но и успокаивалъ. Одиночество нужно было ему сейчасъ. Вновь переживалъ онъ происшедшее. Для другихъ, можетъ быть, и неважно. Для него важно.

Иногда поѣздъ проходилъ совсѣмъ близко къ лѣсамъ. Когда молніи вспыхивали за ними, лѣса представлялись темными, грозными толпами, потомъ вдругъ исчезали. Съ полей пахло дождемъ. Искры мчались вбокъ, золотымъ вихремъ.

Второй день Пасхи — поздней Пасхи конца апрѣля. Глѣбъ въ волненіи ѣдетъ на извозчикѣ на Волхонку. Разные молодые и немолодые люди летятъ съ цвѣтами

и конфетами на лихачахъ, все съ такими-же цѣлями, что у него: съ визитами. И разноголосый, пестро-свѣтлый громъ колоколовъ Москвы все это веселитъ, подгоняетъ: мчитесь, летите, везите свои цвѣты — Христосъ Воскресе!

Это-же Христосъ Воскресе Глѣбъ привезъ въ узенькую прихожую четвертаго этажа на Волхонкѣ, и почтительно ручку поцѣловалъ овцевидной лериной матери (отецъ, слава Богу, уѣхалъ въ Петербургъ). Среди куличей, красныхъ, зеленыхъ яицъ сама Лера сіяла молодостью и привѣтомъ. И потряхивая кудряшками на лбу, maman, Поликсена Ильинична, угощала Глѣба заварной пасхой кондитерской, пасхой собственнаго издѣлія, пасхой лериной и куличами различными. Тѣсна и скромна квартирка, но въ окно пестрый свѣтъ, въ окно свѣтлый звонъ, вся Москва входитъ этими колоколами, грохотомъ пролетокъ, воробьинымъ щебетомъ, нѣжной зеленью ивъ, тополей, изъ Архива Иностранныхъ Дѣлъ. Входитъ вся эта прелесть и отражается, и усиливается въ свѣтлой младости Леры, въ пышномъ, нѣжномъ тѣлѣ ея, отсвѣтѣ зеленоватых глазъ. Глѣбъ смущенъ, остръ, но радостенъ. Не слова важны, другое.

«Maman, Глѣбъ Николаевичъ раньше начала іюня въ Астрагань не сможетъ попасть, у него экзаменъ»... Maman любезно киваетъ, улыбается. (Нѣтъ, это приличный молодой человѣкъ, она его не боится). «Очень рада буду васъ видѣть... Тѣмъ болѣе, знаете, мы тамъ однѣ, Лерочкѣ скучно»...

Кондукторъ идетъ. Глѣбъ опять чувствуетъ себя взрослымъ, пассажиромъ 1-го класса. О, теперь разница съ тѣмъ днемъ пасхальнымъ! Теперь онъ студентъ. Не напрасно училъ его Никифоръ Иванычъ. Не зря, значитъ, всѣ «апетмѐтесанъ тасъ кефалѐсъ».

Постояли на глухой станціи, дальше двинулись. Туча такъ-же далеко, молніи рѣже. Но такая-же тишь, ширь полей россійскихъ. Утоляющій мракъ. На немъ ярче совсѣмъ, совсѣмъ недавній день солнечный, переулки замоскворѣцкіе, знаменитая рѣшетка двора Ше-

стой Гимназіи, острый запахъ краски, холодокъ волненія... въ большой залѣ экстерновъ за зеленымъ столомъ экзаменаторы, и Титы Ливіи à livre ouvert и спокойный, медлительный какъ вѣчность Гомеръ.

Все это было да какъ бы и не было. Сномъ ушло въ рядъ другихъ сновъ, тоже минувшихъ. Сномъ станетъ и это странствіе. Но пока что оно продолжается. Не вѣкъ стоять въ корридорѣ. Ноги устали, Глѣбъ перебирается въ купэ. Тамъ вынимаетъ изъ чемодана подушечку и ложится. Мягко идетъ вагонъ! Чуть вздрагиваетъ пальто на крючкѣ подлѣ фонаря. Астрагань, Лера, Поликсена Ильинична... Что это за такой шагъ? Въ синѣющей мглѣ вагона ясно онъ Леру видитъ, съ нѣкоторымъ замираніемъ, радъ встрѣтить завтра. Но кто онъ? Что онъ ей? — Ничего не знаетъ, ѣдетъ и ѣдетъ, что тамъ будетъ увидитъ, а сейчасъ вотъ лежитъ такъ, слушая погромыхиваніе колесъ.

Онъ заснуть долго не могъ. Вспоминался и Александровъ — Глѣбъ вновь у него побывалъ. Рукопись онъ прочелъ и одобрилъ, но конечно надо дать для печати что нибудь покороче. Все неясно, все впереди — всетаки въ будущемъ что-то ужъ скрыто. Это навѣрно. А сейчасъ Александровъ на дачѣ, въ Царицынѣ подъ Москвою. Надо къ нему тоже съѣздить, онъ звалъ.

Глѣбъ перевернулся, вздохнулъ. Давно не чувствовалъ себя такимъ и взрослымъ, серьезнымъ важнымъ, даже, что-ли?

Поѣздъ идетъ. Гдѣ надо и остановится. И пока Глѣбъ съ надеждами своими, силами и помыслами покачивается въ купэ, на диванѣ бархатномъ, мимо проходятъ Можайскъ, Бородино съ полемъ сраженія, Наполеономъ, Толстымъ. Скромная Вязьма съ пряниками. Вдали, очень еще вдали, сквозь поля и суглинокъ, сквозь лѣса — много ихъ тутъ! — далѣе Духовской самъ Смоленскъ. Древній, славный, многострадальный Смоленскъ.

Глѣбъ не такъ представлялъ себѣ Астрагань. Ужъ на Духовской слегка удивился, увидѣвъ не коляску тройкой съ кучеромъ въ плисовой безрукавкѣ, а пару въ телѣжкѣ съ вихлястымъ парнемъ на козлахъ. Все подержаное, болѣе чѣмъ скромное. Ѣзда трухомъ. Болѣе часа до Астрагани.

Тамъ тоже довольно странно. Со смоленскаго шоссе, на полугорѣ, свернули направо, проселкомъ въ лѣсъ. Парень слегка оживился, хлестанулъ пристяжную. Обернулся къ Глѣбу. «Она самая и есть, Астрагань».

На лѣсной полянѣ, не такъ давно и раздѣланной, завиднѣлся домъ — деревянный, небольшой, скорѣе по крестьянски, чѣмъ по барски срубленный. Только мезанинъ выдавалъ — да и тотъ сидѣлъ слишкомъ ужъ грузно. Никакихъ колоннъ, парка, старомодно-тургеневской поэтичности. Вѣрнѣе-бы сказать: на довольно некрасивомъ мѣстѣ, гдѣ навѣрно много комаровъ, лѣсной хуторъ съ пристройками и молодымъ садомъ.

Парень всетаки подкатилъ рысью, изо всѣхъ силъ. Сталъ накрапывать дождичекъ. Пассажиръ перваго класса не весьма былъ покоенъ. Новое мѣсто, все здѣсь чужое. Разумѣется Лера... — но Поликсену Ильиничну онъ почти и не знаетъ. Жутко.

Въ прихожей неловко улыбнулся, покраснѣлъ, поцѣловалъ ручку Поликсены Ильиничны.

Лера была въ скромной кофточкѣ, по деревенски, букетикъ незабудокъ на груди, вся свѣжая и улыбающаяся. Какъ всегда, на головѣ свѣтлый дымъ волосъ.

Какъ ни любила приличія, какъ ни боялась всего овцевидная maman со своими кудряшками, выпуклымъ лбомъ, институтскими манерами, все-же полна была гостепріимства и благодушія всероссійскихъ. «Не устали въ дорогѣ? Ну, слава Богу! Вотъ и прекрасно, у насъ послѣ экзаменовъ отдохнете. Да? Трудно, навѣрно, экзамены-то? Очень трудно! Ну, Лерочка, надо Глѣбу Николаевичу комнату его, ну показать его комнату. Вы кушать, навѣрно, хотите?» Она говорила быстро, не совсѣмъ внятно, смотрѣла на него вытягивая впередъ

голову, свѣтлыми, слегка на выкатѣ близорукими глазами съ выраженіемъ благожелательной безсмысленности. Во всей ея худоватой фигурѣ, въ небрежности одежды, въ общемъ духѣ безтолковости, отъ нея исходившемъ, было и чуть смѣшное и почти трогательное.

Лера повела Глѣба наверхъ, по узенькой, скрипучей лѣсенкѣ. Ему показалось, не въ курятникъ-ли какой? Но онъ лѣзъ покорно. Мезанинчикъ былъ, правда, скромный. Съ площадки двѣ двери — Лера толкнула одну, парень втащилъ за ней глѣбовъ чемоданъ. «Это Ваше жилье», весело сказала Лера. «А напротивъ мое. Я очень рада, что вы пріѣхали. А вы?» Глѣбъ улыбнулся. «И я радъ. Очень радъ».

Лера ушла, онъ сталъ разбираться. Комнатка невысока, вся пахнетъ свѣжимъ деревомъ, довольно чистая. Нѣтъ, не курятникъ, а быть можетъ вродѣ дачи подъ Москвой. Стеклянная дверь отворяется на балкончикъ, крытый, тѣсный, выходящій на поляну. За ней лѣсъ.

Глѣбъ вдохнулъ густой, прелестный запахъ лѣса. Что-то и чужое, и свое здѣсь, милое и ненужное. Вонъ онъ заѣхалъ куда! Вдаль. Какъ-то все будетъ? Какъ-то? Ну, за нѣсколько дней...

Въ деревнѣ для пріѣзжаго труднѣй всего первые часы — надо войти, примѣниться къ чужому складу. Да и претерпѣть нѣкоторые обряды.

За завтракомъ, внизу въ столовой, Глѣбъ чувствовалъ себя еще несвободно. Кромѣ Поликсены Ильиничны и Леры оказался тутъ гимназистъ Митя, леринъ двоюродный братъ, толстый, здоровый и веселый малый лѣтъ четырнадцати. Такъ-же какъ Глѣбъ усердно уплеталъ яичницу, но считалъ себя дома и совсѣмъ не стѣснялся. Поликсена Ильинична иногда съ ужасомъ на него взглядывала — онъ беззастѣнчиво вылѣзалъ съ локтями на столъ. «Les coudes, les coudes!» шептала она грозно. Кудряшки ея подрагивали. Но грозности не получалось. «Виноватъ, тетенька, я сейчасъ»... И снявъ локти, вдругъ начиналъ ковырять въ носу. Лера смѣялась — и на него и на мать. Митя всѣхъ обгонялъ въ ѣдѣ,

болталъ ногами, вскакивалъ иногда съ мѣста —ловить муху.

«Глѣбъ Николаевичъ, я послѣ завтрака покажу вамъ нашу Астрагань», говорила Поликсена Ильинична. «Знаете-ли, нашу усадьбу, всѣ постройки, службы, садъ... это, видите-ли, такъ сказать... любимое дѣтище мужа, но его сейчасъ вызвали въ Петербургъ въ мини-стерство. Я покажу вамъ все его хозяйство».

Земляника со сливками имѣла успѣхъ. Митя такъ на нее навалился, что Поликсена Ильинична съ ужасомъ зашептала: «Dmitri, tu auras un flux de ventre». — Митя усмѣхнулся и ахнулъ еще тарелку.

Дождь пересталъ. Все было сребристо-жемчужно, нѣжно въ воздухѣ. Изъ за облачковъ, слабо видимое, пригрѣвало солнце. Капли сіяли по травѣ, на кустахъ сирени. Но все такъ быстро сохло, что не побоялась Поликсена Ильинична тотчасъ вести Глѣба по хозяй-ству. Лера улыбнулась. «И я съ вами». Она видимо была въ добромъ настроеніи. Поликсена Ильинична надѣла калоши, какую-то удивительную тальму, взяла въ руки палку. Митя убѣжалъ рыть червей. Караванъ тронулся.

Хозяева считаютъ, что гостю все должно быть интересно. Какъ бы чего не позабыть! Не пропустить какой достопримѣчательности. «Вотъ тутъ, знаете-ли, у насъ свинья ... да, видите, какая свинка, это их закута ... свинья. А вонъ тамъ загородка для цесарокъ. Але-ксандръ Степанычъ цесарокъ любитъ».

Въ конюшнѣ стояла пара только что вернувшихся лошаденокъ. Глѣбъ узналъ, гдѣ и когда онѣ куплены, сколько заплачено. Особенное уныніе навели на него безсмысленныя коровы — вѣчный обликъ вялости и тупоумія. А меланхолическія индюшки? — «Александръ Степанычъ, по характеру службы ... ну, долженъ въ сто-лицѣ работать. Но сохранилъ эту дворянскую привыч-ку къ землѣ, имѣніямъ, хозяйству. Большого, настоя-щаго имѣнія мы, разумѣется, пріобрѣсти не могли, ну вотъ онъ и завелъ ... такъ сказать ... un petit mon repos».

Глѣбъ улыбался, поддакивалъ, дѣлалъ видъ, что ему все это интересно.

Скоро они оказались съ другой стороны дома въ молодомъ фруктовомъ саду. Тутъ онъ узналъ, что Александръ Степанычъ самъ сажалъ всѣ эти яблони, самъ выбиралъ ихъ сорта, и вонъ тѣ груши тоже его рукъ дѣло, и сливы, и крыжовникъ. Осенью, когда пріѣзжаетъ въ отпускъ, самъ обрѣзаетъ ихъ, даже окапывалъ въ прошломъ году. «Но это вредно. Для его возраста, и такая тяжелая работа. Нѣтъ, нѣтъ, я этого боюсь». Maman, вы всего боитесь, я-же знаю» — Лера подмигивала за ея спиной Глѣбу зеленымъ глазомъ. «Maman вы навѣрное опасаетесь, что меня забодаетъ этотъ теленокъ». «Ахъ, теленокъ въ саду Александра Степаныча... пошелъ вонъ, пошелъ вонъ!» Поликсена Ильинична замахала на него палкою. «Если-бъ Александръ Степанычъ увидѣлъ, то разсердился-бы. Можетъ прививки поломать».

Теленокъ особеннаго вниманія на нее не обратилъ, подпрыгнулъ, махнулъ хвостомъ, продолжалъ траву пощипывать.

«Лерочка, какъ-же такъ, нельзя-же его оставить...» Тутъ для Леры и Глѣба открылась интересная дѣятельность — кинулись его выгонять. Лера махала шарфикомъ, Глѣбъ усердно прыгалъ между молодыхъ яблонь, обдававшихъ мокрымъ серебромъ, по мокрой травѣ, тѣсня врага къ калиткѣ. Врагъ козловалъ довольно забавно, задирая хвостикъ, но отступилъ, выскакалъ на дворъ обратно. Лера смѣялась, приподнявъ край платья. «Я совсѣмъ промокла, только не говорите maman, она сейчасъ-же вообразитъ, что у меня начинается воспаленіе легкихъ. Да впрочемъ... знаете что? Пройдемся лучше одни, къ озеру. Хорошо?» Разумѣется, это было хорошо. Лера крикнула матери, что здѣсь мокро, они лучше пройдутся съ Глѣбомъ Николаевичемъ по шоссе къ озеру. Поликсенѣ Ильиничнѣ пришлось согласиться. А Лера живо вывела Глѣба на то самое шоссе, по которому онъ пріѣхалъ съ Духовской. Но теперь они спу-

скались внизъ, подъ гору — въ противоположную Духовской сторону. «Maman можетъ вамъ наскучить своимъ хозяйствомъ. Мы лучше одни погуляемъ». «Съ удовольствіемъ».

«Ахъ, въ этой Астрагани дѣйствительно скучно, вы очень мило сдѣлали, что пріѣхали». «Чѣмъ-же вы тутъ занимаетесь?» «Немного играю на піанино... тамъ у насъ въ гостиной. Пою. Да все это такъ... Романы читаю. Правда, у меня сейчасъ есть очень интересный. Знаете, Дюма. «Монте Кристо».

Глѣбъ Дюма не читалъ. Но презиралъ заранѣе. У него былъ твердый взглядъ, что Дюма ничего не стоитъ. Онъ, однако, прямо этого не сказалъ, промямлилъ нѣчто неопредѣленное.

— Я очень люблю романы. Терпѣть не могу будней, хозяйства. Я люблю такія, знаете-ли — возвышенныя чувства и приключенія въ романахъ. И чтобы любили другъ друга на всю жизнь...

— Да, конечно...

Лера начала воодушевляться. Рѣдко приходилось ей говорить о литературѣ и «своихъ словъ» у ней было маловато, но сейчасъ ее несла та сила, что таилась въ ея молодости, въ жаждѣ того, что составляло стержень существа ея.

— Мнѣ нравятся такіе романы, гдѣ, если другъ друга любятъ, то ужъ на каторгу одинъ за другого пойдетъ. Вотъ это по моему любовь!

Озеро было какъ бы двойное, по обѣ стороны шоссе. Чрезъ узкое его мѣсто мостъ и далѣе шоссе опять въ гору, къ Смоленску. Все вокругъ въ лѣсахъ. Лѣсъ направо, на той сторонѣ, отражался зеркально, березы стеклянно бѣлѣли въ водѣ, ихъ листва рѣяла зеленью призрачной — тихо струилась. Солнце сіяло, уже предвечернее, золотѣющее въ погожемъ послѣ дождя днѣ.

— Помните, мы въ Москвѣ разъ гуляли у васъ въ саду, у Чистыхъ Прудовъ? Такое солнышко тоже было. А вы не забыли, что мы тогда другъ другу сказали?

Лера прислонилась къ периламъ. Солнце ее заливало. Глѣбъ улыбнулся.

— Нѣтъ, не забылъ. Тотъ вечеръ былъ тоже очень хорошій. Я его помню.

— Значитъ помните?

— Помню.

Какъ бы слегка смутившись, она вдругъ обернулась назадъ.

— А вонъ тамъ, ниже, видите, мельница. Но туда мы рѣдко ходимъ. Тамъ Митя рыбу ловитъ. Цѣлыми днями съ удочкой пропадаетъ.

Они спустились, сѣли на бревно, валявшееся у шоссе. Надъ озеромъ плавными, легкими качаніями летѣлъ рыболовъ — коричневатый, съ бѣлымъ брюшкомъ. Глѣбу напомнилъ онъ дѣтство, Калугу, Будаки. А потомъ вдругъ выплылъ занавѣсъ Художественнаго Театра съ той, его чайкой. Теперь онъ Леру спросилъ.

— А вы помните одинъ вечеръ въ Москвѣ, въ театрѣ? Мы еще смотрѣли «Чайку»?

— Разумѣется! Было такъ весело.

— Можетъ быть, около такого вотъ озера и жила Нина Зарѣчная.

— Кто это Нина Зарѣчная?

— Да... въ пьесѣ.

Лера слегка смутилась.

— Ахъ, да, въ пьесѣ... Тамъ еще такая темнота на сценѣ и говорятъ довольно непонятное.

— Ну, пьеса замѣчательная!

— Конечно, очень миленькая, но только странная...

Лера чувствовала, что почва подъ ней зыбкая — поспѣшила отступить: стала разспрашивать о Лизѣ, Вилочкѣ Косминской.

Если-бъ разспрашивала Поликсена Ильинична, было бы такъ-же неинтересно, какъ о молодомъ садѣ. Лераже дѣло другое. Ей самой важна не Лиза и не Вилочка. Потому и считали они, оба, сидя на бревнѣ передъ озеромъ астраганскимъ, что проводятъ время занимательно — плодотворно.

Солнце ласково ихъ освѣщало, со всегдашней своей, неземной ласковостью. Но из за нихъ не задержалось-бы и на минуту. Когда нижній край его былъ уже близокъ къ верхушкамъ березъ, Лера поднялась.

— Я васъ проведу по другой дорогѣ.

И они пошли берегомъ въ сторону усадьбы, а потомъ тропинкою поднялись къ дому.

Тамъ вступили вновь въ кругъ деревенскаго обихода россійского: не такъ давно отъ стола, а ужъ вечерній чай съ булками и со сливками, масломъ, вареньемъ, съ жужжащими надь нимъ осами. «Вы навѣрно проголодались, Глѣбъ Николаевичъ... знаете, у насъ запросто... но все же поправляйтесь послѣ столицы» — Поликсена Ильинична рада, что они во время вернулись, что ни быкъ не забодалъ ихъ, ни медвѣдь не съѣлъ.

И вотъ — хоть и въ Москвѣ не голодалъ — Глѣбъ будетъ здѣсь всходить на сливкахъ, маслѣ, сырѣ шестичасового чая. Но это, разумѣется, не значитъ, что въ девять не подадутъ ужина.

Вечеромъ Лера пѣла чувствительные романсы, аккомпанируя себѣ на піанино. Митя поймалъ нѣсколько окуней. Требовалъ, чтобъ ихъ тотчасъ зажарили. Въ кухнѣ налаживались уже вареники, телятина, компотъ.

Дни въ Астрагани проходили медленно, довольно ровно. Глѣбова сосѣдка мило держалась. Утромъ долго мылась, полоскалась, къ чаю выходила свѣжая и веселая — отъ нея пахло хинной водой. Свѣтлые ея волосы вились сами, а когда дождь собирался, завивались въ тугія кольца, очень легкія. Глѣбу нравились эти кольца, нравились бѣлыя батистовыя кофточки ея. Нравилось, когда она за крокетомъ, послѣ кофе, неловко и смѣшно крокировала молоткомъ свой шаръ,но смѣялась весело, легко пробѣгала по площадкѣ. Ему многое въ ней нравилось. Уходя къ себѣ наверхъ, сидя одинъ на балкончикѣ съ книгою, онъ о ней думалъ. А какъ слѣдуетъ

не могъ надумать. Улыбался про себя, но и смущался. Еще со временъ Анны Сергѣевны зналъ то сладостное и томительное, грустно-радостное волненіе, какое внушаетъ образъ женщины недостижимой. Не такъ давно сталъ испытывать и другое — очень ужъ вѣсомое и ясное, острое, мутившее разумъ: къ женщинамъ болѣе простымъ. Этой силы въ себѣ и стыдился, и скрывалъ ее, сколько могъ. Но она жила и не убывала, скорѣй разрасталась.

Лера не принадлежала ни къ тому типу, ни къ этому. Онъ ее слишкомъ видѣлъ, чтобы она стала для него фантасмагоріей. Но и не смѣлъ попросту желать, она прелестна, но и за чертой.

Что-же такое онъ? Ну, молодой студентъ, заѣхавшій сюда, вмѣстѣ они гуляютъ, играютъ въ крокетъ, обѣдаютъ и ужинаютъ... а дальше? Какъ вообще съ нею быть, какъ ее считать? Если дѣйствительно... — то все должно всерьезъ кончиться. Но это ужъ выходитъ какъ-то странно, почти жутко.

На той сторонѣ тоже была неясность. «Maman, какъ вы находите Глѣба Николаевича?» Поликсена Ильинична безпокойно встряхивала кудряшками. «Онъ, Лерочка, ничего... порядочно воспитанъ. Вѣжливъ. Но всетаки... странный».

Лерѣ и самой кажется, что странный. Но хочется возражать. «Что-же въ немъ такого? Просто серьезный». «Ахъ, я не осуждаю. Ну, изъ новыхъ, знаешь, я и опасаюсь, что среди студентовъ, всегда такія... разныя идеи... Вотъ ему и Императорское Техническое пришлось бросить». «Онъ вовсе не лѣвый и не революціонеръ, совсѣмъ даже этого и не любитъ». «Боже упаси, я и не говорю, онъ серьезный, я понимаю. Очень иногда задумчиво смотритъ. У себя наверху начнетъ изъ угла въ уголъ ходить... Молодому человѣку не надо много думать. А ты замѣтила, Лерочка, когда ѣстъ, то удивительно переворачиваетъ во рту ложку, я никогда раньше... ну, такъ сказать не видѣла, чтобы такъ дѣлали».

Тутъ Лера засмѣялась. «Maman, вы бы послушали,

какъ онъ пальцами щелкаетъ. Заложитъ руки за спину и стрѣляетъ. Но вѣдь это-же не такая бѣда».

Лера и безъ матери понимала, что Глѣбъ совсѣмъ непохожъ на тѣхъ лицеистовъ, которыхъ иногда она встрѣчала. Или на кандидатовъ на судебныя должности, молодыхъ товарищей прокурора, бывавшихъ у отца. Совсѣмъ другое... — изъ иного міра, изъ иного тѣста. Лера вообще мало думала, но всетаки, ложась у себя наверху спать, раздѣваясь, засыпая на деревенской постели, водруженной на двойныхъ козлахъ, старалась себѣ объяснить, почему онъ такой замкнутый, почему будто и милъ съ нею, ласковъ, но всегда сдержанъ, а потомъ вдругъ и холодноватъ. «А можетъ быть. онъ меня уже любитъ, но не умѣетъ высказать? Отъ застѣнчивости?»

Однажды, передъ вечеромъ, они вышли вмѣстѣ на прогулку. Дождь только что кончился. Было тепло, сѣро, очень тихо и какъ-то загадочно въ природѣ. Лера взяла корзиночку для земляники. Глѣбъ себя нервно чувствовалъ. Но ему нравилось идти за ней, попадая въ легкіе ея слѣды. Съ большой Смоленской дороги свернули въ березовый лѣсъ, потомъ пошелъ смѣшанный — осинки, ели. Земляники тутъ оказалось мало. Но тишина... — капли иногда съ деревъ падали, пахло очаровательной горечью сложенныхъ невдалекѣ дровъ, душнымъ дурманомъ какого-то бѣлымъ цвѣтущаго кустарника. Горлинка закурлыкала — полусказочная птица лѣсовъ русскихъ.

Понемногу, тропинкой, дошли до вырубки. Стало теплѣй, свѣтлѣе, зажемчужилось въ облакахъ. Появился розовый на длинныхъ стебляхъ иванъ-чай, ежевика, брусника. Кой гдѣ рыхлые холмики кротовыхъ норъ.

Лера подошла къ кусту — вдругъ какъ бы выстрѣлъ раздался оттуда — съ трескомъ, грохотомъ, обдавъ ее серебромъ брызгъ, вылетѣлъ краснобровый чернышъ, весь черноблестящій, могучій, мужчина, самецъ. Онъ летѣлъ съ силою господина этой вырубки — и умчался вдаль. Лера вскрикнула, отшатнулась. «Фу, напугалъ...»

Она чуть прислонилась къ Глѣбу, какъ бы и подъ его защиту. Локоны выбились изъ подъ платочка. Отъ нея пахло хинной водой.

Глѣбъ молчалъ. Сердце его тяжело билось. Во влажной духотѣ лѣса, при комарикахъ, неустанно разыгрывавшихъ свой танецъ колонкою близъ можевельника, онъ чувствовалъ на себѣ тяжесть крупнаго, всегда столь легкаго, а теперь ослабѣвшаго дѣвичьяго тѣла. «Испугались?» «Ну... теперь нѣтъ». Но она не высвобождалась. Оба они были нѣсколько блѣдны, точно-бы и оба испуганы. И глаза совсѣмъ близко, дыханіе почти сливалось. Въ лѣсу все такъ-же тихо, только дятелъ медленно, съ упорствомъ и стараніемъ надалбливаетъ пѣснь свою скромнѣйшую. Глѣбъ черезъ силу улыбается. «Вотъ... чернышъ какой здоровенный... и какъ васъ напугалъ». Лера вдругъ подняла корзиночку съ земляникой, отодвинулась. «А мало мы съ вами собрали. Maman будетъ недовольна». Глѣбъ пробудился. «Надо бы постараться, надо-бы» — он нервно оживился, заговорилъ, точно и вправду было ему интересно набрать земляники для maman. И усердно сталъ лазить между мелкихъ кочекъ въ ковылѣ, гдѣ больше попадалась волчья ягода да тетеревиный пометъ. Лера тоже какъ будто собирала. Была разсѣяна.

Земляники набрали немного, но вернулись не совсѣмъ такіе, какъ вышли — по дорогѣ даже мало и разговаривали.

Вечеромъ Лера усердно засѣла за рояль, пѣла какія то упражненія, разводила гаммы. За ужиномъ нервно смѣялась. Спать ушла ранѣе обычнаго, у себя въ комнатѣ долго возилась. Глѣбъ съ балкончика видѣлъ полосы ночного тумана у лѣса, ранній мѣсяцъ лукомъ своимъ не могъ преодолѣть серебра низинъ. Глѣбъ чувствовалъ себя взволнованно и неясно.

Весь слѣдующій день Лера была очень оживлена, почти рѣзва. Весело играла въ крокетъ. Она разсказала почему-то, что прочла недавно о знаменитой Нинонъ де Ланкло, какъ та почти до старости пылала сердцемъ и

встрѣчала отвѣтъ. — Во время этой болтовни вставляла иногда французскія выраженія. Глѣбъ попытался тоже, но неудачно. Вмѣсто je desire que vous... — сказалъ je vous desire. — Лера шумно его осмѣяла, онъ самъ сконфузился, но тоже улыбался и ему не было непріятно.

Послѣ ужина, когда поднялись наверхъ, Лера зашла къ нему. Было еще не совсѣмъ темно, тихій вечеръ. «Тутъ вамъ навѣрно неудобно, все такое простенькое... даже стола хорошаго нѣтъ». «Благодарю васъ, все что нужно». «А вамъ вообще не скучно у насъ?» Глѣбъ увѣрилъ, что вовсе не скучно. «Завтра въ Смоленскъ поѣдемъ. Вы, я и Митя. Согласны? Мнѣ тамъ кое что купить надо».

Лера сѣла на диванчикъ съ видомъ какъ бы хозяйственнымъ, близкаго, своего человѣка. Глѣбъ присѣлъ тоже. «Мнѣ очень нравится въ Астрагани у васъ, а время такъ быстро идетъ, уже скоро домой». «Куда это такъ спѣшить?» «Пора... я здѣсь уже вторую недѣлю». «Что-же изъ этого?» «Изъ дому на двѣ недѣли уѣзжалъ... такъ и матери сказалъ». Лера засмѣялась. «Вы какъ маленькій... Мамы боитесь». Глѣбъ немного вспыхнулъ. «Не боюсь, всетаки нельзя же тутъ поселиться». «Ну, до поселенія далеко. А въ деревнѣ принято подолгу гостить». Но Глѣбъ стоялъ на своемъ. Лера усмѣхнулась. «А ваша мама серьезная. И вѣрно съ характеромъ. Оттого вы и послушный. Я ее немного боялась тогда, на Чистыхъ Прудахъ. Но она такая... distinguée».

Мѣсяцъ подымался надъ лѣсами. Мутнымъ пятномъ свѣтлѣлъ за облаками, почти невидимый. Въ комнатѣ темно, чрезъ стеклянную дверь маячатъ столбики и перильца балкона. Вытянувъ на табуретъ ноги, Лера полулежитъ на диванчикѣ, Глѣбъ рядомъ. Разговоръ медленный, вполголоса. «Если-бы вамъ очень нравилось здѣсь, вы бы остались, несмотря на маму». «Мнѣ очень нравится». Пауза. Комаръ, долго напѣвая тоненькую свою пѣснь, садится на лобъ Леры. Она его отгоняетъ,

но не сердится. «Вы понимаете большую любовь? Ну вотъ такъ на всю жизнь?»

Какъ можетъ молодой человѣкъ, въ таинственный и тихій вечеръ, и в уединеніи, съ милой сосѣдкой отвѣтить, что любви не понимаетъ? Разумѣется, понимаетъ. Ему хочется сказать что нибудь глубокомысленное и серьезное, никѣмъ еще не сказанное, вродѣ того, что любовь есть «таинственное стремленіе души въ вѣчность». Лера воодушевляется. Разговоръ принимаетъ еще болѣе острый оборотъ. «Если-бы человѣкъ, котораго я полюбила, оказался въ несчастіи... напримѣръ, въ тюрьмѣ или на каторгѣ, я-бы за нимъ пошла. Вотъ, ваша сестра поѣхала-же за своимъ женихомъ въ Нѣжинъ и навѣрно въ Сибирь поѣхала-бы, если-бъ его туда сослали. А вы... вы могли-бы пойти на каторгу за любимой женщиной?»

Глѣбъ былъ очень молодъ, но считалъ себя взрослымъ, даже опытнымъ, съ горестнымъ взглядомъ на жизнь. Сейчасъ вдругъ оказался чуть не мальчикомъ. Это даже понравилось, освѣжало и расправляло. «Я тоже могъ-бы пойти на каторгу за любимою женщиной»—онъ сказалъ это тихо, но искренно, теплый свѣтъ освѣщалъ для него тысячекратно повторявшіяся, милыя въ наивности своей слова. Вмѣстѣ со свѣтомъ этимъ ощущалъ подъ ногами развернувшуюся неизвѣстность — вотъ вотъ ухнетъ онъ туда, и ужъ тогда...

Лера чуть было не сказала: «И за мной бы пошли?» Но не рѣшилась. Только взяла его за руку — этимъ какъ бы и сказала. Но все-жъ таки и отвѣта ждала. Неизвѣстно, въ словахъ или не въ словахъ, но отвѣтная молнія должна-бы блеснуть. Глѣбъ молчалъ. Онъ ощущалъ растроганность, почти и умиленность, но рядомъ — рядомъ тутъ прыжокъ. Духъ захватывало. Что-то въ немъ самомъ прочное и устойчивое держало крѣпко.

Мѣсяцъ подымался, полусумракъ. Тонко звенѣлъ комаръ. Они были одни въ ночи таинственной, лерина рука въ его рукѣ. Нѣкоторое время она держала ее такъ, потомъ отняла.

— Отчего вы вдругъ стали грустный?

Она спросила тихо и ласково. Глѣбъ разсѣянно пробормоталъ:

— Нѣтъ, я ничего... Я не грустный.

— Такъ что-же?

Онъ не отвѣтилъ. Потомъ вдругъ спросилъ:

— А тутъ сколько верстъ до Смоленска?

— До Смоленска... Ахъ, это насчетъ поѣздки. Она немного перевела дыханіе. Не совсѣмъ прежнимъ голосомъ отвѣтила: — Кажется, двѣнадцать. Васъ это интересуетъ?

Глѣбъ ясно почувствовалъ, что и не интересуетъ и вообще онъ сказалъ глупость, но поправляться было поздно.

— Нѣтъ, я такъ, вообще.

Лера поднялась, вышла на балкончикъ. Глѣбъ за ней. Балкончикъ низкій, головы ихъ чуть не касались наката на потолкѣ. Лера обвела взглядомъ дворъ, строенія, лѣса.

— Все спитъ. И намъ пора. Вамъ, кажется, Глѣбъ Николаевичъ, и особенно.

Она подала ему руку, пожала и осторожно вышла съ балкона и изъ комнаты.

Глѣбъ остался одинъ. Раздѣлся, легъ, и все одинъ былъ, только со своими мыслями. Онѣ тучкою надъ нимъ стояли — эта тучка изъ него исходила, ему-же и не давала спать. Что съ нимъ такое происходитъ? Вотъ только-что Лера была здѣсь, теплая и живая, полулежала на диванчикѣ, съ нимъ рядомъ. О, разумѣется, она прелестна, даже съ романами Дюма, «миленькой» пьесой «Чайкой», съ намѣреніемъ пойти на каторгу за любимымъ человѣкомъ. Глѣбъ напрягалъ воображеніе. Ну, она ему очень нравится, что говорить... очень. Видитъ-ли онъ себя съ нею? Видитъ-ли жизнь надолго — навсегда? Если-бы они были мужъ и жена, какъ его отецъ и его мать? Тутъ воображеніе его слабѣло. Нѣтъ, онъ другое что-то видитъ. Сказать, что maman съ овечьимъ лбомъ, кудряшками и близоруко-бѣлокурыми

глазами будетъ его bellemère, что тестемъ юристъ, педантъ, занятый гражданскимъ правомъ. И сама Лера... — ей нужны туалеты, квартира, общество провинціальныхъ дамъ, столько-же понимающихъ въ литературѣ, какъ она сама. А въ то-же время: какая тайна, радость въ расцвѣтающемъ ея существѣ!

Вмѣсто одного комара теперь заявилась цѣлая компанія. Не уставали они тонко звенѣть надъ Глѣбомъ. Онъ ворочался, отгонялъ ихъ, перекладывалъ теплую подушку. Можетъ быть, даже комната поднагрѣвалась отъ его томленій. Тучка мыслей-чувствъ росла. И балконная дверь стала сѣрѣть въ разсвѣтѣ, а онъ все не спалъ.

Вдругъ въ лериной комнатѣ раздался шумъ, не очень сильный, но ясно было — что-то упало. Глѣбъ смутился. Не зналъ, какъ быть: пойти-ли помочь? Но удобно-ли, въ такой часъ? — На лѣсенкѣ раздались шаги — снизу подымались. Потомъ слышно было, какъ Поликсена Ильинична вошла къ Лерѣ, внося мигающій свѣтъ свѣчи. Что-то двигали, переставляли. Видимо, дверь осталась открытой, да и глѣбова не вполнѣ притворена. Недовольный голосъ Леры: «Потому что это убожество, я все время говорю... на такой постели нельзя спать. Дурацкіе козлы... Конечно, они разъѣхались, я могла руку себѣ сломать». «Лерочка, un tel vacarme, я испугалась даже...»

Глѣбъ улыбнулся. Ему и жаль было Леру, но скрыть улыбку онъ не могъ. Бѣдная Лера, чуть руку не вывихнула!

Къ утреннему чаю онъ вышелъ позднѣе обычнаго. Но и Лера задержалась. Она была въ бѣлой кофточкѣ — это блѣднило, да и такъ видъ усталый и недовольный. На Глѣба почти и не глядѣла. «Можетъ, намъ бы въ крокетъ сыграть?» Глѣбъ спрашивалъ неувѣренно. «Хорошо, сыграемъ» — она откусывала кусокъ хлѣба съ твердымъ, глянцевито-желтымъ масломъ, видъ у нея былъ равнодушный. Допила чай, вяло поднялась.

Вслѣдъ за ней потянуло слегка свѣжестью и хинной водой.

Играла на площадкѣ разсѣянно, какъ бы и раздраженно. Въ серединѣ партіи вдругъ выпрямилась, обернулась къ Глѣбу. «Если вамъ не хочется ѣхать въ Смоленскъ, вы можете остаться. Я съ Митей поѣду». У ней было сейчасъ другое чѣмъ обычно лицо. Какъ холодны зеленоватые глаза! Въ нихъ совсѣмъ нѣтъ прежней пріязни. «Нѣтъ, почему-же, я съ удовольствіемъ». «А то Митя отлично меня довезетъ».

Крокетъ кончился сумрачно. Лера молча ушла. Глѣбъ поднялся къ себѣ наверхъ. Все представилось ему смутнымъ и холоднымъ. Грустно. Онъ здѣсь не свой. Этотъ лѣсной хуторъ mon repos, деревянный домъ со смѣшнымъ мезаниномъ, кроватями на разъѣзжающихся козлахъ, близорукая maman въ кудряшкахъ... Лера? Ахъ, Лера, но вотъ она въ хмурыхъ туманахъ, что онъ ей, въ концѣ концовъ? Студентъ перваго курса! «Она выйдетъ замужъ за товарища прокурора. А я совсѣмъ не то». Глѣбъ не могъ-бы сказать, что такое онъ, но съ товарищемъ прокурора разницу чувствовалъ. Нѣтъ, онъ одинъ тутъ, «какъ всегда и вездѣ» къ меланхолическимъ размышленіямъ склонность его не ослабѣла.

Послѣ завтрака, часамъ къ четыремъ, вихлястый парень подалъ все ту-же скромнѣйшую пару въ телѣжкѣ. На козлы сѣлъ Митя, Глѣбъ съ Лерой рядомъ — въ передкѣ телѣжки корзинка, мѣшечки для покупокъ. «Лерочка, не забудь манной крупы у Нефедова и полъголовы сахару». «Да, maman, да, да, помню». Митя тронулъ. «И еще горчицы...» Лера нетерпѣливо махнула рукой. Поликсена Ильинична, съ вытянутой впередъ шеей, выпуклымъ лбомъ, мелкими надъ нимъ кудряшками осталась позади, на крыльцѣ. Деревенское путешествіе началось.

Оно по разному протекало для разныхъ. Митя веселился открыто. Счастливъ былъ, что сидитъ на козлахъ, «за управляющаго», въ рукахъ вожжи, кнутъ подъ

сидѣньемъ... «Но-о, вы, любезные» — подъ гору къ мосту пустилъ во всю, подсвистывалъ, подкрикивалъ — въ горку любезные едва втащили. А потомъ поплелись трухомъ средь полей, лѣсочкомъ по шоссе къ Смоленску.

Лера сначала совсѣмъ хмурилась, потомъ слегка отошла — но не съ Глѣбомъ. Особенно ласкова была съ Митей, лишь съ нимъ и разговаривала, будто Глѣба и нѣтъ.

А ему теплый сѣренькій день скорѣй-бы и нравился, и ѣзда на нехитрой парѣ, блескъ подковъ, толчки на выбоинахъ дороги — все свое и родное, Русь. Но на сердцѣ невесело. Что-же, онъ провинился въ чемъ нибудь передъ этой Лерой? Не такъ сдѣлалъ? «За что?» Въ малоопытности своей еще этого не понималъ, просто чувствовалъ одиночество, какъ бы покинутость.

Смоленскъ издали завиднѣлся куполами церквей, башнями древней стѣны — такъ, туманно, въ тепломъ облачномъ днѣ и запомнился. Какъ сквозь сонъ! Незамѣтно подъѣхали, въѣхали, телѣжка остановилась у городской стѣны, или у бульвара? Или это только казалось такъ? Смутно, такъ смутно осталась въ памяти Глѣба эта поѣздка.

Точно-бы гдѣ-то благовѣстили. Башня вѣковой сѣдины воздвигалась совсѣмъ близко, надъ тьмой зелени липъ. Липы какъ будто цвѣли-медово.

Останавливались у разныхъ лавокъ. Потомъ Глѣба оставили съ лошадьми, на какой-то лужайкѣ. То онъ сидѣлъ на козлахъ, то прогуливался взадъ впередъ, ошмурыгивая ногами траву, пощелкивая за спиной пальцами. Смоленскъ какъ-бы обнималъ, заключалъ его. Но казался пустынно-тихимъ. Тамъ вонъ остатки древнихъ стѣнъ, вродѣ кремлевскихъ. Кто-то осаждалъ, кто-то и защищалъ этотъ городъ, и вѣка прошли, теперь ворона, каркая, безсмысленно летитъ, мѣщанинъ проходитъ, везутъ возъ сѣна, да вотъ онъ, Глѣбъ, въ смутной грусти, ожидаетъ Леру съ Митей — можетъ быть, они наконецъ, притащутъ «полъ-головы сахару

отъ Нефедова», или отъ кого тамъ еще?

Въ нѣкоторый моментъ они, правда, появились. Шли, весело болтали, а подходя стали просто громко смѣяться. Глѣбу показалось, что надъ нимъ. Но это ничего! Все проходитъ. И этому Смоленску, съ вѣковой исторіей его, осталось нѣсколько еще минутъ жить въ Глѣбѣ — чтобы опять кануть въ небытіе.

. . . . . .

Два слѣдующихъ дня прожилъ онъ въ странномъ состояніи — смѣсь грусти, одиночества, недоумѣнія. Точно другая стала эта Лера, которую одной, прохлад-ной и разумной стороной своей онъ ясно видѣлъ, пони-малъ, даже нѣсколько свысока улыбался на нее, но дру-гой его части такъ была она и мила. Между тѣмъ — отходила. Сомнѣваться нельзя. Едва вѣжливость соблю-дала, да и то не всегда. Разъ, когда онъ вошелъ въ ком-нату, пощелкивая за спиной пальцами, рѣзко сказала: «Перестаньте, пожалуйста, вы мнѣ на нервы дѣйствуе-те». Это, конечно, правда. Нервы у ней въ неважномъ видѣ.

Глѣбъ рѣшилъ теперь твердо: онъ сталъ почти ей непріятенъ. Можетъ быть, надо-бы выяснить, договориться? Но на это ужъ мало онъ былъ способенъ. Съ дѣтства росъ въ безотчетной увѣренности, что его вообще надо любить. И совсѣмъ не привыкъ переносить нелюбовь, хлопотать о любви. Никакого «выясненія отношеній» не произошло.

Въ теплый лѣтній вечеръ, выдавшійся необыкновенною тишиной, райской безоблачностью и миромъ, вихлястый парень подалъ къ подъѣзду все ту-же немудрящую пару. Поликсена Ильинична, Лера и Митя провожали Глѣба. Разставаніе прошло правильно. Глѣбъ почтительно благодарилъ Поликсену Ильинич-ну. Лера вѣжливо ему улыбнулась и лѣсная полянка Астрагани съ деревяннымъ домомъ и мезаниномъ, съ новымъ садомъ знатока римскаго права навсегда оста-

лась позади. Парень везъ его по шоссе въ прозрачномъ вечерѣ. Въ Астрагани этимъ-же вечеромъ, въ сумеркахъ, Лера наигрывала на піанино Шопена. Позже, у себя наверху, тихо плакала.

Глѣбъ на станціи Духовской вновь взялъ билетъ перваго класса, теперь до Москвы. И въ назначенный часъ вновь такой-же поѣздъ катилъ его по знаменитымъ мѣстамъ Россіи. Онъ опять стоялъ у окна. Закатъ пышно, торжественно-золотоносно разметался, божественный хоралъ въ небѣ звучалъ и въ самомъ этомъ исполненіи было уже умираніе — золото переходило въ пурпуръ, пурпуръ гасъ понемногу, малиновѣлъ. Отойти отъ окна Глѣбъ никакъ ужъ не могъ. Во всемъ немъ была такая взволнованность, такой сладкій и мучительный полетъ...

Въ вагонѣ стемнѣло. Онъ сѣлъ въ купэ, прислонился головой къ дивану, сидѣлъ, полудремалъ. Постукиваніе колесъ, мѣрный ихъ ритмъ, будто дирижерская палочка ведетъ разыгрывающуюся въ немъ піесу. Можетъ быть, музыка эта не звуковъ — словъ?

Онъ опять вышелъ въ корридоръ. Звѣзды стояли въ небѣ, лѣса медленно проходили. Вотъ рѣка, луга. По лугамъ туманъ. Поѣздъ прибавляетъ ходу — подъ уклонъ. Звѣзды такъ-же важны, но теперь вдругъ туманы сливаются въ грохотѣ поѣзда съ тѣмъ остро-сладостнымъ и пронзительнымъ, что въ самомъ Глѣбѣ... да, да, вотъ такъ, это и есть слова — они летятъ какъ никогда въ немъ раньше не летѣли, онъ ихъ не произноситъ, но онъ чувствуетъ ихъ ритмъ — этимъ нервнымъ потокомъ и изобразитъ ночь, одиночество, полетъ подъ звѣздами, среди тумановъ неизвѣстной никому рѣки, несущейся и проносящейся. О, это, наконецъ, не дѣтское, вотъ это настоящее...

Глѣбъ былъ одинъ — и счастливъ. Звѣзды его видѣли. Господь благословилъ.

Рѣка, туманы, все давно осталось сзади. Онъ стоялъ, смотрѣлъ, въ тихомъ полоуміи. Зналъ, но словами

бы не могъ сказать о самомъ главномъ, съ нимъ случившимся въ іюньскій вечеръ у окна вагона.

Онъ вернулся домой покойный — по крайней мѣрѣ такимъ казался. Но ни мать, ни отецъ, ни Лиза не могли знать, что вернулся инымъ. Онъ объ этомъ никому не сказалъ, да и не надо было. Просто на другой-же день сѣлъ у себя въ комнатѣ къ письменному столу, чуть не въ одинъ присѣстъ написалъ то, что и надлежало написать. Это было то новое, чего долго онъ ждалъ, долго и упорно добивался, о чемъ мучился и не зналъ, придетъ-ли оно и когда. Это была ночь, звѣзды, туманъ надъ рѣкой, грохотъ поѣзда, все въ полетѣ лирическомъ, безъ конца и начала, обрывокъ млечнаго пути души.

Борисъ Зайцевъ

(Окончаніе слѣдуетъ)

АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ *)

(Роман)

13. Путь

Миссис Линзбург любезно согласилась выдать чемоданы Боба. Но заставила Сабину выпить чашку кофе и дружески расспрашивала о симптомахъ внезапной болезни: кто будет оперировать ее жильца, и где... Знакомый врач, очень хороший хирург, вырезал Миссис Линзбург матку: совсем не дорого взял.

Сабина органически не выносила лжи. И вовсе не по моральным соображениям. В этой ее боязни было нечто ущербное, ублюдочное. Так люди пугаются высоты, и стоя на веранде четвертого этажа испытывают головокружение, тошноту. Ложь создает искусственную пустоту, вакуум, — и надо, подчас, иметь мужество, отвагу, чтобы выдержать это отрицательное давление.

Сабине только недавно минуло 28 лет. Все ее существо было задумано — для любви. Для любви родилась, зрела и была подогнана. Этим даром ее отметили. И если Бог, подразумеваемый в Евангелии, имеет хоть какое нибудь отношение к ее пониманию любви, то Сабина, вся, целиком, по заповеди, принадлежала Ему, им жила. Только в праздничном, возвышающем страдании могла двигаться, дышать полной грудью. В перерывах же была ночь, пустые, темные провалы, сон, скука, сумбур и мысли о самоубийстве: упадок сил, нервная депрессия.

Раз, после одного из ее бурных, неудачных, выдуманных, романов, она погрузилась в такую хандру, что

*) См. 12-ую и 13-ую книги «Нового Журнала».

муж, по совету добрых людей, повел ее к психоаналитику.

Психоаналитик попался старый, добрый и совестливый; у него в ту пору что-то неладилось в собственной семейной жизни, и он, послушав Сабину с четверть часа, обыкновенно начинал повествовать о себе, жалуясь и недоумевая. Сабина, чуткая, догадливая, очень быстро усвоила метод и повадилась сама истолковывать его конфликты, давая советы, утешая, объясняя ключевые позиции и сны, выслеживая самые трудные ассоциации подсознания. Это ее развлекало и в самом деле поправило: только дороговизна лечения помешала ей проделать полный курс.

Так, с грехом пополам, она преодолевала темные карнизы «пустой» жизни: как особого вида рыбы, полумертвые, переползают из одного резервуара воды в другой, — задыхаясь, на брюхе.

Зато в полосе влюбленности, Сабина, как никто, умела сполна взять, осознать, упиться своим горьким счастьем... состояние напоминавшее о рае, о вечном — несмотря на соприсутствие муки (или, может быть, именно благодаря этому). В таких случаях, заявляла она, недопустимы темные места, дни, будни... Каждое мгновение осмысленно — праздник полноты жизни. Величайший позор эти трясины, провалы: прыгаешь с одной конденсированной кочки на другую, заполняя скучный досуг книгой, синема, картами. Любовь тем велика, что уводит сразу в бесконечность: нет больше времени —миг, час или годы. Всегда и повсюду чувствуешь присутствие своего друга: беседуешь с ним, делишься, обмениваясь соками души. Нет больше сомнения или скуки в сердце, ибо основное великолепно, нерушимо: ты любишь, тебя любят... и в сравнении с этим прочее — мелочь! Грех против любви — уныние, грусть. Здесь Сабина перекликалась с апостолом Павлом. Человек, знакомый с внутренним христианским миром, легко мог узреть схожие черты в опыте доступном ей: в другом плане Сабине открывалось подобное же.

И разумеется жизненно это всегда кончалось катастрофой. В радениях святых постоянно соприсутствующим Другом, Утешителем, являлся Христос, совершенный, неизменный, воскресший и воскрешающий; тогда как в данном случае — смертные, слабые, а подчас и подлые люди. В этом заключалось главное противоречие. Впрочем, и особая сладость: так многие предпочитают восемь часов подвизаться в рулетку и выиграть мелкую сумму... чем наверняка заработать ее у станка.

Первые увлечения Сабины, до замужества, были в общем оправданы и удачны; но следов исчерпывающей убедительности они не оставили. 20-ти лет она вышла замуж. Мужа она любила. Но тут произошло злое чудо, жестокое и логичное по своей неожиданности. Страстная, горячая, веселая — жрица! — она оказалась: холодной, не совсем нормальной в этой игре. Другая бы сдалась, несчастная, подобно многим, угомонилась бы: уйти в работу, детей, религию, партию, филантропию. Кругом мир изнемогает от бед и преступлений. Можно найти удовлетворение в полезной деятельности. Но Сабина не клюнула на такую приманку. Чувство неполноценности, ущербленности возмущало ее, как, бывает, мысль — о смерти, о грехе. Не уступила. Подобно плененному зверю кидалась всем телом на стальные прутья решетки, разбивая себе лоб и грудь в кровь.

Их брачные ночи, внешне — сплошное, плотское действо, на самом деле являлись героической, тяжкой борьбой не на живот, а на смерть, — с непоколебимым, ледяным, страшным ангелом. Отчужденная, беззвучно плакала, роняя крупные, холодные слезы.

Видя это неподдельное страдание (а может чувствуя свою вину), муж, человек простой и доброжелательный, предоставил ей полную свободу выбора.

И Сабина пошла на это. Так как чисто плотские отношения были не совместимы с ее воспитанием и строем души, то приходилось «выдумывать» очередного героя романа, поднимая его до нужного уровня. Отрицая внешние факты, находя им всегда благородное

объяснение и оправдание... Глядела лучистым, зачарованным взглядом существа зарвавшегося, проигравшего уже целое состояние (упорно бросающего на тот же номер последние жетоны, не слушая друзей, рассудительных соседей, даже голоса крупье, отделенного от всех — даже от самого себя — непроницаемой завесой). И чем хуже и площе был партнер, тем больше она привносила элементов мечты, — и тем злее ждало возмездие. Что, впрочем, не мешало ей бороться, рьяно и настойчиво, за свою сексуальную полноценность. Надо только допустить, что это важно, серьезно, что она должна... — (ну, художник, ученый, исследователь стремится закончить начатый труд), — и тогда все эти потуги и невольные гадости станут разумными.

14. Путь (продолжение)

На четвертый год замужества Сабина встретила студента-испанца и влюбилась без памяти (значит: с первой минуты должна была «выдумать» его). У испанца оказалась невеста: судя по фотографии, очень красивая, молодая англичанка. И именно это обстоятельство, в самом начале, подтолкнуло Сабину: «Если ей стоило, значит и мне стоит», мелькнула мысль. Только мгновение: самое интересное, что, несмотря на силу иллюзий, Сабина ухитрялась все, даже болезненно полно, запоминать, отмечать, но осознавала это позднее.

Она была в расцвете молодости: 24 года... И стремительно шагнула навстречу. Решительный бросок тела и души, без оглядки, без колебания и взвешивания (затем, обыкновенно, воцаряется старческая мудрость, усталость и «постолько-посколько»).

Роман этот кончился ужасающим провалом. Слишком ничтожны были его возможности (или она чересчур многого ждала). Тянулась без оговорок, отдавала все мысли и соки, посвятилась целиком... А когда прозрела, обнаружилось: прыщеватый увалень, мечтающий о карьере, о богатой невесте и прочем. Вдобавок,

еще: импотент. Как она могла не разгадать его ничтожества, потерять себя, забыть мужа, зачем полезла на рожон, домогаясь, настаивая. Бррр... К тому же Сабина забеременела, совершенно бестолково и нелепо, принимая во внимание трудности их двух-трех любовных полувстреч. Ряд гнусных совпадений ошеломил Сабину, если не своей нравственной, то хотя бы эстетической нечистоплотностью. И она уступила. Отказалась. Сдалась. Не отчаяние, а равнодушие. Как очнулась после операции (врачу платил муж), так, словно анестизированной, обледеневшей изнутри, и осталась. Боясь, — стыдясь? — мужа, убежала из дому, при довольно драматических обстоятельствах.

Психоаналитик-оппортунист не советовал ей окончательно порывать с мужем. Поступила на службу. Записалась как Air Raid Warden. Заполняла анкеты в добровольцы от Красного Креста или УНРРЫ. Так обанкротившийся миллионер занимает место скромного клерка, выплачивая из скудного жалования долги, и служит, одновременно, примером отрицательного и положительного.

Тогда она встретила Боба Кастэра. Как в учении индусских мудрецов. Сперва Отвага: подвижник хочет познать Истину. Но она не раскрывается: это второе состояние — отчаяние... «Несмотря на все духовные усилия, я ничего не достиг»... И когда разочарованная душа отворачивается в другую сторону, — приходит Отрада: Истина здесь, во всей красе и несложности.

Боб Кастэр представлял почти все начала, которые Сабина искала и выдумывала в пору предыдущих увлечений. Физически ладен; внешне спокоен, сдержан, только подчеркивая этим творческий, внутренний жар. Темные, гладкие волосы при светлых, — между зеленым и синим, — глазах. Увлекался философией, живописью, но слово: intellectual... не подходило к его атлетическому сложению. Мягкий, вежливый, но всегда на отлете, — в стороне несколько, в крепости, за оградой. Чувствовалось, еще минута и мосты, соединяющие его с окру-

жающим миром, могут резко подняться: превратится в чужого и далекого. Таким она его восприняла: образ соответствовал предыдущим поискам. И в этом заключалось горе. Ибо крепче всего притягивала ее неопределенность, загадочность. Вот почему Сабина часто сходилась с хамами и дураками: они казались ей носителями тайны (к тому же: «не может человек быть ничтожеством, если обратил внимание на меня», — попадалась она в собственные силки). Боб же не оставлял места для фантазии. Он сам себя разгадывал, объяснял, осознавал. При всей сложности внутренней жизни. он ухитрялся сохранять простоту, точность и даже однообразие.

Сабина постоянно сравнивала предыдущий свой опыт с этим и ей мнилось: она слишком спокойна, рассудительна, недостаточно любит — обманывает, вводит в заблуждение. Единственный раз, когда образ соответствовал желанию, она трезва: тут нет места для чуда! В довершение, она с Бобом начала переживать все, что полноценной и здоровой женщине дано пережить на этой земле. Когда-то, в грезах, Сабина себе представляла: «Это, должно быть, словно небо и земля сходятся вместе... Я бы стала собачкой того человека». Тут тоже ждало ее разочарование, — как всякая реализованная мечта. Небо и земля соединяясь не всегда оставались небом и землей. И в собачку его, — как предполагала, она не превратилась (может быть потому что Боб не пожелал).

Обыкновенно, первые ее впечатления от влюбленности были какой-то сплошной «весной», вальсом, или в этом роде. С Бобом начало она как-то упустила: не заметила, проморгала (она, впервые в жизни, тогда работала: просыпалась в семь, возвращалась усталая, рассеянная). И грызла себя, упрекала: дает Бобу меньше чем должно, даже меньше чем другим. Ибо, по сравнению с настоящим, прошлое выигрывает: настоящее еще подвержено изменениям, переоценке, а прошлое уже вне времени, незыблемо, и все таки утрачено. Так,

страдая, мучаясь, она откатывалась в сторону враждебности, бунта. Ссоры их непосредственно Боб часто вызывал, но подоплекой являлись именно ее сомнения, колебания. Это его изводило. Долгим, пронзительным, виноватым взглядом присасывалась к нему, изучая, сравнивая, проверяя. В прошлом это означало: любит ли он... Здесь надлежало читать: люблю ли я, люблю...

15. Новоселье

Боб видел из окна своей комнаты: такси медленно подкатило к подъезду... Неповторимо знакомая, легкая, женственная и ребячливая, Сабина спортивно выпрыгнула из еще тормозившей машины. Шоффер помог выгрузить два чемодана. Этот желтый, в полоску, сундучек Боб купил в Женеве — при совсем иных, иных обстоятельствах. Солнце, горы и сколько возможностей в будущем! «Que de chemin parcouru», подумал он и усмехнулся: эту фразу преподнесла ему однажды парижская проститутка. Боб, без пальто, спустился вниз.

— Как все уладилось? — спросил, подразумевая хозяйку Линзбург.

Ах, глупо. Пришлось лгать. Она хотела знать в каком госпитале ты, и что за операция. Если аппендицит, то с гнойным ли перетонитом...

В ту минуту, когда он вышел к Сабине на крыльцо, в светере, застенчиво сутулясь, и она увидала его глаза — усталые, виноватые и, все же, такие озорные, отважные, с волчьей искрой — вопросительно глянувшие (с нежностью, но и с готовностью, если понадобится, немедленно все обратить в шутку), ее сердце вдруг изнеможенно замерло. Упасть, крикнуть, обнять его ноги, молить о прощении. Но вместо этого она, почему то напряженно и неестественно улыбаясь, подробно рассказывала о встрече с Миссис Линзбург.

Боб принялся раскладывать вещи; она помогала. И вскоре, как ни странно, несмотря на исключительность положения, оба почувствовали род успокоения — почти

физическое облегчение. Бобу, в общем, не могла казаться обидной мысль, что она его т е п е р ь не любит. Сабине же вдруг открылось, чем он был для нее в прошлом! Большего счастья не нужно. И вот ее обокрали. Обманули. Сыграли адскую шутку: подменили его. Полнота была в прошлом: еще неделю тому назад. Да, сколько вздорных, напрасных обид. Но ведь и себя не жалела тоже. Сегодняшняя боль другого порядка: те дурные укоры и сомнения исчезли. Они вдруг помирились, сошлись (хотя бы — в позавчера), и это рождало гордость, удовлетворение: нищие, вспомнившие свою богатую родню.

Решили передвинуть шкап, по иному приткнуть кресла, радуясь этим хозяйственным заботам. Они давно мечтали поселиться в такой комнате и остаться — на месяц, на год, быть может навсегда. Сабина, впопыхах, даже брякнула:

Надо все устроить получше, может и я сюда перееду! — сказала и ужаснулась.

Боб помылся, почистился и когда вернулся из ванной то нашел на столе два прибора, большую тарелку с любимым, холодным ростбифом и вино. Было ощущение: давно уже — века! — не ел, не пил, не спал. Как он измотался, а ведь только начало кампании и нельзя трогать резервы. Выпив и закусив, он, по обыкновению, несколько повеселел. Сабина тоже ела: маленьким ртом, энергично и быстро жуя. Его всегда умиляло, как изящно и незаметно она это делала, потребляя больше пищи чем Боб. Иногда, чуть поворачивая лицо, Сабина взглядывала на него, сбоку, — мягко, растроганно, изучающе, — но тотчас же отводила глаза.

«Нет сомнения, я черный и противный», — догадывался Боб.

И снова они деловито мазали, глотали, чокались, бессознательно расстягивая время обеда.

А когда убрали со стола, Боб, испытывая злую радость, словно ковыряя в ноющем зубе, заметил:

— Ты вряд ли здесь ночуешь?

Сабина шарахнулась, скривилась. Передохнув, тронула рукою его плечо, виновато спросила:

— Ну расскажи как ты жил сегодня? Где был, что узнал?

— О, это длинная история. Я слишком устал теперь. Когда нибудь в другой раз — объяснил он. Потом, однако, продолжал: — Сущность такова... Я попался, и надо спасаться. Не теряю надежду: пока дышу, буду бороться за свое возвращение. Но это очень сложно. Вероятно даже за большие деньги не сразу найдешь людей способных помочь. И доктора, адвоката. Я сегодня понял до чего трудно и опасно! Понимаешь, весь строй жизни, вся ее биология и торжествующая гравитация против нас. Я говорю «нас», так как нашлись еще люди, пострадавшие на мой манер, среди них одна дама.

— Нет? — вскричала Сабина, тоже потрясенная этой новостью, словно прикоснувшись к таинственному, запретному.

— Да, да, — торжествующе подтвердил Боб Кастэр. — Я их сегодня видел. Они жалкие. И боятся: их напугали. Вся реальная сила общества, весь государственный аппарат: полиция, законы, церковь... против нашей реабилитации, по разным причинам, часто даже гуманитарным и высоко справедливым. Единый фронт от иезуитов до франк-масонов, включая и Ку-Клукс-Клан.

— Но почему...

— Это долго объяснять. Смысл: «в нашу эпоху, когда мир рушится, поколебать еще последний, незыблемый свод: расу... преступление, легкомыслие, чреватое не подающимися учету последствиями». Я пока один против всех власть имущих: подлых и благородных, умных и дураков, бескорыстных и жадных. Есть довод, который мог бы сыграть, думаю, решающую роль... в мою пользу.

— Какой? — осторожно осведомилась Сабина. Они сидели рядышком на диване и со стороны могло казаться: молодая, воркующая пара.

— Если я сделаю ребеночка, это будет расовым экзаменом... Представь себе младенец: черный или метис. Тогда нету пути назад. А вдруг получится белым... Ты понимаешь? — и глаза Боба засверкали творческими огоньками. Эта мысль ему предстала внезапно и он испытывал чувство торжества, знакомое вероятно всем крупным и мелким изобретателям.

— Невозможно! — вырвалось у Сабины.

— Почему? — подчеркнуто сдержанно.

— Ты помнишь, как мы опасались этого раньше, когда воистину любили друг друга. А теперь... Как взвалить на себя такую ношу? Точно итти на смерть.

— Ты права, — согласился он. — Борьба за мое восстановление не должна влиять...

— Кстати, у меня уже запоздание на несколько дней, — вспомнила Сабина.

— Не беспокойся. Нет оснований. У тебя ведь часто перебои, — по старому, нежно — покровительственно, успокаивал он: слишком большой путь проделан ими и нельзя сразу произвести все необходимые перестановки.

Боб Кастэр лег, — незнакомый профиль дивана, — она примостилась рядом. Потушили свет: в темноте вспыхивал уголок его папиросы. Когда-то, в минуту смешной ссоры, он сказал: «мы на собственных похоронах»... Теперь он молчал. Сабина робко тронула его за плечо, потянула к себе. Плечо не поддавалось, она мягко продолжала его теребить, — вот он медленно начал поворачиваться к ней: еще мгновение... Боб опять чувствует: все рассуждения ложь! Нерасторжимо нуждаются друг в друге... Тогда он вспомнил один эпизод из ее прошлого: в поезде, — колеса стучали.

Его плечо стало тяжелым и чужим. Она ощутила внезапную перемену и сразу сдалась. С печалью и любопытством, осведомилась:

— Что случилось? О чем ты подумал?

После томительного молчания: — Я представил себе твой поезд. Колеса стучали, мешали.

Ее отбросило к стенке. Сжалась, стихла: маленькая, слабая, полумертвая от тоски.

— Не волнуйся, — искренне пожалел он Сабину: — Надо искать выход, разрешение.

— Но как? — детски-умоляюще.

— Можно предположить: только раз подлинная любовь, наша с тобой. Все остальные от слабости: предать тех, отказаться.

— Этого я не могу, — подумав, решила. — Мужа я любила. И еще одного, девчонкой: жалею, что мы не были близки...

— Дорогая, я теперь жалею о тех случаях, когда сближался, а не о пропущенных возможностях. Думаю, и тебе бы пристало...

— Знаю, знаю, — злобно отмахнулась она.

— Другое, — продолжал Боб, — допустить: в каждой очередной страсти мы поклоняемся все одному и тому же началу. Языческая мистерия, где личность отсутствует, являясь только носителем знака, пола, стихии, идеального образа. Для христианина это неприемлемо.

— Не годится, — быстро согласилась она, исходя, очевидно, из многих побочных соображений.

— Имеется еще третье: вера, чудо. И, после встреч сегодняшнего дня, ясно: здесь ключ!

— ?

— Если допустить что основным делом моей жизни являлась эта любовь, то, поскольку она не удавалась, катастрофа, распад, смерть становились неминуемы.

— Да...

— Предав главное назначение, я потерял себя. То же, приблизительно случилось и с теми, почерневшими. И теперь вера, чудо, должны нас спасти.

— Но практически...

Главное не пугайся, — взмолился Боб, как всегда, когда попадал на дорогую ему и еще не совсем продуманную тему. — Бог по любви своей может все. Это и есть чудо. Чудо входит в замысел мира, а мы его ис-

ключаем и ропщем, что не видим смысла. Ум не может постичь тайны. Но душа верит. Надо тянуться за ду-шой. Не сдаваясь долбить стенку мнимой действитель-ности. Таранить без устали, без страха, не жить чужим умом, отвергать собственный ублюдочный опыт: ведь и курица, не решаясь перешагнуть через проведенный мелом круг, полагает, что здраво учитывает реальное соотношение сил. Мы перешагнем, вернемся в себя, добьемся нашей любви, но уже на иной высоте, когда все нас разделяющее будет чудесно вытравлено.

—Ах, дорогой мой, —вздохнула Сабина, обнаде-женная больше звуком его голоса, чем смыслом речи. — Я боюсь. Я ужасно боюсь. Я очень виновата пред тобою. Думаешь: ты изменился и поэтому я разлюбила тебя. А если наоборот? Что если я сперва разлюбила, а потом ты обернулся негром?

Боб вздрогнул. Мысль острым концом ударила его по глазам, хлестнула, и все кругом заколебалось опять. Она тихонько всхлипывала.

— Ну, что-ж, — сказал он, затая обиду. — Только подтверждает мое впечатление, обе темы связаны: лю-бовь и метаморфоза. Ты ли первая... я ли изменил тебе ... Вероятно и то и другое. Значит и ты ответствен-на, и твой долг принять участие в подвиге. Даже к луч-шему. Твоя роль: полюбить меня ... и я вернусь. Как в притче о блудном сыне, когда его умыли, одели, накор-мили в отчем доме: «и пришел он в себя».

— Но как это сделать? Научи меня. Я так хочу лю-бить. Я так была счастлива, когда любила тебя, даже сопротивляясь, бунтуя. А теперь ты такой хороший и достоен любви. И я хочу, но не знаю как ... Словно по-теряла что-то: почва ускользает из под ног. Меня обо-крали. Стукнули по голове. И жизнь моя снова серая, бессодержательная. Мне скучно, давно уже. Я себя лов-лю на том, что колупаю в носу. Это конец: раньше я этого не могла делать. Постоянно чувствовала твое при-сутствие ... Пойми.

Ну что-ж, — сказал Боб Кастэр, ожесточенно. — Помолимся.

Они напряженно смолкли. Потом Сабина встала, зажгла свет, начала собираться. Он не двигался. Случалось и раньше, что ему не хотелось одеваться, итти ночью, в холод, — провожать, затем возвращаться. Лень. Но он пересиливал себя и радовался всегда этой победе над животным началом. Теперь он не пожелал. «Зачем лгать, — думал освобожденно. — Я засну». Если человек, ценой неимоверных страданий, шлифует свое произведение, то это называется — художник... Но если от него же потребовать осторожности в отношениях с близкими (скрывать, уменьшать одно, подчеркивать, выделять другое), то он возмущенно будет клеймить себя за неискренность, рабство и трусость.

Боб нетерпеливо ждал: скорее конец. Один, он вытянется, замрет, провалится. «Какое блаженство». Так в любой драме присутствует соблазн открывающихся возможностей удобства, покоя.

16. Двойная жизнь

Рано утром, на Ист 110 улице, просыпался негр. Чистил зубы, подвязывал галстук и отправлялся на службу: целый день покорно и бессмысленно ворочать пакеты.

В группе с Бобом Кастэром работало еще человек пятнадцать: белые — подростки, а цветные, как общее правило — постарше. До 5, иногда до 6, пополудни, продолжалось их пустое, нудное бдение. Случалось, и в это существование Боба доносился отголосок, сигнал из другого мира: то в виде телефонного звонка, письма или подозрительного субъекта, шепчущего драгоценный адрес. Обедал Кастэр где придется, порой в таком ресторане, куда с его жалованием не пристало бы ходить.

Вечером начиналась вторая, таинственная деятельность: общество жуликоватых посредников, небезызве-

стных докторов, темных адвокатов. Среда спасительная для всех обиженных Богом — сексуальных неудачников, потребителей запретных трав, ищущих квотной визы.

Бобу Кастэру повезло. Разыскивая подходящего доктора, он наткнулся на таких уголовных типов, что буквально опешил. Тогда он пустился назад, по собственным следам — наведался к Поркину, первому своему врачу.

Его не прогнали, к удивлению Боба, даже сразу провели в кабинет, раньше двух-трех, уныло дожидавшихся, пациентов.

Волнуясь, Боб молвил:

— Доктор, почему вам собственно не заняться мною в серьез?

За это время в судьбе Поркина произошли многие изменения. Истек контракт с Юнионом и лекаря, после двадцатилетних безупречных трудов, безболезненно устранили. Кстати совпал и развод с Анитой... Он, вдруг, очутился на том самом месте, откуда начинал: только был уже лет на двадцать пять старше, а на текущем счету — несколько десятков тысяч. Деньги, впрочем, как в прорву, шли на Аниту с дочкой.

— В чем дело? Что тут странного? Вы родились белым и стали черным? И это вас удивляет? И это всех возмущает? — громил Поркин невидимых врагов с такой легкостью, что Боб даже испугался: — Только всего! Редкий феномен? Ах, ты Боже мой. Никто такого не наблюдал. Это обывательская точка зрения. Многие болезни, когда их впервые изолировали, казались неслыханными, ошибками диагноза, лаборатории. Да и не только болезни. Все крупные явления по началу вызывают недоверие. Я очевидно нахожусь перед новым клиническим случаем и сам дьявол не помешает мне выполнить свой долг! — таков был Поркин этих дней.

Приступив к тщательному исследованию, доктор все еще ронял глубокомысленные замечания:

— Основной, первый цвет людской — желтый. Цвет, преобладающий в животном мире. Приспособля-

ясь к внешним условиям, часть развилась в белую, а другая в черную расу. С вами м-р Кастэр произошло нечто сумбурное, под влиянием еще неизвестных нам причин. Неизвестных еще нам. Здесь зарыта собака. Где аномалия? Я хочу ее осветить ... Путь человеческой жиз-ни это постепенное темнение. Мы светлее в детстве; потом блекнем и усыхаем. В этом вся история старости и смерти. Не обещаю исцеления. Но буду лечить. Обывателям представляется, что роль врача исцелять. Может в древности это так и было. Теперь от эскулапа требуется иное. Для каждого недуга имеется официально признанная терапия. Меня никто не будет порицать, если я не вылечу сифилитика ... Но меня ошельмуют, если я не проделаю ста процентов установленной терапии. То же происходит в суде. Когда то, вероятно, судьи обязаны были вершить дела по правде . Теперь такого судью сошлют на каторгу: он должен руководствоваться законом. Сто процентов законности. Ваш случай ценен для адвоката и врача тем, что не имеет прецедента: какие возможности для людей с творческим даром.

Первое их свидание протекло в сплошном восторге. И доктор Поркин, после ряда анализов, начал применять разные средства, подчас грубые, тут же, впрочем, объясняя причины избранного им пути. В свободные часы Боб сам читал толстые, купленые им по случаю, фоли-анты: физиологию, судебную медицину ... и постепенно стал чем то вроде заштатного профессора.

Формула крови не показала подозрительных отклонений и они приступили к электро-терапии, стремясь потрясти организм, при помощи шоков вызвать общую перемену. Вспрыскивали протеины в разных формах, искусственно повышая температуру Боба. Страшная, все возобновляющаяся агония. Потом врач испробовал промывания крови, переливания. Попутно шло чисто кожное лечение: мази, настойки, уколы, витамины, гормоны.

Боб Кастэр безропотно переносил пытку. Иногда, после особой ядовитости сеанса, он отлеживался у себя

на постели: в темноте, в одиночестве, на пороге смерти, душевной и телесной. Ему чудилось: все кончено, побежден, обречен, казнен. Сдается. Пусть другие делают лучше. Но эта мысль его возмущала своей кощунственностью; и он как то отходил, возрождался: стиснув зубы, снова готов был таранить камень. Ненароком, он сочинил два лозунга, свидетельствовавшие о его состоянии. И в шутку даже собирался нарисовать для них плакаты. «Это был человек, у которого от удачи удваивались силы, а от неудачи утраивались». Еще: «Чтобы победить, надо несколько раз под ряд сделать последнее усилие».

17. Мистер Прайт согласился

Они познакомились в приемной у врача. Признав в Бобе Кастэре человека образованного, не чуждого вопросам философии и культуры, Поркин давно старался их свести: у него была тайная мечта — раз в месяц собирать у себя милое общество и беседовать на отвлеченные темы (давно уже лелеял эту мысль, но Анита сопротивлялась). При первой же встрече обнаружилось, что Прайт не только знаменитый художественный критик, но и юрист: имеет долю в одной конторе на Бродвее.

Боб прочитал несколько его статеек в образцовом литературном журнале. Прошлого сезона, — ибо вот уже несколько месяцев как Прайт забросил труд публициста: его это слишком волнует, сердце дает перебои. Да, сердце. Историю своей болезни Прайт начинал издалека... Его пригласили на party; явился первым, смакуя возможные радости (кроме искусства, Прайт еще увлекается дамами). Приятель, дававший party, заканчивал приготовления к ужину и вдруг, застонав, осел в кресло — с пеной у рта. Прайт кинулся искать врача в том же доме; когда вернулся, рачительный хозяин был уже мертв. В тот вечер, впервые, Прайт ощутил острую боль в грудной полости («вот тут»), одышку и голово-

кружение. Клиент доктора Поркина окончательно забросил литературу, изредка только, с прохладцей, наведываясь в контору.

Смышленный, легкомысленный, глуповатый и не без добрых порывов, он, поначалу, заинтересовался Бобом Кастэром и довольно энергично взялся за его дело, не требуя пока вознаграждения, — кроме сумм на покрытие расходов.

Они написали бумагу. С обратной почтой пришел ответ: не касается данной инстанции. Составили другую бумагу. И снова отвод. Адвокат обратился к местной администрации. Вежливый, но твердый отказ. Боб смутился, а Прайт торжествовал:

— Теперь, ссылаясь на все эти справки, можно ударить по Вашингтону.

И он уже приготовил нужное прошение, подчас смахивавшее на философскую диссертацию. Так, он утверждал, что справедливое решение по делу Роберта Кастэра не только не расшатывает расовых стержней, но наоборот утверждает их святость и незыблемость. Ибо, если гражданин, который выглядит цветным, будет признан белым, то этим самым будет доказано, что раса не является внешним признаком, а метафизической, внутренней величиной.

Но к тому времени на имя адвоката прибыло странное послание, подписанное символическими знаками. Ему и Бобу предлагалось немедленно оставить опасную игру, под угрозой бесшумной и умелой расправы... и ссылка на двух-трех бесследно исчезнувших адвокатов и подзащитных.

Боба это мало тронуло. Для него, гибель в бою, если и была неудачей, то никак не бессмысленной. Но Прайт струсил и сразу отказался продолжать сотрудничество.

— Ах, вы наивны, вы наивны, — бормотал, хватаясь за сердце: он что-то знал и боялся проговориться.

Боб пробовал всячески его ублажать: водил в ночные клубы, спаивал импортными винами... бесплодно.

Только когда нашелся другой адвокатишка, темный субъект, готовый возобновить тяжбу, Прайт, из жалости, уступил и дал бумагам нужное движение. Но делал это лениво: Бобу приходилось непрестанно его подгонять.

По вечерам Боб Кастэр иногда развлекался: наладил себе некое подобие светской жизни. Через корридор соседом его был Мистер Болль (Ники) — черный журналист, французского воспитания. Там, раза два в неделю, собиралось шумное интернациональное общество. Поначалу Боб наведывался туда неохотно (настойчиво зовут, а заснуть все равно не удастся), но постепенно втянулся, находя даже особую прелесть в близости с париями-джентельменами. Всех цветов и наций intellectuals (редко белые-американцы: эти старались говорить по английски с акцентом, чтобы сойти за французов или русских. Англо-саксов здесь, в общем, ненавидели).

Сабину Боб изредка встречал. К нему она больше не приходила. «Болит ли один зуб или два — почти все равно», — уговаривал себя Боб. В девятнадцать лет юноша обнимает стан девушки — это чудесное гнездо, разветвление — и думает: «впереди еще много такого и даже лучшего». Перевалив за тридцать, он вдруг замечает, что лучшего совсем не много. Это случается всего два-три раза в жизни (и в прошлом вспоминается как один час или вечер). Тогда он решает: скупой и серьезный, при первой удаче, возьмет, даст — реализует, наконец, все о чем мечтал. Но обыкновенно партнер, который ему попадается, еще не проделал этого пути (или перевалил — ничего стоющего больше не ожидает).

Особая жизненная понятливость и легкость общения (вопреки раздорам) Сабины и Кастэра объяснялись вероятно однородностью их эмоционального опыта... Добрая воля, рубцы и умная, благородная, щедрая усмешка. Это открылось им мгновенно, после первой фразы, улыбки. И частые взрывы подготовлялись именно этой их требовательной проникновенностью. А те-

перь все рухнуло. Нелепо: душа отказывается верить. Дурной сон, скучный водевиль.

Сабина звонила почти каждый день. Голос слабый, изнемогающий (внутреннее кровотечение). Порой они сходились в маленьком баре; машина играла бессмысленные до неправдоподобия песни; они сидели до полуночи, Боб честно докладывал о своих передрягах. Потом провожал домой: старого друга. Раз, еще в самом начале влюбленности, она сказала: — Неужели мы когда нибудь встретимся и будем беседовать просто как знакомые? — и пропела слова романса: «Как странно, мы только знакомы»... От этой неестественной — и потому вероятной — возможности (так и смерть) они оба ощутили острый, вещий, укол в сердце.

Молча расставались, решая, что благороднее вовсе не видаться: зачем выкапывать дорогих покойников, хоронить их, снова выкапывать. (Кстати: если бы мертвые не разлагались, чем бы люди объясняли стремительность, с которой трупы близких предаются земле?).

Но через несколько дней чувство досады исчезало, великодушно претворяясь в другое; боль казалась радостью, и все чепухой, — по сравненью с даром еще раз взглянуть на ее лицо, потрогать руку, услышать добрый смех. «Это серьезно. Это жизнь. За этим конец, старость, прозябание», — шепчет Боб, но слова не исчерпывают всей темы. «Ничто заурядное, ведомое земле, не могло нас отсечь. Понадобилось чудо. Злое чудо. Чудо с обратным знаком, — повторяет он на многие лады. — Тогда Дьявол вмешался. Такое бывает не часто. Как и любовь. И я не дамся. На мою долю это выпало и я принимаю вызов. Даже если не только Вельзевул станет между нами, но и сам Хозяин жизни. Поркин и Прайт, слышите ли вы меня».

18. Ожидание

Часть пути домой он проделывал пешком; явно чувствовал потребность в свежем воздухе. На углу 53 ули-

цы и Пятого Авеню Боб Кастэр останавливался: у витрины антикварного магазина, между двумя лестницами собвея. Тут, в счастливую полосу, он часто поджидал Сабину: минут пять, десять (иногда больше); случалось, она его уже опережала: бросалась навстречу, тормоша, заливаясь счастливым смехом. Здесь он пережил опыт ожидания. И теперь возвращался по собственным следам, смакуя, осваивая это страшное состояние — ждать, когда нет человека и все таки в любую минуту может показаться: может воплотиться, сразу, целиком, и все таки его нет. Постепенно это бесцельное дежурство после рабочего дня, у витрины, стало привычкой; Боб терял чувство времени и начинал, по настоящему, вслушиваться, всматриваться: вот, вот Сабина каблучками застучит по ступенькам — в сторону Museum of Modern Art. «Опоздала»? — скажет весело и уверенно тряхнет гривкой рассыпающихся волос.

Ему вдруг открылось... Когда встреча назначена в семь, а часы уже подбираются к восьми, то именно этой готовностью, одного, стоять без конца расстраивается свидание: чем больше он ждет, тем решительнее исключает возможность ее прихода.

Внизу подкатывали поезда и пачками выбегали наверх пассажиры. Сперва молодые, здоровые; затем — среднего возраста, обремененные ношей, детьми; последние — старики, калеки... А он все еще ищет, может быть в числе этих уродов Сабина: «Пусть на костылях, пусть горбатая, только бы наконец появилась».

«Вот уже 75 процентов за то что она сейчас придет. А теперь 80,85». И все же ее не было. И эти 85% никак не уплотняли ее на столько же частей: могли превратиться в 100, а затем в ничто. Но когда Сабина бывало окликала его, это была она: не сто процентов, а она... и так же трудно рассеять этот образ, как раньше трудно было из процентов вызвать его.

Порою мнилось: Сабина... нежность и тоска его выхлестывалась сразу на приближающуюся фигуру. Но вот разглядел: другая. И Бобу делалось страшно: обма-

ном его всего кинули — пусть на минуту! — к этой чужой женщине. «Значит можно подменить»...

Полицейский прогуливается взад и вперед у витрины ювелирного магазина, быстрым взглядом ощупывает Боба Кастэра: негр, что то бормочет себе под нос, ждет девочку. Не видя ничего предосудительного, полицейский отходит, однако не переставая за ним издали послеживать.

Янки готовы высадиться в Нормандии, русские великолепным броском покрыли равнину от Волги до Днепра. Освобождают Европу: немцы варят из нее мыло. А Боб Кастэр почему то ищет Сабину на лестнице собвея и морщится от боли... Но если не будет этого, то не зачем спасать мир от Гитлера и обезьян.

Там в застенках пытают: говорят истребили уже двадцать миллионов душ. Рубили, жгли, стреляли, вешали, отравляли газами, насиловали, вываривали жир, сдирали кожу для промышленных целей. А Бобу Кастэру чудится: его душевная боль не легче! Человек приспособлен главным образом к физическим страданиям, в душевном плане он почти дитя: вероятно потому что духовно большинство еще младенцы.

«В мире идет борьба с фашизмом, — недоумевающе шепчет Боб. — Но что такое фашизм? Когда плешивый редактор возвращает поэту стихи, под тем предлогом что он их не понимает, или заставляет сократить их, то это фашизм? Когда певец должен превратиться в чревовещателя, а ученый в рекламного жулика, то это фашизм? Когда мужчина имеет двух любовниц, то это фашизм? Когда жена жмет в театре ногу случайного соседа, это фашизм? Когда супруги целуются не желая того, когда врут, воруют, эксплоатируют, пестуют своих детей, а чужих душат? Когда человеку поручают всю жизнь заботится о пакетах, что он может успешно выполнить только если сам обернется пакетом? Компромиссы, медленное умирание, обесцвечивание и усыхание души и тела, это похуже фашизма. Для того,

чтобы бороться с фашизмом не надо обязательно летать над Берлином или Токио. Я тоже воюю с фашизмом».

19. На углу 53-ьей улицы

И самое дикое что это случилось: Сабина тоже пришла туда — вдруг неудержимо потянуло.

— Боб, Бобик, — вскричала она. — Ты давно уже здесь?

— Не знаю, — опешив ответил. — Я прямо с работы. Который час?

— Около шести.

— С полчаса, что ли.

— Боб, Бобик, — повторяла она, плача и сияя. А потом сказала: — Знаешь, я очень волнуюсь. Ведь уже две недели запоздания.

Он не сразу понял. Потом пробовал успокаивать: столько было ложных тревог! Но вид ее, смятый, предвещающий испытания, заставил его содрогнуться: есть логика в новой беде, — чем шире плечи человека, тем больше на него должно падать груза. (Лучше всего изображать уже поверженного в прах).

Они шли по вечернему, зимнему Нью Йорку. Погода стояла сухая, холодная, на редкость безветренная. Хорошо жить, быть довольным, молодым. Отправляться в горы, за океан, бороться с понятными стихиями!

Их щеки стянуло морозом, лица порозовели (даже у Боба что то сдвинулось в окраске). Точно играючи они бодро шагали, держась за руки, — мимо небоскребов, издали подобных сияющим, рождественским елкам, мимо бездарных особняков, церквей-пародий и, совсем уже не интересных, прохожих. По привычке завернули в знакомую кафетерию. Болезненный, — «почти дневной», — искусственный свет... И такой красивой, нужной, родной ему вдруг показалась Сабина: шубка, теплые сапоги и трогательный меховой капюшон над печальным и ребячливо чистым лбом. Она поняла и, кокетничая, подставила для обозрения свой профиль (в

шутку называла его безукоризненным). Улыбнулась: вполне счастливая, в сущности, только когда ею любовались. А потом:

— Такого опоздания у меня еще не бывало.

Она уже успела посоветоваться с одной докторшей. Делает анализ: через неделю будет ответ. За это время надо все подготовить. Теперь это очень трудно: сто долларов, да и то отказываются.

— Другого исхода ты не видишь? — спросил Боб.

Они сидели за столиком: по привычке взяли фруктовый салат. Ела она быстро и смакуя, а в глазах светились слезы. Ответила:

— Ты ведь сам понимаешь. Это всегда нас пугало. А при данных обстоятельствах, как можно!

В зеркале он увидел свое чужое, неприятное лицо. Через силу произнес:

— Помнишь, я тебе говорил, адвокат того же мнения: если родится белый ребенок...

— А если он родится метисом? И вообще, разве годится для опытов и судопроизводства фабриковать детей.

Он мог бы ей возразить, что всей кровью своею жаждет ребенка, давно, а теперь подавно: хоть какое то утешение и легче уступить, примириться. Но сказал:

— Что касается денег, не беспокойся. Деньги будут.

Тогда Сабина взглянула на него, тоскливо, пронзенная насквозь:

— А другого выхода нет?

— Чего больше? Я сказал, что хочу ребенка. Но без любви... Если ты сомневаешься, разумнее не связываться.

И Боб обещал навести справки по поводу врача: у Поркина или на работе (один сослуживец недавно поведал о своих, подобного же рода, удачно разрешенных, затруднениях). На этом они расстались.

На Пятом Авеню, две молодые женщины, дожидаясь автобуса, оживленно болтали. Донеслось:

— **I tell you, you better get a small chicken.**

У следующего угла кавалер говорил своей спутнице:

— I don't think she'll get a contract.

И почти тут же, у входа в магазин, мать шлепнула непослушную девочку, и та ликующе-удовлетворенно проревела:

— I got it, I got it!

«В обиходе большинства, глагол get играет доминирующую роль. Все существо выражает себя через такое или подобное ему слово. Если извлечь его, потушить в сознании, заморозить, останется пустая область, мякоть, пробел, — нерадостно думал Боб Кастэр, прокладывая себе путь верх по Пятому Авеню. — Словарь среднего обывателя равен 400-500 словам. Но одно слово он употребляет ежеминутно, другое часто, третье редко. В жизни каждого человека имеется слово, которое он произнес только раз. Если найти его, можно разрешить тайну данной жизни: это ключ! Есть еще другое слово: близко подошел и остановился у самого края... Так таки сердцем не произнес: за всю жизнь. Между этими двумя словами ценность человека. Как между рождением и смертью. А все прочее почти не имеет значения. Разве только как подготовительный этап: найти, закрепить это слово. Слово есть Бог. Господи помоги мне», — шептал Кастэр, пробираясь к парку.

Здесь у фонтана, что против Plaza Hotel, Сабина его впервые поцеловала. Они гуляли в Central Park; он целовал ее: не отвечала, не сопротивлялась. Потом, возвращаясь к собвею, присели на краю фонтана. Была летняя ночь, возможно и луна и звезды (в Нью Йорке звезды не запоминаются и растения не пахнут и птицы не поют: в Америке нет соловья). Сабина провела пальцем по его губам, изучая, примериваясь, и медленно склонившись, надолго, мягко и властно, приникла, присосалась. Теперь Боб Кастэр спешит мимо этих каменных плит, прохожие мчатся прочь, не задерживаясь, не замечая. Боб усмехнулся: воистину люди слепы и глухи. Этот камень кричит, стонет, плачет... Так ветеран

из окна вагона узнает поле давнего боя и бессильно вздыхает, догадываясь, что ни один учебник не сможет повторить этого пасмурного дня, — пыльный кустик и вспаханное снарядами враждебно безразличное небо, — когда он полз, припадал и, наконец, оторвавшись, побежал в полный рост, с гневным и клокочущим подобием ура.

В. Яновский

(Продолжение следует)

КОНЬ РЫЖИЙ

Моей жене, спутнице
нелегкого путешествия.

«И вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано взять мир с земли...»
(Откровение Иоанна Богослова, гл. 6-ая).

Часть Первая

I.

Вот он маленький, седенький сидит у окна в руках с биноклем и глядит на площадь своего города. Перед ним собор с синими куполами, обнесенный высокой стеной, острог с полосатой будкой часового и красный трактир Веденяпина с палисадником в пестрых циниях. Дальше, на крутосклоне белостенный монастырь, а там поля, леса, ветер, грустно-темнеющее небо, вся чудесная Россия. Здесь в недрах ее дед вырос, работал, жил, здесь и умрет.

Глядеть на свою керенскую площадь, это всегдашний любимый отдых деда. Всё-то он разглядывает и всё ругает. На вороной кляче в ветхозаветной казанке с Почтовой улицы на площадь выехали помещики, отец и сын Лахтины; они славятся небывалым враньем своих охотничьих рассказов, ничегонеделаньем и богатырской способностью съесть и выпить. Обглоданная кобыла подобием рыси еле движет по площади Лахтиных, одетых в доморощенные поддевки и дворянские картузы. И не отрывая глаз от бинокля, дед с сердитой издёвкой бормочет: «Ах, сукины сыны, вот они, едут российские дворяне, вот уж, поистине, прохиндерцы!»

Под невидимым биноклем своего предводителя ке-

ренские дворяне Лахтины скрываются за острогом. Но дед доругивает их до тех пор, пока какой-нибудь иной предмет на площади не займет его вниманья.

По площади уездного города Керенска бродят индюшки, поросята, гуси, пробежит исправников рыжий сетер. На чалом мерине медленно проедет с плещущейся бочкой соседский водовоз. Очень редко на допотопной «гитаре» протарахтит Емельян, единственный керенский извозчик. Тишина. Солнце. Слышно, как зевает на своем крыльце, дремлющий за газетой, купец Засадилов, как у ветеринара рубят тяпками капусту, как у протопопа бренчит цепью злой волкодав.

Но вот из-за собора вышла керенская щеголиха, купчиха Крикова и вдруг, сведя мохнатые брови, дед добродушно смеется: «Вот, вырядилась, подумаешь, футы-нуты! Ах, ты скнипа ты эдакая!», и долго смеется дед, провожая в бинокль керенскую модницу.

В тишине Керенска дед — самодержавная власть. Больше тридцати лет — бессменный председатель керенской уездной управы, часто и предводитель дворянства, хоть этого и не любит дед. Проезжающий в облаке пыли мимо дедова дома исправник всегда долго и почтительно отдает честь видимому на балконе чесучевому пиджаку деда; все торопящиеся обыватели низко кланяются; а немногочисленные городовые, идя мимо дома, до тех пор держат под козырек, пока кто-нибудь не заметит их и не кивнет им с балкона.

Но в деде Сергее Петровиче ничего властного нет. Правда, он неистовый ругатель, горячка, крикун, но это по дворянской наследственности. Щуплый, кареглазый, лопатобородый, с очень русским лицом, Сергей Петрович мягкий, а дома с детьми нежный человек; тут по самым пустякам он может расстроиться и даже прослезиться. В его повадке, манерах, говоре много старины и я люблю его, особенно когда, приехав из управы, в кремовом пиджачке, дожидаясь обеда, он берет бинокль и садится у окна глядеть на свою площадь.

II.

Солнечная тишина, дед, балкон, керенская площадь, это и есть мое детство. Иногда через площадь куда-то медленно шли «волчки», небритые, с палками, с мешками за спинами. Все тогда бросались к окнам, на балкон, с любопытством и жалостью глядя на беспаспортников, кто-то выносил им еду, деньги. Иногда по площади шел чернобородый, в грязнорозовых портках, в рубахе на одной медной пуговице мужик с волосами по плечи, с острым волчьим взглядом, в мороз и распутицу шлёпавший босиком. Все керенцы звали его «проповедник». Голосом пронзительным, с повелительным жестом, он начинал всегда одну и ту же проповедь: «Мир кончается, кончина приближается, Антихрист нарождается, страшный суд надвигается...» И в его короткопалую ладонь подавали семишники, трешники, пятаки перепуганные встречные бабы. А «проповедник» еще кочевряжится, не от всех принимает подаяние, некоторым приказывает покаяться, а порой начинает и анафематствовать до тех пор, пока тот же дед с балкона не прикажет городовым прогнать «проповедника» с площади прочь.

Иногда появлялся и юродивый Юдка, полуголый, заросший волосом, он бесцельно начинал шляться по площади, выкрикивая нечленораздельные звуки. Все Юдку знали. Из калиток божьему человеку выносили кто одежду, кто поесть. Пробродив так день, Юдка куда-то пропадал и если очень долго не показывался, то дед говаривал: «Что-то Юдку давно не видно, не помер ли?»

Гораздо реже нарушал сонность керенской площади дурачек Ваня Приезжев. Трезвый это был тихий и жалкий человек, но когда кто-нибудь нарочно «для смеху» подпаивал дурака, Ваня впадал в буйство, выбегал на площадь, крича, маша кулаками, и никто не понимал, что дураку надо? Кончалось же это тем, что двое городовых хватали здоровенного Ваню, таща через площадь в узилище, а дурак, вырываясь, оглашал Керенск жи-

вотным воем, что обыватели в отчаяньи высовывались из окон. И наконец дед, не выдержав, быстрыми шагами выходил на балкон, сердито крича: «Да, оставьте вы его, дурака! Куда его тащите!» Городовые отпускали Ваню и вой замирал к всеобщему облегчению.

Тихо жил Керенск. Вокруг города гнулись поля ржи, овса, проса. А когда ветер тянул с реки Чангара, Керенск наполнялся пряным запахом конопли.

III.

Только два путешествия нарушали мирную тишину жизни в дедовом доме: поездка в монастырь и в родовое именье Сапеловку. Об этом начинали говорить задолго, но собраться поехать всё никак не решались: то небо ненадежное, как-бы дождя не было, то очень уж жарит, быть грозе. Но все-таки, раз в лето, наконец собирались.

Покрытая синей подушкой линейка стоит у крыльца. Лоснящийся жеребец похрапывает, переминается. Тети, дядя, я, брат рассаживаемся; дядя предупреждает, чтоб не раскрывали зонтиков, а то жеребец испугается, понесет. И линейка трогается из ворот через площадь, через город на крутосклон к лесу, где белеют монастырские стены.

Страдающая одышкой, бледно-одутловатая мать-игуменья Олимпиада, в прошлом малограмотная крестьянка, а теперь «министр-баба», как называет ее дед, сердечно встречает нас на монастырском дворе и ведет в монастырскую гостиницу. Мы идем чугунными, истертыми плитами корридоров, по переходам с слюдяными оконцами в железно-узористых переплетах. И наконец входим в светлую гостиницу, где пахнет просвирами и яблонным цветом из раскрытых окон.

Низко кланяющиеся, розовые послушницы неслышно скользя уж накрывают в саду длинный стол. Несут краснеющий угольями самовар и начинается чаепитие с знаменитыми монастырскими малиновыми, вишнёвы-

ми, крыжовенными варьеньями, с липовым медом, с свежими просвирами, с анисовыми яблоками, которые мать-садовница Анна колупает ложечкой в чашку. Меж яблонь мелькают склоненные очертанья послушниц-работниц, поют кругом какие-то невидимые птицы и солнце золотом наполняет многодесятинный душистый сад.

Перед отъездом мать-садовница Анна ведет меня и брата в келью столетней схимницы получить благословение. В келье могильная тишина, распятие, киот с образами в серебряных окладах, перед ним молится крохотная восковая старушка. В лампадном сумраке меня пугает стоящий у нее вместо постели открытый гроб. Из сада еле долетает пенье птиц, сухонькая схимница с трудом поднялась с колен и благословляет нас, оробевших, полумертвой сквозной рукой. Идя назад сводчатыми темными коридорами я, стараясь не показать этого матери-садовнице, тороплюсь и в солнечный аромат сада, на ветер, выхожу с облегчением.

Поездка в родовое именье Сапеловку обсуждалась всегда еще дольше, потому что двенадцать верст всем казались страшно далеким расстоянием. Чтоб не мучить своих лошадей, брали ямскую тройку. Ехали через Каменку, где забросивший хозяйство жил друг деда помещик Малинин, всю жизнь писавший неведомый философский труд. Дальше — через пленительную Нагорную Лаку, куда в июльский зной сходились толпы молиться чудотворной иконе. Об иконе существовало преданье, будто в давние времена купец, родом из Лаки, стал тонуть в Дону и уж захлебывался, как заметил доску, ухватился за нее и доплыл с ней до берега. На берегу ж увидал на доске стёртый лик Богоматери и поняв это, как знаменье, вправил его в драгоценную ризу и привез в родное село. Молиться этой иконе в престольный праздник и сходились из соседних сел. Когда по косоосвещенной аллее мы подъезжали к Сапеловке, меня всегда охватывало волненье стариной. Сапеловка — старая усадьба мелкопоместных дворян. Илистый, сроду нечищенный пруд, с которого по-

дойдя всегда спугнешь диких уток; фруктовый сад с сочистой знаменитой родительской вишней; уродливые старухи-яблони, накренившиеся до земли под пестрыми пудами яблок; березовая аллея с стволами, изрезанными порыжелыми инициалами, и на солнечной поляне покосившийся дом с двумя колоннами и тремя подгнившими ступеньками.

Заслышав бубенцы, нас встречает у въезда в усадьбу снявший шапку, однорукий, чернявый Алексей, на конной молотилке по пьяному делу потерявший руку. От него вкусно пахнет хлебом, навозом, кумачем. Босая солдатка с грудями, уродливо перетянутыми передником, несет нам из людской ситника и молока. Мы походим по саду, пособираем яблок, раек, дуль. Дядя Михаил Сергеевич обойдет с Алексеем поля, переговорит обо всем немудреном хозяйстве, и отдохнувшие лошади, с тем же перезвоном бубенцов, везут нас обратно в Керенск.

Вся Сапеловка — в одну улицу, в тридцать дворов. Линейку уже ждут ребятишки, кричат: «Барыня, дай яблочков!» Им летят яблоки, райки, дули; ребятишки давкой подхватывают их, пока в завившейся пыли линейка не исчезнет. Чтоб не захватить темноты, ямщик трогает все резвей. И когда въезжаем на керенскую площадь, я уже вижу на балконе беспокойное очертание деда, вглядывающегося в дорогу, и знаю, что как только мы войдем в дом, бабушка взволнованно проговорит: «И что это вы до темного довели, мы уж думали, что случилось...»

IV.

День, когда я уезжал из Керенска почти навсегда, был теплый, августовский. Как обычно за минуту до отъезда в зале все сели и тут же, как всегда, первым поднялся дед, перекрестился на образа, и началось прощанье с наказами, объятьями, слезами теток, бабушки, деда; после родных прощанье перешло на прислугу.

И наконец, ямская тройка, запряженная в дедушкин тарантас, подъезжает к крыльцу, громыхая по булыжникам большими колесами. Осаживая лошадей, ямщик дребезжит особенным «тпрррру» и, изогнувшись, откидывает потрескавшийся от солнца, старый кожаный фартук.

Последние слова, слезы, и тройка тронулась из ворот.

Ехать из Керенска до железно-дорожной станции Пачелма долго, почтовым трактом пятьдесят семь верст, с двумя перепряжками. Тройка уж звенит среди желтой ржи. Ямщик не то дремлет, не то правит; иногда он вскрикивает на непонятном ямском языке, стегает прыгающие крупы пристяжных; а когда идущие шагом лошади сами остановятся и, напружив задние ноги, вспотевший, носящий боками коренник начинает мочиться, ямщик долго ему подсвистывает; и опять вскрикивает и трогает тройку рысью.

Когда тарантас въезжает в село, под ноги тройке кидаются худые, шерстистые собаки, еще злей скачут лошади, туже пристяжные натягивают вальки и быстрей качаются под шлеями их потные зады с хвостами, подвязанными витушкой. С заваленок у изб медленно поднимаются мужики, низко, в пояс, кланяются тройке; мужики кланяются всякой тройке, потому что тройка это барин, но тут по ездящему этой дорогой сорок лет тарантасу узнают, что едут внучата Сергея Петровича. Выкрикивая непонятное, еле долетающее до уносящегося в пыльных облаках тарантаса, вприпрыжку бегут светлоголовые ребятишки. Но рытвистая сельская гать кончилась, колеса сорвались в пыль полевой дороги, умерли крики, грохот, умерло всё, остался только уносящийся по ржи звон бубенцов, да под дугой, как захлебнулся на всю дорогу, так и качается, бьется колокольчик.

Саженые еще при Екатерине Великой, дуплистые березы обступили по обочинам многоколейный травянистый большой тракт. Из ржи встает, маша крылом,

словно хочет улететь из поля злаков, дальняя ветрянка; везде рожь и солнце, это и есть Россия. Встретится едущий шагом, задремавший обратный ямщик; пройдут конвойные с арестантами; протрясется верховой урядник в стареньком казачьем седле; и опять везде только рожь и солнце.

Тридцатую версту по выбоинам, муча душу, прыгает дедушкин тарантас. А мимо проплывают Козловка с красным под зеленой крышей дворянским гнездом; широкое Шеино с задремавшим на горе среди темного парка, белым ампирным домом с колоннами; татарское Никольское, в нем полусгнившая мечеть; Архангельское с васильковым церковным куполом-луковицей и мелькнувшим куском господского дома Ранцевых. Но наконец из ржи все-таки вырисовывается Черкасское с выстроенным на подобие замка, пестрокрасным домом барона Штенгеля. Здесь тройка вскачь мчит тарантас по зеленым от травы улицам села, потому что лошади знают, что в Черкасском им перепряжка. На широкий двор почтовой станции въезжает взмыленная тройка. Почесываясь, покрёхтывая, перекрикиваясь к нам идут в засаленных фартуках, в разноцветных рубахах ямщики, распрягать позванивающих, пофыркивающих лошадей.

Я люблю эту пушкинскую почтовую станцию с разнокалиберными телегами, бричками, тарантасами, дрожками, линейками, с множеством запрягаемых, отпрягаемых пар, одиночек, троек. На двор выходит сам Фарафон, степенный старик с курчавой бородой, в лоснящейся поддевке нараспашку, богатей, издавно гоняющий земскую ямщину. Я знаю всех его ямщиков, чернобородого Семена, кривого Федьку, старика Клима, но хочется, чтоб запрягли буланых, в легких яблоках, длинногривых степняков Гаврилы. Гаврила кривоногий запьянцовский ямщик с носом луковицей и рыжей бороденкой; никто, как он, не пронесет так вплоть до самой Пачелмы.

Задравшего желтый хвост коренника с опоенными

ногами ямщики подхлестывая вводят в оглобли; пристегивают пристяжных; и в заплатном кафтанишке, туго подтянутом красным слинялым кушаком, Гаврила с колеса прыгает на козлы. Ямщицким невыразимым движеньем он разбирает возжи, концы подсунул под зад и с гиком, в котором различимо только последнее «с Богом!», тройка выносит тарантас на мягкую площадь, мча его за село, в даль екатерининской дороги, где в небесном зное плавают ястреба, а линия телеграфных проводов изуродована воробьями, и в полевой тишине их спугивает только приближающийся звон тройки.

Справа от тарантаса мелькают чахлые дубки, березняк, чащоба осинника, это урочище Побитое, оно так зовется потому, что давным давно на этапном привале перегонявшиеся из Керенска в губернский острог колодники тут убили своих конвоиров.

Гаврила посвистывает. Пристяжные скачут в карьер, только коренник плывет стремительной иноходью. Скоро уж Пачелма. Перетрясая кишки, тарантас впрыгивает на гать и по камням далеко несется грохот колес, смешанный с звоном бубенцов и колокольцов. Из тарантаса мне уже виден открытый семафор и ушедший вдаль железнодорожный путь.

Часть Вторая

I.

Юность прошла в городе Пензе и в своем именьи Инсарского уезда. Кончилась юность смертью отца. Отец умер молодым. Это была первая смерть, которую я увидал.

Я проснулся тогда от шагов матери, шаги были особенно-торопящиеся и уже в их необычном звуке я словно почувствовал случившееся. В поспешно раскрывшихся дверях лицо матери было бледное, полное сдерживаемого страданья.

Я помню текшую по спине холодную дрожь, когда

я одевался; хотелось бежать в спальню к лежавшему в сердечном припадке отцу и в то же время хотелось одеваться как можно дольше и даже не итти туда вовсе, из-за какого-то сложного клубка чувств, в котором был и страх увидеть его умирающим.

Комната внезапно осветилась никогда ранее незамечаемым светом. Все предметы в ней — умывальник, стулья, стакан, зеркало — стали вдруг не вещами, а словно странными, впервые увиденными существами. Ими наполнялся весь дом; в столовой на накрытом скатертью столе — томпаковый самовар, серебряная сухарница, золоченая сахарница на шариках-ножках, какие-то вазы, всё стало безобразно и уродливо.

Из спальни послышался испуганно-сдержанный шепот матери, уговаривающей отца не двигаться. Неся в тазу мокрые белые компрессы, оттуда вышла горничная Саша и вдруг, увидев меня, заплакала, заспешила, побежала по коридору.

Сердце леденело и падало, когда я и брат входили к отцу. В бурдовом халате, с распахнутым воротом рубахи отец полулежал в большом кресле, крупный, лысоватый; правильное лицо было подернуто мертвенной желтизной, лишившей его уже жизни; светлосерые глаза, словно разбитые, отсутствовали из мира; когда-то в детстве, играя на коленях отца, в этих глазах я «смотрел мальчиков».

Прощаясь, он с придыханьем произнес: «благословляю... берегите мать... будьте честны...» Мать умоляюще зашептала, чтоб он не напрягался; отец слабо улыбнулся, сказав: «ничего, Ольгунюшка...» Я не знал, что мне делать? Мне хотелось уйти из спальни и было стыдно этого чувства, потому что я отца любил.

В дверь, торопясь, вошли врачи, потирающий с холода руки, насупленный, седой и быстрый, рыжий, маленький. В столовой суетились горничная и няня, Анна Григорьевна: варили кофе, откупоривали шампанское; на столе валялись какие-то лекарства, разбитые ампулы.

Но в этой общей торопливости я ощущал, что спасенья нет, что отец умирает, что рушится всё и завтрашнего дня уже не будет.

Я встал у окна, глядя на двор. На дворе в овчинном полушубке и серых валеных с узорной каймой, кучер Никанор прометал дорожки от навалившего за ночь снега; мордва-дроворубы в зипунах и заячьих шапках беззвучно пилили длинной пилой; из кухни вышел повар и по его жестам я понял, что он кричит кучеру что-то смешное, вот он нагнулся, захватил снегу и припрыгивая, кидается снежками в Никанора. Я гляжу на двор, но — кучер, повар, мордва, двор, снег, — кажутся мне необычайно несуществующими.

Отцу хуже. Красивые и сейчас какие-то разверстые глаза матери напряжены отчаяньем, она посылает меня в аптеку за кислородными подушками. Я тороплюсь, я рад, что сейчас уеду из дома, где умирает отец, поеду по морозу, буду дышать ветреным воздухом. Но и на улице всё — люди, извозчики, лошади, дома — также сдвинуты с мест и также куда-то отошли. Вот мимо нашего дома идут пешеходы, а мне кажется, что они передвигаются в такой удаленности, что если я им сейчас закричу, то они меня не услышат; пешеходы куда-то идут и уходят от меня...

По усиливающейся тревоге в доме я понимаю, что страшная минута, о которой все боятся говорить, приходит. Вошли старые знакомые с совершенно новыми лицами, кто-то неловко взял из сухарницы печенье. По слезам вышедших друзей-докторов, по тому, как на кухне навзрыд плачет Анна Григорьевна, я чувствую, что приближение этой минуты ускоряется. И вдруг из спальни — полукрик матери и в доме всё страшно остановилось. И тут же всё как-бы обрушилось, завертелось; внезапно все заходили, зашумели, заплакали. Во мне, — камень тяжелиной в семнадцать

лет моей жизни оторвался и стал куда-то бездонно падать.

Торжественную предсмертную тишину, в которой будто жило чье-то присутствие, запрещавшее и громко говорить и шумно двигаться, сменила теперь всеоскорбляющая суета. Только остававшаяся в спальной мать не видала изменившегося дома; лицо ее было и незнакомо и странно непримиримым отчаяньем, а у лежащего отца лицо было, будто он спал.

В доме же теперь все говорили и ходили шумно. Я не понимал, по чьему распоряжению всё происходит? Но начавшаяся суета разросталась всё страшнее и кто-то, казалось, ею управляет. Уложив трубки, шприцы, лекарства уехали доктора. Прислуга понесла на почту телеграммы. Парадные двери раскрылись и, стелясь по ковру, поднимаясь в комнаты, в кабинет отца, к креслам, с мороза повалил круглый холод. В натоптанную снегом переднюю стали вносить живые, дышащие морозом цветы. Пришли сослуживцы отца по судебному ведомству, незнакомые, в шубах; мелькнули быстрые черные монашки Троицкого монастыря, зашептавшиеся с Анной Григорьевной о священнике, диаконе, хоре, и наконец, шлёпая и скрипя калошами, появились здоровенные, запорошенные снегом человеки из бюро похоронных процессий; это: гроб и катафалк.

А назавтра среди нежно зеленых пальм и зеленой мебели, там, где всегда блистал лаковым крылом черный рояль, теперь стоял обитый глазетом гроб. Рваными космами по дому плавал ладан, мешаясь с запахом цветов и морозом. На панихиду с улицы входили любопытные, какие-то мещаночки в косынках, крестясь, перешептывались: «Где жена-то?» — «Да, вон, у гроба». — «Молодая, поди-убивается». И толкаясь, лезли посмотреть на покойника, на гроб, на цветы, на картины, на мебель, на пальмы, на лицо матери. Но вдруг всех раздавил громоподобный бас диакона; сморкаясь, откашливаясь и находу пуская октаву погуще, он шел служить, возглашать. Суета становилась нестерпима. И

только когда в запах морозных цветов и в дым ладана влилось откуда-то слетевшее пенье, показалось, что в дом возвращается та прежняя тишина с страдальческим прислушиваньем к чему-то пролетевшему и задевшему наш дом темно-большим крылом.

Рыдающе-торжественное пенье разливалось сильней, им излечивалось всё и таинственно связывались порванные концы бытия и смерти.

Заколыхавшись, поднятый гроб, в цветах, уже движется в космах ладана, в пеньи...

На улице с непокрытыми головами, с развевающимися волосами за катафалком пошли люди, поехали рысаки, извозчики...

На кладбище ветер гудел в безобразно голых сучьях над смерзшимися зимними могилами...

Последняя сотрясающая «Вечная память», гуд мерзлой земли и метнувшаяся над черной ямой, под руки подхваченная мать...

И все. И мы возвращаемся с кладбища...

А дома на матово-узорчатой, накрахмаленной скатерти уже пришепётывает, горячится, юмористически отражая весь стол, начищенный томпаковый самовар. Рядом изогнулась серебряная сухарница, с разрумянившимися калачами, масленка с желтоватым маслом и веселым мужичком на крышке, вызолоченная сахарница блещет сахаром и хрустальные вазы предлагают вишнёвое и яблочное варенье. Вещи все уже встали на всегдашние свои места, выполняя все свои обязанности, и предлагая начинать жизнь сызнова. Даже массивное кресло с выгнутой спинкой, в котором умер отец, отошло на обычное место и на него теперь может сесть кто угодно.

Парадные двери уже заперты. Комнаты проветрены, подметены, прибраны, паркет янтарно натерт, но именно войдя в такой дом, моя мать лишилась чувств.

II.

Именье отца Конопать раскидывалось по холмам. К усадьбе шла малоезжая дорога, на лесной опушке стоял бревенчатый дом с резными карнизами и коньками и с широченным балконом, с которого виднелось лоскутное одеяло полей, а всем своим тылом дом выходил в шум березового леса.

Летний день в именьи шел, как обычно.

Брат крутится возле ломящих рожь лобогреек, две четверки лошадей с шумом волочат красные, машущие крыльями машины.

По двору в телятник проходит суровая старуха, моя чудесная няня Анна Григорьевна Булдакова; за свою жизнь где она только ни пострaнствовала, ходила апостольским хождением на Соловки, в Оптину пустынь, в Саров, к Троице-Сергию, в Киевскую лавру, обошла все святые русские места и дважды носила свою веру в Иерусалим. Но сейчас она в заботах о телятах, сепараторах, маслобойках.

В саду с садовником и подсадчиком меж яблонь ходит в легком платье мать, осматривает, удались ли весенние прививки; перед балконом цветут ее любимые чайные розы и пестротой цветов рябят клумбы и рабатки.

В кузнице равномерно ударяет молот кузнеца нижегородца Павла. На каурой кобыле, нахрячив воза сена до небес, с тихим скрипом везет его к конюшне старик Антон, бродяга и запойный пьяница. С почты на беговых дрожках въезжает в усадьбу Степка, с оторбучившейся от журналов и газет кожаной сумкой.

А в розоватых сумерках, когда малиновой тарелкой солнце закатывается за наш березовый лес и небо начинает медлительно гаснуть, на потемневший луг, крыть кобылу, конюха выводят на длинных розвязях звонко ржущего, белого, почти голубого, взвивающегося на дыбы жеребца.

Вечером в людской рябая стряпка Степанида тащит

на стол дымящиеся щи. А из нашего дома вырывается «rondo» Моцарта «alla turca», это, зажегши у пианино свечи, играет мать.

Но деревенская ночь падает быстро и скоро жизнь на усадьбе затихает. Усадьба спит, охраняемая лаем десятка собак; а вдалеке, за черным горизонтом, полыхают еле видимые зарницы.

III.

В воскресенье могут приехать гости, соседи: Марья Владимировна Лукина с дочерью или Никита Федорович Сбитнёв. Лукина, по-мужичьи Лукиньша, басистая глухая старуха-помещица с мужским лицом и заметными усами на верхней полной губе. Она родилась, выросла, прожила всю жизнь в соседнем Евлашеве; уже давно хозяйство ползет из рук старухи, родовое гнездо разваливается, но ничего изменить не хочет нравная барыня, живет так, как жили деды и прадеды. Однажды маклаку, приехавшему покупать телок, с крыльца так и отрезала низким басом.

— Телок продаю, да тебе дураку не продам, потому что стоишь передо мной в шапке

— Да что вы, барыня, богородица что-ль, чтоб перед вами без шапки-то стоять? — засмеялся маклак и отругиваясь поехал со двора умирающей дворянской усадьбы.

Никита Федорович Сбитнёв, это — другое. Это евлашевский мужик, глава богатой неделёной семьи. В воскресенье он приходит попить чайку. В черном полупиджачке-полуподдевочке, остриженный по-крестьянски в кружала, с пегой рыже-седой бородой, Никита Федорович, на седьмом десятке занимается уж только пчельником, хоть старик еще кряжист. Он захватит обязательно рамку мёду и за чаем, пия его до седьмого поту, не в накладку, а в прикуску, рассказывает, какой у него в этом году первый гречишный взяток, как работают его «пчелки». Часто он начинает вспоми-

нать старину, об окружных помещиках, о том, что уцелело в памяти еще от рассказов деда. Помню, как одно такое воспоминанье Никита Федорович рассказал с сурово потемневшим лицом: будто его крепостной бабке барин Лукин, дед Марии Владимировны, приказал попробовать выкормить грудями кутят от околевшей любимой лягавой собаки.

— До того, значит, эту свою суку барин любил, — сказал, помрачнев, неловко закашлявшись Никита Федорович. — Да-с, покорно благодарю, чаек-то у вас нечто императорское! Не чай, а бархат! — и Никита Федорович перевертывает чашку вверх дном, кладя на нее оставшийся обкусок сахару. — Лукиньша-то вот еще держится, а многие тут вовсе попропадали от разных своих дворянских фантазиев, — поглаживая иконописной рукой пегую бороду, говорит Никита Федорович, — вот Алёхин, Олферьевы, опять же Новохацкие.

И словоохотливый старик вкусно рассказывает, кто и как из помещиков пропадал, как прожигали, прокучивали поместья, кой-у-кого Никита Федорович и землю купил. Соседнее Смольково помещик Новохацкий промотал на смольковских же девок. В богатом Лопатине отставной ротмистр Олферьев, с привезенной из Парижа француженкой, фейерверками и кутежами до тех пор удивлял весь уезд, пока именье не пошло с торгов, а барина не вывезли на единственном оставшемся ему шарабане. На торгах, глядя на распродажу своего добра, Олферьев лежал на диване и когда торг дошел до бархатной подушки под его головой, ее за рубль купил саранский прасол Постнов и подойдя к Олферьеву проговорил: «Подушка-то нам без надобности, только вот из-под барина-то ее вытащить!» И вытащил ее из-под Олферьева. Теперь от олферьевской усадьбы остались только развалины дома в сорок комнат, заросли жасмина, сирени, да кусок недорубленного еще липового парка.

К вечеру, порасспросив о газетных новостях, о том, что «слыхать в столицах», Никита Федорович уходит

домой, опираясь на вишнёвый подожок. А я седлаю белоногую кобылу и еду вглубь притихших ржаных полей по меже, заросшей повиликой, кашкой, медком. Воздух сух с запахом полыни. В ржаном пространстве перекликаются перепела. Вот она передо мной хлебная, полевая Россия и в ее тишине мне хорошо оттого, что в поскрипывающем седле я д о м а, э т о м о е с ч а с т ь е, м о я с т р а н а, ей я и буду служить. Едучи верхом я пою отрывки стихов Пушкина, Некрасова, Алексея Толстого; дав кобыле шенкеля, пускаю ее в карьер и слушаю, как южжит в ушах ветер и как дробно ударяются по земле подковы.

И здесь же в полях — теперь это очень трудно представить — меня измучивала христианская философия Толстого. Согласно с Толстым я чувствовал, что живу грешно и стыдно, что вся окружающая жизнь с поваром, прислугами, тройками, отдыхающими бездельными родственниками, дурна и во зле. Как русский мальчик, я был душевно бескраен, а напор Толстого был так силен, что помещичья жизнь стала оборачиваться во мне душевным стыдом. На глупого работника, бродягу Антона, на вороватого кучера Андрея я глядел с завистью, только потому, что они «живут трудами своих рук». И я помню ночь, когда я, помещичий мальчик, п л а к а л, не зная, что же мне делать и как мне выйти из этой дурной нетрудовой жизни? Ночью я решал бросить именье, ученье, семью, а перед этим поехать в Ясную Поляну к Толстому, чтобы он указал к а к ж е м н е ж и т ь ? По зеленой юности я думал, что у Толстого это знанье есть.

Трудно мне было вырваться от Толстого, но произошло это как бы помимо воли, когда на закате я лежал в березовом лесу и вдруг исключительно остро ощутил всю непередаваемую прелесть и этого леса, и этого закатного вечера, и подумав о Толстом я в д р у г п о н я л, к у д а м а н и т м е н я э т о т б о г а т ы р с к и й с т а р и к. От любимых полей, лесов, от верховых лошадей, от ярмарок, песен, плясок, от

деревенских прегрешений любви, от музыки, от всей России; мне ощутилось, что Толстой манил меня т о л ь к о к с м е р т и. И тогда, в лесу, я внутренно оттолкнулся от него; слишком сильно я любил эту нашу цветущую землю.

IV.

Когда умер дед, я поехал в Керенск на похороны. Суеверный, он боялся разбитого зеркала, трех огней, тринадцатого обедающего, не позволяя при себе говорить о смерти, а умер кротко и примиренно. Когда дед уже задыхался, его, легонького, перенесли к балкону, с которого он всегда глядел в бинокль на свою площадь. За окнами в голых сучьях лип гудел ветер, несла метель. Возле деда внуки, дети, жена, с которой любовно прожил пятьдесят лет; уездное хозяйство в порядке; круг жизни завершен. Теперь дети и внуки похоронят его в любимом монастыре и с балкона в обтертый бинокль им будет видна его могила на монастырском кладбище.

Только на несколько месяцев пережила деда бабушка Марья Петровна; она умерла в июле, когда из раскрытых балконных дверей тянуло уже левкоями и метиолой. Но даже больная, в постели, бабушка по-привычке все еще отдавала распоряжения по хозяйству. Кухарке пришедшей спросить, отправлять ли в Сапеловку на откорм индюшек, с тяжелым усильем сказала: «Ох, нет, Марфа, оставь, может на мои похороны пригодятся...»; и ночью умерла.

А еще через ночь в Керенскую почтовую контору пришла весть о неожиданной войне. Перед дедовым домом площадь запружена крестьянскими лошадьми всех мастей и отмастков; телеги отпряжены, меж ними гурьбой ходят парни с гармоньями, отчаянно кричат песни. Это всеобщая мобилизация. Над площадью разрастается звериный, неистовый бабий плач. У балкона морщинистая, будто глиняная старуха припала к молчаливому парню, причитает «Ой, Петенька, на кого ж ты

меня оставляешь!» А неподалеку, всхлёстывая руками перед ополченцем с запрокинувшимся набекрень картузом, голосит остающаяся солдатка, он же ошарашенный водкой, не слушая ее, растягивает гармонью, играет. Трактиры облиты мужиками, толпы их то вваливаются, то вываливаются оттуда. Лысый, с выжелтевшей бородищей какой-то старик то матерится, то вскрикивает: «Сынок, сынок, ах, ты, Господи...» У парней тилиликают с звоночками ливенки. Жалобные вскрики солдаток, плач детей, вой гармоний, всё стоит душу ломящим гомоном. Даже чуждые горю какие-то старенькие мещаночки всхлипывают у окон, украшенных бальзаминами; в Керенске никто не хочет и не понимает войны.

Но вот вся площадь закопошилась и плач смертельно удесятерился. Это отругивающиеся от баб мужики стали запрягать лошадей, чтоб вести призывных на чугунку, на Пачелму. И когда длиннопестрым шествием — сарафаны, рубахи, черные пиджаки призывных — тронулись со скрипом подводы, тут уж понесся всё покрывающий, щемящий бабий визг. И долго еще издали долетал он до опустевшей площади; и только в сумерках Керенск затих, как наплакавшийся ребенок.

V.

У нас в Конопати за год войны сельская тишина стала еще тише, но и тревожней. Белоглазый немец Франц Зонтаг в Косом Враге конными граблями сгребает сено, убирает конюшни, по вечерам с бабами доит коров. Озорная скотница Марья в людской заигрывает с этим вестфальцем-металлистом, но он отмалчивается и, поужинав, садится каждый вечер учить русский язык, все что-то занося в записную книжку, а по субботам пишет письма матери, описывая русскую деревню, нашу усадьбу, работу, еду; один раз в конце письма приписал: «пишу тебе, а в русском господском доме играют немецкую музыку». Верно. Это был Моцарт.

За этот год из Конопати, Евлашева, Смолькова ушло много рекрутов, ратников, ополченцев. Письма приходят из-под Риги, с Карпат, из Польши, с Черного и Балтийского морей, с границ Турции. Но хоть и далеко ушли русские мужики, а к своей земле как приросли; в письмах все беспокоятся о хозяйствах, о пахоте, о лошадях, об оставшихся солдатках, о том, как они справляются? Их письма волнуют села, а ответные бабьи волнуют русские окопы.

Пришли тяжелые известья: старшему Сбитнёву оторвало ногу, он лежит в Царском Селе в лазарете, а в евлашевской ночной избе потихоньку плачет его баба. Конопатский Крушинин убит далеко от Конопати, под Танненбергом, на селе даже не знают, где это? Весельчак, балагур мирской пастух Кротков попал в плен к австрийцам, смольковский Воробьев уплыл с войсками во Францию, а поповская старая стряпка Дарья получила от сына из окопов Галиции письмо, кончавшееся «ны...ды...ты...», и сразу догадавшись, что это «наше дело труба», с какой-то даже странной радостью долго всем об этом рассказывала.

Роман Гуль

(Продолжение следует)

ПЕРВЫЙ БОЙ

(Отрывок из книги)

Это было в начале войны. В то время привычка к наблюдению над самим собой еще не уступила во мне места чувству ужаса, испытанного мною потом, когда я стал свидетелем страшных последствий начавшихся тогда событий.

Мой полк стоял на бельгийской границе. Десятого мая над нашими позициями показались первые немецкие самолеты. Все эти месяцы я с волнением ждал этого мгновения, и меня удивило как просто это произошло. Они летели над нами медленно и низко с тяжелым, все время будто бы прерывающимся, гулом моторов. Нам были отчетливо видны черные кресты на корпусах машин, и мне казалось, что люди сидевшие в кабинках, смотрели на нас с холодным и равнодушным вниманием.

Так же как все, неловко улыбаясь над самим собой, я прятался за стволами деревьев. Но мне было не страшно, а радостно-жутко. Я чувствовал с облегчением: кончается моя прежняя, безвыходно-тяжелая, неудачная жизнь. Как на берегу океана, мы стояли теперь перед открывшимся нам огромным простором неизвестности и риска, где были уже не в счет деньги, положение, связи, все, дававшее в мирное время чувство обеспеченности и прочности жизни... И как я мучился, что у меня не было всего этого... А теперь мы все стали равны: нас больше ничто не охраняло от случайностей судьбы, и мне казалось, что именно для этого движения в неизвестность мы рождены, а прошлое — раньше так меня пугавшая моя неспособность жить, зарабатывать деньги, иметь любимую женщину — было только обманом, остановкой.

Немецкие авионы склонились за гору и сейчас же оттуда раздались страшные сокрушительные удары падающих бомб. Эти звуки напомнили мне взрывы, слышанные в детстве, во время гражданской войны, и торжественную радость, с какой тогда я их слушал. И я подумал, так будет всегда: бомбы будут падать не там, где я стою, а в «другое» место. И то, что моя жизнь все длилась, как будто бы подтверждало эту мысль, хотя я понимал ее обманчивость.

Первыми ушли в Бельгию драгуны, стоявшие в соседней деревне. Это были все молодые солдаты призывного возраста. Сержанты у них в полку одевались лучше многих наших офицеров. Они уходили с песнями. А уже к вечеру из Бельгии прибежали обратно в деревню лошади без всадников.

Уже в темноте мы взорвали мосты, а на рассвете нас сменил другой полк и наш батальон выступил в Бельгию.

Мы шли целый день под обстрелом немецких самолетов. Но мне все время было весело. Когда раньше я думал о войне, я все беспокоился, вдруг я окажусь трусом... Но теперь было не страшно, а радостно, и я испытывал необыкновенный подъем всех сил жизни, расширявших мою грудь и разливавшихся по всем членам: раздражающая и возбуждающая к действию бодрость.

Было только одно неприятное воспоминание. Когда мы переходили бельгийскую границу, шедший передо мною незнакомый солдат обернулся ко мне и неожиданно сказал: «tu ne crois pas que nous sommes trahis?». Но я старался об этом не думать.

Вечером мы заняли позиции на берегу Мёзы. Ждали, что на рассвете немцы сделают попытку переправиться. Я так устал, что несмотря на волнение ожидания перед первым боем, крепко заснул.

Было еще совсем темно, когда меня разбудили. Пришла моя и Раймонда очередь быть дозорными.

Я лежал недалеко от Раймонда и смотрел на неясно

белевшую внизу дорогу и мостик через овраг. Я знал, что дорога шла по карнизу круто обрывающегося берега и что там внизу, в теснине Мёза несет свои быстрые воды. Но нам не было ее видно и это меня удивляло, ведь мы должны были стеречь переправу. На противоположном берегу вздымались темные громады гор. Я всматривался в темноту, стараясь представить себе, как там, за этими горами, идут долиною немецкие войска, с танками и пушками, и думал, куда же мы будем стрелять, если ничего не видно. Я знал, что нельзя спать на часах, но меня клонила непобедимая, сладостная дремота. Глаза мои закрывались. «Ничего, Раймонд не пропустит», подумал я, погружаясь в какое то чудное пространство, сливающееся с этой ночью; там, под ее покровом, шли немецкие войска, а внутри этого пространства, вокруг моей головы, начинали двигаться и развиваться события прекрасных сновидений. Я вздрагивал и просыпался. Была еще ночь, но побледневшее небо над темными холмами на том берегу Мёзы будто бы раздвинулось еле угадываемым свечением и вокруг меня в еще неясном и сером предрассветном тумане возникали из глубины отступающего мрака черные кусты, камни, плечи и поднятая голова в каске лежащего недалеко от меня Раймонда, смотревшего на ту сторону. Мои глаза опять закрывались, мне необходимо нужно было досмотреть сон, и вдруг я услышал слова Раймонда: «они переправляются, ты не слышишь, как они поют». Я открыл глаза. Навстречу нам с того берега неслись, чертя в небе высокие дуги, золотисто-огненные пунктирные линии трассирующих пуль. Они взвивались и летели стремительно и прекрасно, с какой то веселой и злой быстротой и фейерверочным праздничным торжеством. С вершин огромных елей, у подножия которых мы лежали, на нас посыпались срезаемые пулями ветки. Я неясно слышал далекий гул непонятного иностранного говора многих голосов. Или это только чудилось, и может быть Раймонд ошибся? Но сейчас-же по всей нашей линии, как сорвавшись с цепи, захлебываясь бешенным

железным лязгом, застучали пулеметы и мне показалось, что вдруг сразу стало светло.

Мы отползли наверх, в гору, к расположению нашего взвода. Над нашими головами пролетали в страшной вышине снаряды тяжелых орудий бельгийского форта и с могучим удаляющимся гулом уносились за вершины гор на том берегу. Все вокруг меня стреляли. Наш пулеметчик возился трясущимися руками с затвором заевшего ружья-пулемета, наконец справился и с каской, свалившейся на затылок, с выражением отчаянной решимости в раздражённых, вытаращенных от страха глазах, припал к прикладу запрыгавшего от стрельбы ружья-пулемета. Но как я ни всматривался, я не мог различить в сплошном темно-зеленом низкорослом хвойном лесе, покрывавшем склоны гор на том берегу, места, откуда вылетали эти золотые снопы трассирующих пуль. А немцев, переправлявшихся через реку мы не могли видеть с нашего места, и я не стрелял, хотя думал, что товарищам это может показаться странным.

И вдруг мы услышали немецкий говор, не внизу на Мёзе, а рядом с нами, на соседнем холме, где только что перед этим было слышно как стрелял пулемет первого взвода нашей роты.

— О, как они орут. Ты слышишь, они поют — сказал рядом со мной товарищ. В доносившемся до нас гуле голосов я различал звуки отдельных слов, но не мог разобрать их значения, впрочем я тогда еще и не знал по немецки. Мне представлялось, что молодые немецкие солдаты стоят там на холме и кто то, вероятно офицер, уже пожилой, невысокий, выкрикивая концы предложений, говорит им речь сердитым злорадным голосом школьного учителя.

— Ну, теперь мы попадем под перекрестный огонь — сказал капрал, надевая ранец, и полез в гору. Мы пошли за ним. Я чувствовал недоумение, так все это было странно, не похоже на мои ожидания.

Мы шли по дну лесного оврага. Ноги мягко ступали по шуршащим прошлогодним листьям и перегнившему,

заплесневевшему беловато-зеленым мхом, валежнику. Над нами в вершинах деревьев свистели пули, но здесь внизу было тихо, сумрачно, пахло сыростью. Между стволами редеющего местами леса сквозил солнечный свет и я следил, как спины идущих передо мной товарищей вступали в эти полосы света. По становящемуся светлым сукну их шинелей проходили, будто бы двигавшиеся нам навстречу, тени веток и листьев. Потом спины солдат опять переходили в сумрак и цвет их шинелей гаснул, становился почти черным. Нас все больше окружала тишина леса, радость и покой жизни деревьев, слушающих в дремоте, как в них вливаются солнечный свет и соки земли, и ничего не знающих о том, что мы отступаем и что пули, свистящие в их вершинах, несут нам смерть.

Потом лес кончился и мы вышли на проезжую дорогу. Около отпряженной белой ломовой лошади стоял солдат в синих штанах, заправленных в голенища резиновых сапог. Он смотрел на нас с беспокойством и недоумением, видимо не зная, на что решиться,но ничего не спросил.

Встряхиваясь на ухабах, навстречу нам промчался автомобиль Красного Креста. На подножке около шофера стоял военный врач. Ветер трепал полы его белого халата. Он смотрел вперед с холодным и смелым, слегка наглым выражением, как бы говорившим: мое дело вывезти раненых, и мне нет никакого дела, что там, куда мы едем, стреляют немцы.

Мы остановились около какой то длинной изгороди, заросшей пыльной крапивой. Здесь толпились солдаты разных рот нашего батальона. Потом из леса вышли еще солдаты. Они шли кучей, молча. У них был измученный вид, как у людей сделавших длинный переход. Шедший впереди широкоплечий сержант, качая головой, сказал: «C'est tout ce qui reste de la compagnie. Ah, du beau travail!»

Двое вели под руки знакомого мне солдата. У него было бледное испуганное лицо. Он шел, тяжело опира-

ясь на их плечи, осторожно, с сознанием важности и значительности с ним происходившего, передвигая ноги. Он прислушивался во внутрь самого себя. Я смотрел на него с любопытством. На спине у него в шинели была круглая дырка, из которой слабо сочилась кровь.

Говорили об убитых и раненых. Среди них был сержант Лоранс и еще один знакомый солдат, похожий на метиса. Все это меня успокоило. Именно так, по моим представлениям, должно было быть на войне.

Я чувствовал необыкновенное радостное возбуждение, раздраженную бодрость и легкость во всем теле. Мне было весело от сознания, что я побывал в настоящем бою.

Я увидел знакомого капрала Тонги. Левая его рука была забинтована. Это был человек с постоянной оскорбленной иронической улыбкой на лице. Когда вызывали добровольцев в «corps franc», и я и Раймонд записались, он весь вечер, рыгая и обдавая нас перегаром вина, бледнея от ненависти, доказывал, что никогда этого не было, чтобы иностранцев принимали в «corps franc», пока наконец Раймонд, оскорбленный за меня, не велел ему замолчать. И он замолчал, хотя пробормотал что то о своих капральских нашивках. Раймонд тогда сказал ему: «de la belle merde tes galons!» Но теперь у него было помолодевшее лицо и оживленно блестевшие глаза. «Ты ранен и остался в строю» — спросил я его дружески, с завистью и восхищением смотря на его забинтованную руку. «Пустяки, царапина», — ответил он мне таким же дружеским тоном, не в силах удержать довольную улыбку.

Я заметил как наш лейтенант, со странным, напоминавшим мне древний Рим, именем Колизе, держа в руках ружье-пулемет, говорил нашему взводному: «сержант Прат, вы поведете взвод...»

Я с удивлением и радостью понял, что он остается один прикрывать отступление батальона. Это было так замечательно, так соответствовало моим сложившимся еще в детстве представлениям о геройстве. Картины вой-

ны в стихах Лермонтова и Пушкина, в «Войне и Мире», рассказы о русских солдатах, грудью закрывавших своих офицеров, несбывшиеся мечты моих школьных лет о подвигах, теперь, когда мне было уже 33 года, после долгих лет жизни одиночества и страха, опять, как запоздалая любовь, воскресали и двигались в моей душе.

Я подошёл к Раймонду и предложил ему остаться с Колизе, даже не спросив себя, какое право я имею ему это предложить, — ведь я думал, мы останемся на верную смерть.

Лейтенант долго не соглашался на нашу просьбу. Но мы ему доказывали, что мы будем ему нужны. Наконец он согласился и я видел, ему было приятно, что мы остались.

Маленький, всегда веселый и доброжелательный Прат, пожимая нам на прощание руки, просто сказал: «я бы тоже хотел с вами остаться, но не могу бросить взвод». Другие же смотрели на нас молча, с любопытством, не то с одобрением, не то с насмешкой.

Они ушли и мы остались втроем. Мне было грустно, что вот уже конец. Так скоро он наступил и больше никогда не сбудутся мои мечты: подвиги, приезд в отпуск в Париж, пощеголять перед знакомыми и на улице своим видом боевого солдата, встреча с какой то женщиной, которая будет меня любить. Я думал об ушедших товарищах: им нужно было остаться в живых, их ждали дома жена, дети, любовница, невеста. Как я плакал каждый раз, когда в кинематографе показывали расставание, последние объятия кино-звезды с любимым, уходившим на войну. А когда я сам уезжал, я не плакал; у меня не было женщины, которая меня любила бы. И с мрачным, но приятным, горестным упоением я думал: они останутся жить, а я погибну, и это справедливо, так как я никого не любил.

Почему я не был таким как все? Почему никогда не оправдывалось это ожидание любви? Я помнил, как я даже стал думать, прочтя об этом в одной книге, что романтическая любовь всегда ведет к разочарованию,

так как это безумная попытка перенести на смертную женщину мистическую любовь к Богу. Я даже перестал читать романы, мне было скучно. Но когда началась война, опять как в 17 лет, я ждал любви. Поступив в армию, я думал, теперь я стал как все ...

И мне было грустно, что я умру здесь один. Никто не узнает, не увидит. Мне казалось, что если бы мои друзья были здесь, мне было бы легче. Они были хоро-шими «русскими мальчиками», некоторые уже с седыми висками, и не побоялись бы пойти на смерть. Встреча-ясь с ними и участвуя в их разговорах о высоких идеа-лах, Боге, справедливости, я чувствовал, что я ввожу их в заблуждение, они может быть думали, что я такой же чистый и жертвенный человек, как они сами, и теперь мне было бы приятно, если бы они знали, что несмотря на мою малодушную и порочную жизнь я был способен умереть за правду. И мне было бы приятно, если бы это видели и все другие мои знакомые, все эти дамы, не влюблявшиеся в меня, и мужчины, считавшие меня нич-тожным человеком, так как я был неудачником: и робок и беден. А здесь меня никто не знал, я умру в неизвест-ности, напрасно. Правда, Раймонд и Колизе относились ко мне с трогательной дружеской заботливостью. Я чув-ствовал как в их душе двигались такие же, как мои, ге-роические бредни, но только вычитанные не из русских, а из французских книг для детей школьного возраста. И это что то общее в полученном нами воспитании сближало нас несмотря на все различия. И всетаки я был для них иностранцем, только своей несовсем понятной «поверхностью» человека входившим в привычный им мир, и они не знали меня «настоящего»: что я написал несколько статей, думал об истине и спасении челове-чества, был своим в интеллигентском кругу русской эми-грации, где был знаком с писателями, философами, быв-шими министрами.

Эти мысли проходили во мне неясно и я следил за ними с тяжелым и грустным чувством, с горестной усла-дой отрешенного ожидания смерти, но в то же время ни

на минуту не переставая думать о впечатлении, какое я должен был производить на Колизе и Раймонда, и мне доставляло удовольствие, что я говорю и действую, как мне казалось, просто и не волнуясь.

Мы установили ружье-пулемет на горе над дорогой. Внизу была видна дорога, по которой мы пришли; мы направили пулемет туда, где она сворачивала за мыс леса, и напряженно всматривались в ту сторону, ожидая появления немцев, чужих, незнакомых мне людей. Я должен буду стрелять в этих людей, до которых мне не было никакого дела, а потом они без сожаления меня убьют. Мне было страшно и скучно об этом думать. Разве этого: вражды, убийства, хотела моя душа? И все мое существо сопротивлялось этому с такой силой и тоской, что вопреки очевидности я чувствовал в глубине себя: «нет, не может этого быть...» и в то же время понимал, что это неотвратимо будет, уже началось и никуда нельзя спастись.

Над нами медленно и низко пролетел немецкий самолет и мне показалось, что человек, сидевший в нем и смотревший вниз, увидел нас и сказал: «ага, вот где вы притаились...» и усмехнувшись полетел дальше.

Когда замер вдали гул его мотора, меня вдруг поразило, какая вокруг была тишина. Над нами в синей выси майского неба плыли белые облака и все было пустынно. Не узнавая местности, я смотрел на уходившие к горизонту гряды каких-то лиловых, кремнистых голых скал, которых раньше я не видел, и мне казалось, что мы вовсе не в Бельгии, а в какой то древней, необитаемой стране, может быть даже не на земле вовсе, а на какой то другой планете, где нет жизни. Как будто бы очнувшись от задумчивости, я с удивлением глядел вокруг себя и мне чудилось, что за этим незнакомым, странным ландшафтом, проступала в молчании, окружая меня со всех сторон, вся бесконечно простирающаяся бездна вселенной, существовавшая за мириады лет до меня, бывшая всегда, непостижимая, равнодушная, ничего не знавшая. Там не было человеческого сознания и движе-

ния времени, не было существования. Мне было странно и страшно, что в этой действительности, в которой я проснулся, не существующей, не имеющей никакого отношения к глубине и покою жизни внутри меня, меня убьют.

Тогда меня охватило мучительное, непоправимое сожаление о жизни, теперь, когда было поздно, казавшейся мне такой заманчивой. Как могла бы она быть прекрасна: любовь, успехи на жизненном поприще, творческий труд, здоровье, счастье жить, дышать, чувствовать, видеть. Как же я пропустил все это и вместо радости наслаждения чудом каждого мгновения жизни, были долгие годы отчаянья, малодушия, унижений бедности и неудач, пытки беспокойством и страхом. Никогда не сбывающееся ожидание любви, ни одной минуты покоя и счастья. А ведь у других людей в мои годы было позади уже так много опытов жизни, успехов, горя, а у меня ничего. Я удивлялся: что же я делал все это время, я ничего не знал, ничего не совершил, никого не любил, мне было мучительно даже самое простое усилие, самая обыкновенная каждодневная деятельность... А ведь это были лучшие годы жизни. Странно, эта неспособность жить началась, когда в 18 лет, среди отчаянья и головокружения пустоты, мне стали являться предчувствия приближения невыносимого восторга, когда мне казалось ещё мгновение и я всё пойму. И несмотря на страх и сожаление о напрасно потерянных, все быстрее проходящих днях и без того такой короткой жизни, эта надежда оставалась всегда. А теперь уже поздно, больше не было надежды, и я умру ничего не узнав, и как мог я обмануться этой странной, возникшей во мне с начала войны мыслью, что меня не могут убить или что мне смерть не страшна, как другим людям.

Я смотрел вперед на дорогу и вдруг мне почудилось, что в пустой дом, стоявший немного ниже на косогоре налево от нас, вошел какой то человек. Я увидел это только самым краем глаза, может быть мне это только померещилось, но я сказал об этом Колизе. «Не может

быть — ответил он недоверчиво — но всетаки пойдите посмотрите». Я спустился вниз и, стараясь не производить шума, обошел дом. Я не думал, что это может быть немец, и всетаки мое сердце билось, а вдруг правда немец, и сжимая в руках тяжелую винтовку, я спрашивал себя, решусь ли я или нет стрелять в него первым.

Обогнув угол дома, я почти столкнулся с человеком. Это был вовсе не немец, а наш солдат бретонец. Я строго спросил его, что он здесь делает. Он стоял покачиваясь, смотря на меня мутным, бессмысленным взглядом и указывая на дверь дома прохрипел пересохшей глоткой: «il-y-a de la bière». Я взбесился и сказал ему, что весь батальон уже ушел, что сюда идут немцы и он должен уходить. Он смотрел на меня, недоверчиво улыбаясь. Сначала он верно подумал, что я тоже остался, что бы найти чего нибудь выпить. Но мой решительный тон на него подействовал, и он, вздохнув и с сожалением оглянувшись на дверь дома, стал сходить по крутой тропинке на дорогу. Я смотрел ему вслед с неясным чувством досады: он шел пошатываясь, и из под его тяжело и неуверенно ступавших ног осыпалась земля и шурша скатывалась вниз.

Время шло, а немцев все не было. Колизе казалось, что они уже показались на дороге: «Смотрите вот там, там около дома», и он стрелял туда из ружья-пулемета. Мне тоже мерещилось, что из за леса что то высовывалось на дорогу и опять пряталось, и что вдоль стены стоявшего там при дороге дома перебежало несколько темных фигур. Но я не был уверен и не стрелял. Потом я с неудовольствием увидел, как позади нас на скалах занимает позиции вернувшаяся рота маленького «адъютанта». Мне было неприятно смотреть, как он спокойно расставлял своих людей и отдавал распоряжения. С его приходом опасность не уменьшилась, но уже больше не было торжественно-приятного сознания, что мы только втроем, чтобы прикрыть отступление батальона, остались на верную смерть. И мне казалось, что на лице маленького «адъютанта» было такое же выражение, как

у людей, которых не пригласили на собрание, хотя они имели право на приглашение, и которые всётаки пришли, и несмотря на враждебность хозяев собрания, с сознанием своего права занимают места.

Не знаю, сколько времени мы так лежали и ждали немцев. Все кончилось самым простым образом. Пришёл связной и передал нам приказание от капитана присоединиться к батальону. Эта возможность мне совсем не приходила в голову, когда я старался представить себе, как все это кончится.

Мы опять шли вдоль изгороди, заросшей пыльной крапивой. Потом была какая то глупая местность, поляна, на ней кучи деревьев. Здесь, за последней рощей дорога выходила на совершенно открытое, полого подымавшееся к горизонту, зеленое поле. На нем ничего не было, ни кустов, ни деревьев, ни домов, только широкой белой лентой тянулась дорога. Нам не было видно, что было за другим склоном холма. Там подымалось как стена огромное синее небо. Наши солдаты, растянувшись гуськом, шли по этому холмистому полю, над которым медленно и низко летали немецкие самолёты. Около последних деревьев стоял капитан, пропуская мимо себя солдат, выходивших на эту открытую местность.

Я боялся нашего капитана и мне было обидно, что он никогда не обращал на меня внимания. Он не мог знать, как с моими ещё детскими представлениями о солдатском обожании начальников, я готов был его любить и по первому его приказанию итти на смерть. Я смотрел на него с любопытством, как бы желая теперь, когда батальон отступал, увидеть в его сердитых чертах выражение растерянности и страха. Но его лицо, бывшее теперь бледным, выражало не страх, а гнев. Колизе подошел к нему с рапортом, но он, видимо заметив что я засматриваю ему в лицо, недовольно нахмурившись, с досадой сказал мне и Раймонду: «passez, passez». Я видел как Колизе стал ему говорить о нас, вероятно что мы с ним оставались, и тогда капитан кивнул головой.

И вот мы вступили в это открытое, ничем незащищённое пространство. Я вошел в него, не подозревая еще ничего. Все время над нами гудели в небе немецкие самолеты. Они показывались из за леса сзади нас и низко, с могучим гулом моторов, летели над этим холмом, стреляя из пулеметов и сбрасывая бомбы.

Мы шли гуськом по обочине дороги, ложились, вставали, опять шли...

Солнце стояло уже высоко и пекло со страшной силой. Я старался только не отстать от Раймонда и Колизе, и меня раздражало, когда между нами оказывался какой нибудь другой солдат. И так же со злобой, я думал: только не дай Бог, чтобы Раймонда ранило, что я тогда буду с ним делать. Когда мы вставали, я с беспокойством смотрел, встал ли он тоже.

Весь мир, вся жизнь сошлись к этому пустому полю, которое нужно было перейти. Не знаю, сколько времени это продолжалось. Были-ли это все новые самолёты или все те же описывали круги над холмом, по которому мы шли, но все время над нами наростал могучий гул моторов, слышалось какое то слабое, понукивающее таканье пулеметов, и потом зловещий, несущийся сверху вниз, наростающий вой — и весь холм содрогался от страшных, с нечеловеческой силой бивших в землю, ударов. И это не прекращалось, повторялось все снова и снова и я чувствовал, как во мне шевельнулся и начал рости страх. Я лежал в придорожной рытвине, уткнувшись лицом в землю. Ложась, я сбил движением плеч ранец на шею. Мне сказали, что это может защитить затылок от осколков, камней и даже пуль. Опять и опять нёсся сверху пронзительный зловещий вой, и я видел краем глаза, как впереди, как молния, блестел огонь и взлетали черные столбы земли. Я не знал, сколько времени это продолжалось, может быть 10 минут, может быть часы. Но мне казалось, что это началось уже очень давно, мне было уже трудно вспомнить, что же было до этого, и это не кончалось, и казалось ни-

когда не кончится. Правда, перед тем, как страх занял все место, я успел еще подумать: как хорошо, что в эти минуты опасности я не чувствую больше сожаления о моей неудачной жизни. Мне казалось, что теперь я остался один на один с равнодушно-сиявшим над нами, беспощадным, грозящим гибелью небом, и меня занимала только какая то борьба, начавшаяся между мною и этим небом, а как я жил раньше среди людей и что они обо мне думали — больше не имело значения. Я даже вспомнил это место у Паскаля: когда мы здоровы, мы со страхом думаем о болезни, сожалея, что тогда мы должны будем отказаться от наших страстей, желаний и развлечений, но когда мы действительно больны, намъ уже не нужно всё это... Что то в этом роде. И я подумал, как это верно и как хорошо, что это так устроено. Это была последняя пришедшая мне членораздельная мысль.

Все мое тело было покрыто липким потом и я чувствовал как неудержимый, отвратительный до тошноты, животный, панический страх охватывает все мое существо. Я читал, что страх — это реакция инстинкта жизни против опасностей, угрожающих ей уничтожением. Я думаю, это верно и мой страх происходил от сознания, что эти падающие сверху бомбы, — именно бомбы, пулеметы попукивали так слабо, что я совсем их не боялся, — могут меня убить. Но эта мысль о смерти была только как бы толчком, освободившим во мне тёмный, невыразимый словами ужас, подымавшийся из самых недр моего существа. И я боялся теперь не смерти, даже больше не думая о ней, хотя смутно помнил, что именно страх уничтожения вызвал во мне этот ужас, а самого этого невыносимого, томительного, несвязанного ни с какими мыслями состояния ужаса. Я чувствовал, что если я поддамся ему, дам ему овладеть собою, если оно еще усилится и продлится, со мною произойдет что-то страшное. Я не знал, что именно, но знал что не смогу этого вынести. И вместе с тем я с непонятным наслаждением хотел отдаться этому чему то темному

и безобразному, что надвигалось на меня. И это меня так испугало, что я сделал усилие и вдруг подумал: как мог я бояться, как мог быть этот унизительный, покрывавший мое тело пот, ведь я же верил в «жизнь вечную». Я вспомнил все наши сборища, споры о Боге, о вечной жизни. Что-же, значит все это ничего не стоило, все было только пустыми разговорами, если теперь я боялся — подумал я с чувством возмущенной гордости.

Мне иногда казалось, что жизнь вечная будет вовсе не в будущем, а уже существует, всегда присутствует как какое то, непостижимое нашему разуму, четвертое или пятое измерение, и что в этом глубинном, все объемлющем измерении я останусь всегда, даже после смерти. И теперь, смотря на черные взметавшиеся фонтаны земли на краю холма, я подумал, что мое постоянное противоразумное ощущение, что меня не могут убить, заключалось вовсе не в мысли, что в меня не может попасть пуля или осколок бомбы, а в том, что это вовсе не будет значить, что я перестану быть, так как я всегда останусь в этой соприсутствующей всей действительности вечной жизни, и что поэтому мне собственно все равно, убьют меня или нет, так как это не имеет отношения к моему настоящему неуничтожимому существованию. Наоборот, если меня убьют, мне может быть даже будет лучше. Не будет больше всего этого: как мы шли, ложились, опять шли. Не будет падающих бомб, неясности, страха, палящего солнца. На мгновение с чувством ужаса и восторга я увидел, как за этим небом, за этим протяженным, простертым в пустоте миром, проступает что то «другое», и замирая от безумной радости, я сказал себе: вот она жизнь вечная. Это небо останется и эта земля, мой труп будет лежать на холме, а я перехожу в это неизвестное измерение жизни и это все. Никакой смерти нет. Теперь я спокойно следил как где то далеко, во «внешнем» мире, как на экране кинематографа, бомбы выпадали из брюха самолета, и как они падали сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее, со страшным наростающим зловещим воем и

мне показалось смешным что «они» думают, что могут меня этим уничтожить...

***

Мы вставали и шли и опять ложились. Я не знаю, сколько времени это продолжалось. Мне казалось, что мы шли через этот холм целый день. Над нами все так же гудели моторы, по траве, настигая нас, скользили огромные тени крыльев, такали пулеметы, несся вой и свист, и бомбы со страшной силой били в землю. Но я больше не думал о страхе. Я с любопытством замечал, что когда мы вставали и шли дальше, как будто бы не все подымались, некоторые оставались лежать. Но по какой то странной рассеянности мне тогда не приходило в голову, что это значит.

Владимир Варшавский

СТИХИ О ПЕТЕРБУРГЕ

ЛЕТНИЙ САД

Младшим — стройное наследство,
Лебедь, кличущий назад, —
Ты мной дивно правишь с детства,
Венценосный Летний Сад.

Дрогнет мраморное вече.
Жолудь цокает в висок.
Место первой нашей встречи
От тебя наискосок.

Так. Скудеющей походкой.
Так. Растеряны слова.
Там, за дымчатой решеткой,
Тяжко стелется Нева.

Струны каменные — четче
Всех чугунных — горний кряж...
Так тебя украсил зодчий,
Тот, что строил Эрмитаж.

Летний Сад, какое лето
Нас введет сюда вдвоем?
Вдоль гранита плещет Лета,
Покоренная Петром.

1935

Печатаемые «Стихи о Петербурге», случайно доставшиеся в распоряжение редакции «Нового Журнала», принадлежат перу поэтессы, прожившей всю революцию в Советской России. Насколько нам известно, они никогда раньше не были напечатаны **Ред.**

КНЯЗЬ-ВЛАДИМИРСКИЙ СОБОР

I.

Среди берез зеленокудрых
Собор, как чаша, вознесен:
Трезини был он начат мудро,
Ринальди славно завершен.

В обличьи стен — еще простое:
Петровский росчерк, прям и смел.
И колокольня высотою —
О, в тысячу парфянских стрел!

Но не об этом встанет песня
Костром в лирической игре:
Не о соборе, всех чудесней,
Не о Трезини и Петре...

Высок и прост мой символ веры:
Я сквозь листвы живую сеть,
Вон с той скамьи, на дом твой серый
Могу рассеянно смотреть.

II.

Никогда мне Тебя не найти,
Мне не встретить Тебя никогда
Так запутаны в мире пути,
Так трудны и шумны города.

И, чтоб я отыскала Твой дом,
Как жемчужину в горсти сестер,
Стал высоким моим маяком
Князь-Владимирский белый собор.

В сером доме, где, в шесть этажей,
Под лепною ромашкой бетон,
Я не знаю заветных дверей,
Не узнаю окна меж окон.

И ворота — двойной лепесток —
Раскрываются, тихо звеня...
Каждый тонкий, литой завиток
Мне дороже, чем юность моя.

Припадаю, в трамвае, к стеклу
Жаром сухо очерченных губ:
Ты живешь на чудесном углу,
Против дома, где жил Сологуб.

1930

ТРИ РЕШЕТКИ

Черным кружевом врезана в пепел
Серых дней и белесых ночей
Та решетка — великолепье
Похорон или палачей.

И другая гранит свой покатый
Приструнила, нарядней стократ,
Где ущербным мрамором статуй
Населен поредевший сад...

Смят железной когортой столетья
Пышный век тот, раскатанный в лоск.
Воронихин, Фельтен и третий...
Тает камень, как тает воск.

И, за шкуру свою беспокоясь, —
О, защитный растреллиев цвет! —
Отдал Зимний свой царственный пояс
Парку лучших советских лет.

Так росли мы, сквозь годы глухие,
Тень осины в квадратах тюрьмы:
Город — гордость любой России —
По решеткам запомним мы.

1933

Владимирский собор чудесно княжит
Над садом, над Невою, надо мной...
Я тронута мечтательно — и даже
Не синевой его, не белизной:

Нет, в нем одном так оба цвета слиты,
Что вижу я (и замедляю шаг)
Над Петербургом — палубой немытой
Андреевский полузабытый флаг.

1934

Петром, Петра и о Петре —
О, петербургские склоненья
Дубов — к прудам, и трав — к забвенью,
И шпилей — к лиственной игре.

Направо, от Петра к Петру
(С Невы — до замка на Лебяжьем)
Костьми когда-нибудь мы ляжем
За это все: блаженный труд!

О, правый город, мой, петров,
Не все-ль равно? о, город левый! —
Как плащ с плеча Марии Девы,
Спадают Невы с островов.

Пока глаза мои горят —
В последний схвачена простудой,
Твоим петрографом я буду,
Сквозь дождь и ветер, снег и град,
Москвоотступник — Петроград!

1935 **А. Лисицкая**

На чужбине и солнце, и тучи другие,
И волна говорит на чужом языке...
Я черчу твое имя, Россия,
На приморском песке.

Пусть приносят мне ветер, соленый и свежий,
И смывающий буквы родные прибой —
Только звуки чужих побережий,
Все равно — я с тобой.

Гизелла Лахман

Солнце жизни обманчиво — нежность
Умирает, слабый цветок.
Только моря и неба безбрежность,
Только гор надземный чертог,
Только белого снега мерцанье
На утесах где рядом — смерть,
Лишь вершины — напоминанье,
Что за твердью земли — еще твердь.
Что за дном этой жизни черным
Есть другое, звездное, дно,
Что в рисунке жизни узорном
В вечность тайное скрыто окно.

Е. Рубисова

СОН

Таинственно твой образ несравненный
Из бездны прошлого в безмолвьи сна
Явился мне и жизнью сокровенной
Наполнилась ночная тишина.

То не было ни смутное виденье,
Ни вышедший из рая светлый дух,
Ни лживый призрак обманувший зренье,
Лукавой речью усыпивший слух.

Нет! Грудь вздымалась, сердце билось страстно,
Дыханье прерывал томленья пыл,
А голос звал и ласково и властно,
Манил к себе и счастие сулил.

Знакомых слов пленительные звуки
И мучили и волновали кровь,
Ко мне с любовью простирались руки,
Взор искрился и загорался вновь.

Как юноша влекомый страстью жгучей,
Все путы разорвав земных оков,
Навстречу жизни пламенно кипучей
Я бросился в ответ на вещий зов —

И вдруг проснулся. На дворе светлело,
В окно врывался шум издалека,
А на меня из зеркала смотрело,
Дрожа, лицо седого старика.

Какая горькая и злая шутка,
Что сон, событий прерывая нить,
Наперекор всем выводам рассудка
Способен в миг былое воскресить!

А ум молчит в тревоге испытанья,
Залог бессмертия в себе тая,
И мыслит: смерть — конец существованья,
А не завет иного бытия!

20 Октября 1945 г.

Александр Ян Рубан

В стихотворение Елены Антоновой «Весенний день», напечатанное в 13-ой кн. «Нового Журнала», вкралась опечатка. Вторую строфу следует читать так:

Сверкнул из-за темных гор
Всходящего солнца луч,
Слышнее стал чаек хор
С прибрежных скалистых круч.

ЕРЕСЬ УТОПИЗМА

Согласно известному античному убеждению, всякая человеческая гордыня или заносчивость (hybris), всякое дерзновенное своеволие, в силу которого человек нарушает естественный порядок вещей и притязает на место и значение, ему не свойственное, — роковым образом карается. Кара имманентно предопределена здесь самим существом преступного замысла. Ибо при всей естественности человеческих стремлений к счастию, свободе, могуществу, — эти стремления, как только они выходят за известные пределы и, становясь безмерными, перестают считаться с предустановленной божественно-космическими законами ограниченностью человеческих возможностей, — уже сами суть безумие, овладевающее человеком и неизбежно влекущее его к гибели.

Это античное убеждение принадлежит к числу великих, вечных истин, завещанных человечеству греческой религиозно-нравственной мыслью. Его подтверждает и простой жизненный опыт, и ему не трудно найти более глубокое обоснование в христианском религиозном жизнепонимании. Пережитая нами мировая война, со всеми ее, превышающими человеческое воображение, злодеяниями и страданиями, есть по всему ходу ее событий классический образец трагедии, построенной на этом античном и вечном мотиве. Трагедия эта разыгралась — или скорее доселе разыгрывается, ибо последний акт или эпилог ее еще не окончен — в неслыханно-огромном, подлинно мировом масштабе. Если ее зачинатели и протагонисты суть немногие безумцы и злодеи, то ее соучастники и жертвы исчисляются миллионами и внесенное ею потрясение охватило едва ли не все человечество.

Как ни поучительна эта мировая трагедия, смысл ее настолько прост и очевиден, что не нуждается ни в каком более сложном размышлении. Демонизм безграничного властолюбия, не считающегося в своих замыслах и средствах с самыми элементарными нравственными законами, обнаружился, как безумие, гибельное для самих преступников не менее, чем для их жертв.

Что злая и преступная воля есть, по крайней мере за известными пределами, воля безумная и именно поэтому гибельная — это в некотором смысле понятно само собой. Более

глубокая и трудная проблематика содержится в другой, родственной теме, которая не нашла открытого выражения в указанной античной идее. Дело в том, что и воля, в основе своей благая — воля, руководимая не личной корыстью или похотью, а нравственным мотивом любви к людям, стремления спасти их от страданий и неправды и утвердить праведный порядок жизни — может также, сочетаясь с безмерностью и дерзновенным своеволием, оказаться волей безумной и в своем безумии выродиться в волю преступную и гибельную. Мы имеем в виду то устремление мысли и воли, которое можно назвать общим именем утопизма. Под утопизмом мы разумеем не общую мечту об осуществлении совершенной жизни на земле, свободной от зла и страдания, а более специфический замысел, согласно которому совершенство жизни может — а потому и должно быть как бы автоматически обеспечено неким общественным порядком или организационным устройством; другими словами, это есть замысел спасения мира устрояющей самочинной волей человека. В этом качестве утопизм есть типический образец ереси в точном и правомерном смысле этого понятия — именно такого искажения религиозной истины, которое увлекает человека на ложный и потому гибельный путь. Цель, которая здесь ставится, невозможна не просто потому, что никакой идеал не осуществим в его абсолютной полноте и чистоте; она невозможна, потому что содержит в себе, как мы постараемся показать ниже, внутреннее противоречие. Пока этот замысел остается только мечтой — как в «утопиях» Платона, Кампанеллы и Томаса Мора, — его внутренняя противоречивость, и потому ложность и гибельность самого стремления к нему, остаются скрытыми. Они обнаруживаются только на практике, когда этот идеал овладевает волей, т. е. делается попытка осуществить его в согласии с самим его содержанием, именно мерами внешне-организационными, т. е. через принудительное водительство человеческим поведением; и именно тогда обличается нравственное безумие, т. е. порочность самой устрояющей воли, первоначально руководимой благим побуждением.

Именно в таком качестве практического политического движения ересь утопизма возникла впервые, по крайней мере в широком масштабе, в связи с реформационным движением, как типически христианская ересь — у чешских «таборитов» и в таких явлениях немецкой реформации, как крестьянская война, движение Томаса Мюнцера и анабаптизм, которые все были замыслом принудительного общественного осуществле-

ния евангельского совершенства. В секуляризованной форме эта ересь воплотилась сперва в якобинстве, а потом — в революционном социализме, который в наше время, в лице русского большевизма, овладел жизнью многомиллионного народа и тем получил неопровержимо убедительную опытную проверку.

Прежде, чем попытаться теоретически анализировать ересь утопизма и вскрыть общие источники ее заблуждения, отметим простой бесспорный исторический факт. Не только утопизм никогда не достигал на практике поставленной им цели, т. е. ему не удавалось осуществить порядок, обеспечивающий нравственное совершенство жизни, но на пути своего осуществления он приводил к результатам прямо противоположным: вместо искомого царства добра и правды он вел к господству неправды, насилия и злодейств; вместо желанного избавления человеческой жизни от страданий он приводил к безмерному их умножению. Можно сказать, что никакие злодеи и преступники не натворили в мире столько зла, не пролили столько человеческой крови, как люди, хотевшие быть спасителями человечества. Пожалуй единственное исключение из этого общего положения есть зло, причиненное в наше время демонизмом национал-социализма и фашизма; но при этом не надо забывать, что и этот демонизм мог соблазнить массы и обрести мировой размах только потому, что в нем исконно злая воля облеклась также в видимость мессианического движения спасения мира (не то от коммунизма, не то от «иудео-плутократического» морального разложения).

Но и этого мало. Самое разительное и парадоксальное в судьбе утопизма есть то, что не только фактически, вопреки первоначальному замыслу, он всегда приводил не к добру, а к злу, не спасал, а губил жизнь, но что на этом пути сами спасители человечества из самоотверженных служителей благу, каким то непонятным и неожиданным образом, превращались в бессовестных злодеев и кровожадных тиранов. Утопические движения всегда начинаются людьми самоотверженными, горящими любовью к людям, готовыми отдать свою жизнь за благо ближних; такие люди не только кажутся святыми, но в известной мере действительно причастны, хотя и в какой-то искаженной форме, святости. Постепенно, однако, и именно по мере приближения к практическому осуществлению своей заветной цели, они либо сами превращаются в людей одержимых дьявольской силой зла, либо уступают свое место злодеям и развращенным властолюбцам, имеют их своими естественными преемниками. Таков парадоксальный роко-

вой ход всех революций, руководимых утопическим замыслом утвердить абсолютно совершенный порядок жизни. По середине этого пути от святости к садизму стоит, как бы воплощая в себе всю дьявольскую парадоксальность этой нравственной диалектики, жуткий, загадочный тип аскетического и добродетельного в личной жизни кровопийцы, вроде Робеспьера и Дзержинского.

В истории русской мысли есть один любопытнейший образец этой диалектики, как она совершается в плане развития чистой идеи, вне всякого воздействия конкретной жизни в порядке практического ее осуществления; и именно поэтому этот образец особенно поучителен. Мы имеем в виду идейное развитие Белинского с момента, когда он, порвав с гегельянством, был охвачен пафосом скорби о земной неправде и стремления к нравственному оздоровлению общественной жизни. В известном письме, возвещающем разрыв с гегельянством, он заявляет, что «судьба субъекта, индивидуума, личности, важнее судеб всего мира... т. е. гегелевской Allgemeinheit»; он утверждает, что никакая мировая гармония не удовлетворит его, если он не сможет разделить ее с каждым из его «братий по крови»; что, даже достигнув «верхней ступени лестницы развития», он потребует отчета «во всех жертвах условий жизни и истории», и иначе бросится сам вниз головою с этой «верхней ступени»*). Весь выраженный здесь страстный упор нравственной воли направлен на благо личности, на конкретные нужды живых людей; перед лицом абсолютной ценности каждой конкретной человеческой личности теряют силу все интересы общего развития человечества, грядущего осуществления общих ценностей жизни. Мы имеем здесь предвосхищение знаменитой формулы Достоевского, вложенной в уста Ивана Карамазова: «высшая гармония не стоит слезинки хотя бы одного только замученного ребенка». Именно на этом пути заботы о благе каждой человеческой личности Белинский становится страстным приверженцем социализма. И вот, это увлечение программой социалистического устройства жизни становится в душе Белинского столь всеобъемлющим, что тотчас же приводит его к жуткой формуле, совершенно опрокидывающей исходную мысль этого нравственного устремления: «Если для утверждения социальности (т. е. социализма) нужна тысяча голов, — я требую тысячи голов». И Герцен рассказывает, как Белинский, с горящими фанатизмом глазами, проповедывал необхо-

*) Письмо В. П. Боткину, I-III — 1841.

димость гильотины. Так именно, из страстной любви к живым людям и их конкретной судьбе, рождается беспощадная жестокость к ним же, поскольку они считаются помехой при осуществлении порядка, долженствующего обеспечить их же благо. Этот, в каком то смысле и психологически естественный, и логически последовательный ход идей приводит, таким образом, к вопиющему нравственному противоречию; и здесь, как в лабораторном препарате, в идеально-чистой форме явлено то развитие, которое уже на наших глазах превратило самоотверженных русских народолюбцев в палачей — чекистов; что при конкретном осуществлении этого хода идей «тысячи голов» возрастают до неисчислимого количества, до сотен тысяч или миллионов голов — уже не составляет никакого принципиального различия.

Легко отмахнуться от этого жуткого парадокса дешевым соображением, что фанатическая страсть способна нравственно ослеплять, омрачать жестокостью самые чистые и благородные побуждения. Это вполне верно фактически, но есть только смутная словесная формула, ничего не объясняющая по существу. Этическая мысль требует ясного анализа самой объективной диалектики идей, приводящей к такому жуткому противоречию. Эта диалектика, очевидно, опирается на какие-то предпосылки, ложность которых есть источник порочности ее вывода.

Первое, ближайшее объяснение заблуждения утопизма состоит в том, что он есть замысел «спасти» мир, т. е. истребить в нем зло и неправду и утвердить безраздельное господство добра с помощью реформы порядка или устройства жизни. Порядок есть совокупность отношений между людьми, обеспеченных законом, т. е. принудительными общими нормами. Но этот замысел противоречит самому существу закона. В деле борьбы со злом и нравственного совершенствования жизни надо отчетливо различать между двумя совершенно разнородными задачами: задачей внешнего обуздания зла, ограждения жизни от его гибельного действия, — и задачей сущностного искоренения или преодоления зла, совпадающей с задачей органического взращивания сил добра. Так как и добро, и зло суть по существу силы порядка духовного, то и взращивание добра, и сущностное искоренение зла возможны только в порядке духовного действия извнутри на человеческую волю или на душевный строй личности, т. е. в порядке духовного воспитания, которое мыслимо только в стихии свободы и есть в конечном счете свободное самовоспитание — свободное восприятие и внедрение в душу благо-

датных сил, под действием которых зло как бы само собой рассеивается, исчезает, как тьма перед лучом света. Наоборот, никакое принуждение, никакой закон, который есть всегда приказ или запрещение, никакие, даже самые суровые кары не могут сущностно уничтожить ни атома зла, сущностно взрастить ни атома добра. В этом смысле толстовская критика государства и вообще борьбы со злом с помощью внешней силы совершенно права. Из этого, правда, совсем не следует толстовский вывод о ненужности и зловредности государственно-правовой борьбы со злом: ибо, не уничтожая сущности зла, закон, правовой порядок, действующий через принуждение, как указано, просто обуздывает его, ограждает от него жизнь, — что есть, конечно, задача необходимая и благотворная. Если укротить насильника и злодея, воспрепятствовать его злому делу, есть нечто совсем иное, чем сделать его добрым и исцелить от зла, то в этом все-же есть разумная и праведная функция охранения жизни от вреда, причиняемого злым действием. Вопреки толстовству и всяческому религиозному анархизму или политическому индифферентизму, благотворность в этом смысле разумного и справедливого порядка, принудительно охраняющего жизнь от зла и неправды, есть самоочевидная истина, которой нет надобности доказывать.

Однако перед лицом замысла утопизма нужно не упускать из вида обратной, только что упомянутой, стороны дела. Пределы благотворности какого либо общественного порядка суть пределы благотворности принуждения. Никогда не следует забывать того простого факта, что самые справедливые и возвышенные по своему замыслу социальные и политические реформы конкретно исполняются агентами исполнительной власти, т. е. в конечном счете полицией. Задача же полиции, по меткой формуле героя Глеба Успенского, состоит в том, чтобы «тащить и не пущать» — дело, как указано, необходимое для жизни и в определенных пределах требуемое нравственным сознанием, но столь же очевидно не способное «спасти мир», т. е. утвердить в нем нравственное совершенство или полноту счастия. Отсюда явствует, что утопизм, уповающий на осуществимость полноты добра через общественный порядок, имеет имманентную тенденцию к деспотизму — со всем, что есть злого и гибельного в деспотизме. Это есть основное — одновременно и моральное, и социологическое — возражение против интегрального социализма. Поскольку под социализмом разуметь только общую идею необходимости и нравственной обязательности государствен-

но-принудительных мер против эксплуатации бедных богатыми, слабых — сильными или вообще против бедствий хозяйственной «анархии», проистекающих от хаотического столкновения корыстных воль, — он есть идея правомерная и бесспорная. Но поскольку под ним разумеется замысел подчинить всю хозяйственную жизнь, все социальные отношения между людьми государственной власти — построить всю социально-экономическую жизнь планомерно с помощью государственного принуждения, он вырождается в замысел деспотизма: нравственно возродить жизнь методами «тащить и не пущать». Он упускает при этом из вида, что жизнь есть не искусственное, рациональное построение, а органическое творчество, что всякое творчество — в том числе и нравственное — совершается только в стихии свободы, и что поэтому всякое подавление свободы парализует жизнь и, тем самым, силы добра, вне действия которых невозможно никакое совершенствование жизни. Из сказанного явствует, что дело тут не в каком-либо заблуждении в содержании социально-политической программы интегрального государственного социализма, а в общем социально-философском — в конечном счете религиозно-философском заблуждении утопизма, как такового, только частным случаем которого является социалистическая утопия. Исходя из совершенно правильного сознания, что при несовершенстве человеческой природы, свобода не только не обеспечивает разумной и справедливой жизни, а напротив, фактически есть в весьма значительной мере свобода зла и неразумия, утопизм есть замысел в корне пресечь эту опасность через планомерное принудительное водительство общественной жизни единой направляющей разумной волей к добру. В сущности, именно в этом состоит чисто философская идея тоталитаризма (если оставить в стороне преступные и корыстные цели, фактически к нему примешивающиеся и в нем соучаствующие), как она была впервые выражена в бессмертной морально-политической утопии Платона*).

Но этим, как указано, безмерно преувеличивается, как бы перенапрягается и тем искажается нормальная функция планомерного принудительного нормирования человеческой жизни — функция закона, который может только ограничи-

*) Что эта идея лежит в основе и социализма — это совершенно ясно видно из его первой исторической формы в сенсимонизме, основной пафос которого состоял именно в обличении свободы, как стихии зла и неразумия.

вать произвол в его наиболее вредных для жизни проявлениях, но никак не может устранить основоположный факт общего несовершенства и греховности человеческой природы. Свобода, как стихия иррациональности, неизбежно включающая в себе зло и неразумие, в известном смысле совпадая с самим существом жизни, оказывается сильнее всякой попытки ее уничтожить. Загнанная внутрь, лишенная возможности открытого, явно воспринимаемого, беспрепятственного обнаружения, она находит множество неожиданных, непредусмотренных законом путей и каналов для своего как бы подземного действия. Это неизбежно сказывается в двух отношениях. Во первых, замысел уничтожить зло принудительным нормированием жизни, даже поскольку он действительно руководим благой и разумной волей, фактически не достигает своей цели. Создается болезненное, отравляющее жизнь противоречие между только видимой благопристойностью и упорядоченностью жизни, как ее поверхностным наружным слоем, и ее внутренней хаотичностью и порочностью. И, с другой стороны, сами водители жизни, долженствующие своей разумной и благой волей преодолеть ее злое неразумие, фактически, как люди, полны того же несовершенства человеческой природы, которое они призваны преодолеть: злую и неразумную человеческую волю направляет и обуздывает не какая-либо высшая, более совершенная инстанция, а — в лице руководителей — та же самая человеческая воля, полная зла и неразумия. Получается безвыходный порочный круг. Более того: свобода, будучи стихией иррациональной, — стихией, допускающей зло и неразумие — есть вместе с тем стихия рождения и действия добра и разума, т. е. единственная возможность самоисправления, совершенствования жизни. Преодоление зла и неразумия возможно только в форме свободного самовоспитания и самопреодоления человека, свободной внутренней победы в человеке высшего, лучшего над низшим и худшим. Где замысел внешнего, принудительного совершенствования в жизни устраняет эту возможность, там фактически не только не достигается совершенство, а, напротив, иррациональность и порочность, присущие человеку, расцветают махровым цветом.

Ересь утопизма можно, таким образом, ближайшим образом определить, как искажение христианской идеи спасения мира через замысел осуществить это спасение принудительной силой закона. Поскольку идея закона есть руководящая идея ветхозаветной религии, ересь утопизма оказывается искажением христианского сознания в направлении ветхоза-

ветных представлений. Правда, в самом ветхом завете закон отнюдь не мыслится средством спасения мира. Он есть только средство «спасения» человека в смысле его оправданности перед Богом; при этом под законом разумеется, конечно, не закон государственный, а закон, как безусловное религиозное веление — то, что мы теперь (оставляя в стороне ритуальный закон) назвали бы законом нравственным. Известна критика ап. Павлом этого понимания закона — критика, которою впервые была отчетливо разъяснена христианская идея спасения: закон, будучи коррективом греха, есть его коррелат и последствие, и именно поэтому, внешне обуздывая грех, не может сущностно преодолеть его и привести к спасению. Значение этой гениальной религиозной интуиции ап. Павла для нашей темы обнаруживается, если учесть естественную тенденцию закона в ветхозаветном смысле превратиться в закон принудительно-государственный. Будучи выражением божьей воли, закон имеет безусловную обязательность: правда должна быть осуществляема при всех условиях, ее нарушение должно быть обуздываемо. Если эта имманентная принудительность закона ближайшим образом конкретно выражается в давлении на личность нравственного суда общественного мнения, то нравственная воля общества сознает себя вправе и даже обязанной утверждать правду и средствами государственного принуждения. Религия закона неизбежно и естественно воплощается в принудительной теократии. В истории христанства этот ход идей обнаруживается всюду, где в нем проступают ветхозаветные тенденции, например в кальвинизме (женевская принудительная теократия Кальвина и соответствующие явления английской пуританской революции). Закон, правда, мыслится здесь не как спасение мира, а как средство обуздания греха и, тем самым, в порядке общих условий мирового бытия, как средство охранения мира от разрушительных сил греха, т. е. как условие устойчивости и равновесия мировой жизни, потрясенной грехопадением. Но поскольку в утопизме возникает идея спасения мира через утверждение в нем праведного порядка или закона, ветхозаветная идея теократии принимает в нем характер спасения мира через государственное принуждение. Значение такого рода — искаженных — ветхозаветных представлений в утопизме явственно в типах утопизма эпохи реформации. Враги божьего закона рассматриваются, как безбожные «амалекитяне и филистимляне», подлежащие беспощадному истреблению (постоянный лозунг религиозного фанатизма в эту эпоху); характерно, что на этом пути «табориты» кончают прямым

отречением от христианства и возвращаются к ветхозаветной вере. Самый яркий и в нашей связи поучительный образец этого умонастроения есть попытка анабаптистов в Мюнстере принудительно осуществить христианский идеал имущественной общности: закон предписывал, чтобы двери домов оставались открытыми днем и ночью; всякий мог брать повсюду, что он хотел; нарушители закона беспощадно карались смертной казнью. Это есть образец примитивного, мотивированного христианским идеалом совершенства, принудительного социализма, неизбежно поддерживаемого террором — кажется, исторически первый опыт большевизма.

Но это понимание ереси утопизма, как искажения христианской идеи спасения в направлении ветхозаветной теократии, само по себе еще недостаточно. Нужно еще уяснить предпосылки, в силу которых становится возможным само это искажение. Дело в том, что ни в новом, ни в ветхом завете, как таковых, не содержится ничего, что могло бы быть источником этого искажения. Как уже указано, при всем преувеличении религиозного значения закона, как богоустановленной принудительной нормы поведения, ветхозаветное представление никогда не усматривало в законе средства спасения мира в смысле установления в нем абсолютного совершенства. С другой стороны, благая весть нового завета о спасении мира и преодолении в нем греха мыслит это спасение принципиально в порядке надмирном. В пределах нынешнего мирового эона это спасение состоит в освобождении человеческой души от подвластности греховному миру через открытие ей доступа к «Царству небесному», как ее вечному достоянию; в силу этого спасение, как полнота блаженства и возможность духовного совершенства, мыслится совместимым с бытием в несовершенном мире, исполненном греха и страдания. «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: я победил мир» (Ев. Иоан. 16,33). Эта сущностная победа над грехом и, тем самым, принципиальное, еще незримое преодоление греховного эона мирового бытия должно завершиться преображением его в «Царство Божие», но это преображение совпадает уже с «концом» этого мира. И первое, и второе спасение одинаково, хотя и в разных формах, означают выход за пределы «этого мира», имеют в виду «царство не от мира сего» и потому не только не содержат, но прямо отвергают мысль о возможности совершенства и полноты блаженства в пределах — как бы в категориальных условиях — привычного, «этого» мирового бытия.

Единственный религиозный мотив в составе священного

писания и вообще исконной религиозной традиции, в котором можно было бы усмотреть опорную точку для утопизма, есть апокалиптическое чаяние «нового неба и новой земли», «нового творения» (идея, которая сама восходит к упованиям ветхозаветных пророков — ср. Исаия, 11 и 67, 17-25); и утопизм часто принято сближать с этой апокалиптической верой. Не следует, однако, при этом упускать из вида и существенное, можно сказать решающее различие между ними. Преображенный, совершенный мир — «новое небо и новая земля» — мыслится в апокалиптической вере именно как «новое творение», т. е. как бы второй завершающий акт сотворения мира. Подобно первому сотворению мира, это есть чудесный акт творческой Божьей воли, превосходящий человеческое разумение и тем более выходящий далеко за пределы всего доступного умышленной устрояющей воле человека. И — по крайней мере в новозаветном апокалипсисе — это новое творение отчетливо отделено от старого — от нынешнего мирового эона — страшным судом, в котором конечное торжество всемогущей правды Божьей, истребляя всю земную неправду, полагает конец и всему «этому миру». Напротив, утопизм мыслит «новое творение» делом именно устрояющей человеческой воли, руководимой замыслом утвердить абсолютную правду, «царство Божие» на земле, т. е. в категориальных условиях «этого» мира»

Подлинный и последний идейный источник утопизма есть совершенно новая — по сравнению со всем кругом ветхозаветных и новозаветных представлений — религиозная идея (некоторую аналогию которой можно найти только в гностицизме 2-го века). Это есть мысль, что мировое зло и страдание определены не вошедшей в мир, исказившей совершенное Божие творение и в пределах мира неустранимой, таинственной силой греха, а неправильным устройством самого мира. К этому присоединяется другая мысль: человеческой воле, руководимой стремлением к абсолютной правде, дана возможность коренного переустройства мира — сотворения нового, осмысленного и праведного мира, взамен старого, неудачного и неправедного. Утопизм есть прежде всего отрицание догмата грехопадения. Ответственность за земную неправду он возлагает не на власть греха в мире, не на греховную человеческую волю, а на некие иные силы, повинные в неправильном и неправедном устройстве мира, — при полной последовательности мысли, на инстанцию, сотворившую мир. Это есть восстание человеческой нравственной воли против творца мира и против самого мира, как его творения. Древние

гностики учили, что мир сотворен злым богом, и что Бог любви и правды, откровение которого принес Христос, есть совсем иной Бог, чем творец мира. Отсюда ближайшим образом следовало аскетическое бегство от мира, стремление избавиться от власти злого бога-творца через духовное причастие иному «далекому» Богу любви и правды. Немецкий богослов Гарнак (в своей книге о Маркионе) метко сближает учение Толстого с этим древним религиозным направлением. Не случайно, однако, в Толстом аскет сочетается с революционером; бегство от мира, отрицание красоты, эротики, культуры, — всех духовных сил, связанных с жизнью в мире и с признанием положительной религиозной ценности космоса, восполняется мечтой о возможности совершенной жизни через подчинение новому порядку — тому, что можно было бы назвать уставом толстовской жизни. Правда, этот порядок праведной жизни мыслится добровольным, с отвержением всякого физического принуждения; и в этом — существенное отличие толстовства от утопизма. Но, как выше было указано, вера в законный порядок, как адекватное и всеобъемлющее выражение абсолютной божьей правды, по существу уже содержит в себе нравственное требование его принудительного осуществления и неукоснительно приводит к идеалу принудительной теократии. Поскольку утверждение праведного порядка мыслится делом умышленной, устрояющей воли человека, принудительная теократия принимает характер принудительной богоборческой антропократии. Человек берет на себя самого дело устроения мира на новых, праведных основаниях; этот новый, праведный и разумный мир — творение устрояющей нравственной воли человека — отчетливо противопоставляется миру старому, исконному, исполненному зла и неразумия — миру, созданному некой злой, слепой, хаотической силой. Именно в этом замысле построить совершенно новый мир, через принудительное утверждение в нем праведного порядка, и состоит существо утопизма. Не случайно, а совершенно естественно и с неумолимой последовательностью, утопизм, будучи первоначально христианской ересью, именно в качестве идеи спасения мира через подчинение его праведному закону, превращается в богоборчество, в восстание человека против Бога — сохраняя при этом характер христианской ереси только в самой идее спасения или преображения мира.

В этом существе утопизма уже предопределена его судьба — та роковая диалектика вырождения добра в зло, констатирование которой было исходной точкой нашего размышле-

ния. Чтобы создать или сотворить новый мир, надо сначала разрушить старый. Ведь дело идет о том, чтобы создать мир именно заново. Подобно Богу, человек замышляет сотворить мир из ничего; но, не находясь в положении Бога, который впервые сотворил мир, он встречает препятствие для своего творческого замысла в лице уже существующего мира. Поэтому задача разрушения составляет для него интегральную часть его творческой задачи; согласно знаменитому изречению Бакунина в его немецкой юношеской статье — этом философском манифесте революционного утопизма — «*die Lust der Zerstörung ist auch eine schaffende Lust*». — Правда, по замыслу самого утопизма, разрушение старого мира должно быть только краткой подготовительной стадией, за которой должно следовать уже чисто созидательное дело построения нового мира. Но старый, исконный мир — мир грешный, неразумный и несовершенный — упорствует в своем бытии, сопротивляется своему разрушению. Это упорство представляется утопизму всегда чем-то непонятным, неожиданным, противоестественным, ибо противоречит его представлению об относительно легкой возможности построить новый мир. Оно рассматривается поэтому, как некоторого рода случайная, частная помеха, приписывается какой-то извращенно-порочной воле; представляется естественным, что нормальные люди должны согласиться на план построения нового мира, обеспечивающий им «спасение», разумную и блаженную жизнь. Эта извращенная, порочная воля немногих должна быть подавлена и уничтожена; отсюда — требование «тысячи голов». Но этот старый мир, несмотря на всю свою порочность и дряхлость, на все свое несовершенство, все же имеет некое сверхчеловеческое происхождение — и потому некую для утопизма неожиданную прочность, о которую разбивается всякая чисто человеческая воля. Поэтому никакое устранение «тысячи голов» здесь помочь не может: взамен отрубленных голов у «гидры контрреволюции» вырастают тысячи — или скорее десятки и сотни тысяч — новых голов. Дело разрушения безнадежно затягивается, и на этом пути утопизм роковым образом увлекается на путь беспощадного и все более универсального террора. Именно поэтому благодетели человечества неизбежно становятся его угнетателями, мучителями и разрушителями. Спасаемые расплачиваются за слепоту спасителей, за ложность самого их замысла спасти мир новым его устроением, замысла, основанного на забвении истины о неустранимом никакими внешними человеческими мерами греховном несовершенстве мира. По меткому

изречению Канта, «из того кривого дерева, из которого сделан человек, нельзя смастерить ничего совсем прямого». Посвящая все свои силы бесконечной, никогда не завершимой задаче обуздания, подавления, разрушения исконных основ мирового бытия, спасители мира становятся его заклятыми врагами и постепенно подпадают под власть своего естественного водителя на этом пути — духа зла, ненависти, презрения к человеку. Богоборческая антропократия роковым образом вырождается в демонократию, которая ведет не к спасению мира, а к его гибели.

Мы предвидим естественное возражение. На первый взгляд легко может казаться, что все это рассуждение несостоятельно, будучи основано на простой игре слов — на смешении «мира», как сферы общественной жизни человека, с понятием мира, как космоса. Никакие утописты, скажут нам, не собираются ведь изменить законы природы и сотворить космос на новых основаниях; они замышляют только создание нового, праведного социального устройства; а подтверждаемая историческим опытом изменчивость социального устройства вполне совместима с неизменностью космического строя бытия. Но это возражение лишь мнимо убедительно: оно проходит мимо самой существенной стороны проблемы. Лишь мимоходом укажем, что утопизм часто сам открыто признает себя мечтой о космическом преображении, как, например, в утопических фантазиях Фурье или в знаменитой формуле Маркса о «скачке из царства необходимости в царство свободы», указующей, что наступление социализма мыслится именно, как совершенно новый эон вселенского бытия. В туманной форме утопизм вообще содержит веру, что преобразование социального устройства как-то должно обеспечить подлинное спасение, т. е. конец трагической подвластности человека слепым силам природы и наступление нового, неомраченно-блаженного бытия. Гораздо существеннее, однако, для нас иная, более тонкая и глубокая связь, в которой обнаруживается имманентная необходимость для утопизма быть замыслом преобразования неких общих космических основ бытия.

Дело в том, что само устройство человеческой жизни — мир социальной жизни — в некоторых общих своих условиях (в пределах которых, конечно, возможны многообразные исторические вариации) есть выражение подчиненности человека силам космического порядка. Поскольку человек есть не чистый дух, а плотское существо, он в лице своей плоти и ее неизменных нужд и потребностей входит в состав «кос-

моса» и подчинен его силам. Поэтому всякий умысел изменить эти общие условия, заменить их совершенно новыми, есть по существу — все равно, сознается ли это или нет — попытка преобразования космических основ человеческого бытия (обычно это скорее не сознается, ибо открытое сознание было бы равносильно осуждению утопизма). Возьмем для начала простой совершенно элементарный и потому грубоватый пример. Принцип всеобщего равенства, в качестве нравственного требования, конечно, вполне правомерен и обязателен, будучи выражением уважения к святости каждой человеческой личности, признания ее богоподобия и богосыновства. Но попытка утвердить реальное и безусловное равенство положения, возможностей и условий жизни всех людей равносильна попытке отменить универсальный и непреложный космический факт реального неравенства людей по их способностям, энергии, трудолюбию, как и столь же непреложный факт значения в жизни людей иррациональных случайностей. Можно и должно даровать женщинам «равноправие» с мужчинами, но совершенно невозможно отменить глубочайшее, космически предопределенное различие в умственном и душевном складе, в жизненном «призвании» двух полов; и аналогичное соображение ставит роковой предел всем другим попыткам реального уравнения всех людей. Все они фактически означают замысел «космической революции», именно отмены универсального космического факта качественной и количественной дифференцированности бытия, т. е. его многообразия и его иерархической структуры.

Отсюда следует, что есть некие «законы», в смысле нормативно определенных порядков человеческой жизни, которые соответствуют подчиненности человека непреложным — в пределах «этого мира» — космическим условиям его бытия. В этом — смысл понятия «естественного права», выработанного уже античной мыслью и усвоенного христианской церковью в полном согласии с ее собственным религиозным сознанием. «Естественное право» не есть право, обеспечивающее совершенную и блаженную жизнь, не есть социальный порядок, сполна удовлетворяющий потребности человеческого духа. Напротив, оно естественно несовершенно, выражая общее несовершенство человеческой жизни в ее подчиненности силам космического порядка. Точнее говоря, естественное право есть максимально-адекватное выражение нравственной и духовной природы человека в пределах ее подчиненности этим космическим силам. Так моногамная семья есть форма, в которой нравственный дух человека упо-

рядочивает космическую стихию пола. Так, государство, государственная власть есть форма, в которой практически удовлетворяется нравственная потребность свободной и мирной солидарности перед лицом космического наличия враждебных, злых, анархических сил внутри и вне общежития; и именно в этом смысле государственная власть, по учению ап. Павла, установлена Богом (таков же, конечно, и естественно-правовой фундамент международного права, включая и еще неосуществленный замысел международного единства). Так, частная собственность, при всем многообразии ее конкретных форм и при всей необходимости ее ограничений в интересах человеческой солидарности, в самом своем принципе есть естественное условие свободной самодеятельности человека перед лицом космического факта «хозяйственной» нужды, т. е. зависимости человеческой жизни от обладания материальными благами.

Поэтому всякий замысел отменить или уничтожить эти общие формы человеческой жизни, отражающие ее подчиненность космическим силам земного бытия, заменить их совершенно иными формами, придуманными нравственной мыслью человека, есть выражение неправомерной, противоестественной гордыни человека, его титанического стремления собственными силами построить совершенно новый мир. Замысел этот не только фактически неосуществим, так как он разбивается о непреодолимое упорство мира, в котором обнаруживается его сверхчеловеческое происхождение. Превращаясь на пути своего практического осуществления в безнадежную, никогда не завершимую задачу разрушения мира, он фактически вырождается в процесс калечения, уродования естественных — и потому при данном состоянии человеческой природы морально необходимых — условий человеческой жизни. Задуманный для утверждения абсолютной божьей правды на земле, утопизм в процессе своего осуществления превращается в дело убийства — в переносном и прямом смысле слова — живого, конкретного, реального человека, в уничтожение самой жизни и, тем самым, всякой возможности ее морального совершенствования.

Согласно глубокой и верной христианской идее, человек подчинен «миру», т. е. космическим условиям своего бытия в меру своей собственной греховности, т. е. своего внутреннего несовершенства. Освобождение от этой зависимости возможно только в порядке внутреннего духовно-нравственного совершенствования человека, а никак не через какие-либо внезапные, механически действующие перемены внешнего по-

рядка человеческой жизни. Дело совершенствования человеческой жизни есть дело свободного воспитания и самовоспитания человеческого духа, его внутреннего просветления благодатными силами. Общественные реформы нужны и осмыслены только именно в этом же порядке, т. е. поскольку они создают лучшие условия для этого дела свободного внутреннего духовного перевоспитания человека; но для того, чтобы исполнить эту свою функцию, они должны считаться с реальным состоянием человека, а не быть замыслом насильственной его перемены.

В истории русской мысли 19-го века есть, можно сказать, классический образец глубокого и нравственного ума, в результате трагического жизненно-политического опыта дошедшего до этого сознания — образец умственной и нравственной эволюции, прямо противоположный приведенной выше, внутренне-противоречивой диалектике идей Белинского. Герцен в «Письмах к старому товарищу» которые могут почитаться его политическим завещанием, говорит, критикуя утопический замысел социальной революции: «Разрушь буржуазный мир: из развалин, из моря крови — возникнет все тот же буржуазный мир». Революционер и социалист, Герцен, к тому же человек исторически образованный, конечно, хорошо знал, что «буржуазный мир» не вечен, а есть только историческое явление. Но он понял, что этот порядок общежития определен неким духовным состоянием человеческой природы и потому не может быть уничтожен насильственным переворотом. И потому он с гордостью истинно свободного ума прибавляет: «Я не боюсь опошленного слова «постепенность». Он понял вместе с тем основное заблуждение ереси утопизма — замысел осуществить совершенную жизнь «на земле», т. е. в условиях по существу несовершенного состояния мирового бытия. Чуждый всяких религиозных верований, этот независимый ум из простого наблюдения жизни и размышления о ней приходит к тому же осуждению ереси утопизма, которое может найти свое последнее и полное обоснование только в христианском религиозном сознании.

С. Франк

МЕЖДУ ДВУХ ВОЙН

С тех пор, как атомная бомба брошена в Хирошиму, человечество живет в каком-то оцепенении. Победа не принесла с собой радости. Мир оказался тяжелее войны. Его задачи, по существу разрешимые, оказываются не по плечу для мира, безнадежно расколотого между воинствующим фашизмом и безвольной демократией. Для одних борьба, война, революция — естественное состояние, даже более: долг и подвиг. Жертвы не идут в счет для них, люди как муравьи, кровь как вода. Другие настолько подавлены ужасом недавней войны, что не способны поднять и руки для своей защиты. Для одних готовящееся столкновение представляется как торжествующая революция и завоевание мира. Для других как конечное разрушение культуры. Для иных чутких людей так называемый «атомный век» исчисляется несколькими годами. Страшное изобретение это — смертный приговор для человечества, бессильного организовать мир. Мы живем как неизлечимый больной, диагноз которому только что поставлен. Сознание близости конца меняет все отношение к вещам. Пропадает вкус к жизни, к ее вечным, элементарным радостям. Все заволакивается серой дымкой. Люди перестают читать газеты (другие перестали уже давно). Читающие не могут принимать в серьез той трагикомедии, которая, под именем мирных конференций, заседаний UNO, разыгрывается на авансцене истории. Актеры и сами не могут относиться серьезно к своим ролям, не верят ни одному своему слову. За кулисами балаганчика происходит настоящее темное действо: подготовка новой, уже атомной, войны. Тот год, когда одна из военно-фашистских держав изготовит достаточное количество бомб в своих тайных лабораториях, будет концом нашей цивилизации. Вероятно, и нашей жизни.

А между тем — даже странно думать об этом — еще не все погибло. Судьбе угодно было, чтобы страшное оружие смерти оказалось на короткое время в руках миролюбивой и свободолюбивой страны. Оно могло бы сделать ее распорядительницей и устроительницей мира к его счастью и спасению. Для этого она должна лишь обладать зрением и волей. Пока что, мы видим, что ее духовные вожди слепы, а политические — безответственны. Не хотят видеть того, что есть. Живут

иллюзиями давно ушедшего идиллического XIX века. И не хотят взять на себя бремя ответственности, остановить неуклонный скат к бездне. Перестать зарывать голову в песок текущих дел и делишек и принять решение.

Унизительно думать, что мы погибаем от человеческой глупости и трусости. Но нет ли в самой этой ситуации искры надежды? В самом деле, механизм гибели — чисто психологический; в нем нет никакого предопределения, никакой необходимости. Если гибель зависит от сознания и воли людей, то от них же зависит и спасение. Разве не может произойти переворот в сознании: откроются глаза, родится воля, и смертный приговор будет, если не отменен, то отсрочен опять? И от человечества будет зависить, как воспользоваться этой последней отсрочкой.

Для тех, чья воля весит бесконечно мало на весах истории, эти годы «между двух войн» могут, а следовательно должны быть, временем осознания, проверки совести. Есть горькое и не всегда бесплодное утешение в гетевском:

Mir gab ein Gott zu sagen was ich leide.

Если суждено погибнуть, будем знать, по крайней мере, за что. Если спасемся, то не без участия нашей воли и сознания. В старой восточной сказке путник, преследуемый единорогом и повисший над бездной, где его стережет дракон, тянется в последний раз к ягодам на держащем его кусту. Эта притча очень близко напоминает наше положение. Но может быть, путнику было бы лучше сосредоточить весь свой ум и волю, чтобы восторжествовать и над единорогом и над драконом (легко подставить под эти символы современные политические реальности). По крайней мере, в американских романах и не такие положения преодолеваются в «счастливом конце».

***

Легко понять, что не атомная бомба сама по себе грозит разрушением культуры. Атомная бомба — орудие войны. Война или революция — это срывы, провалы общества неспособного организовать свои внешние и внутренние отношения. Другими словами, война, в наши дни ставшая перманентной, есть выражение внутреннего кризиса нашей цивилизации. С этим согласится всякий. Войны прошлых веков, при всем их варварстве, были явления «нормальные» — конечно, в том смысле, в каком нормальны грехи и пороки людей, всегда

смешанные с их доблестями и добродетелями. Соперничество и гордость, борьба за власть, деньги или престиж — это постоянный материал, который очищается и преображается в культуре, подчиняясь социальным нормам, добровольно признанным и укорененным религиозно. Но бывают эпохи, когда разрушаются самые нормы, у исторических деятелей не оказывается никаких правил игры, и тогда первобытный хаос вырывается из подполья, и историк говорит о разложении и гибели культуры. В наше время поразительно обнаженно выступают моральные пружины социального кризиса. Никогда еще техническая и экономическая культура не давала таких возможностей для легкого удовлетворения всех законных потребностей человечества. При данном уровне техники легко накормить, одеть, настроить гигиенические жилища не только для белых рабочих, но и для цветных париев всех континентов. Давно уже сказано, что наш экономический кризис — от изобилия, а не от скудости. Главные социальные проблемы — не проблемы труда, а проблемы досуга. Если же голод по прежнему царит на земле, а миллионы изнемогают от непосильного труда, то это — результат хаоса и неспособности организовать огромные производительные силы. Борьба интересов между нациями, споры за этнографические и стратегические границы — чистый мираж в эпоху обилия и атомной бомбы. Единственно реальные границы народов — это в понимании Пушкина, Гете, Шекспира, Расина и Данте. Но плодотворные и важные проблемы их стилей — а национальные личности суть прежде всего эстетические категории — не решаются и не углубляются путем массового истребления их читателей. На первый взгляд социальные конфликты более реальны, но это лишь на первый взгляд. Не трудно видеть, что не борьба за правильно понятые интересы классов, а ненависть и гордость мешают построению нового общества. Для капиталиста строй экономического самодержавия, который он отождествляет со свободой, есть прежде всего основа власти над людьми, утешение честолюбия, а не источник материальных благ. С другой стороны, все еще не померкшее обаяние коммунизма, конечно, не в том, что он обещает рабочим государственное закрепощение труда, но в том, что он обещает и очень удачно выполняет физическое истребление их врагов. Ради удовольствия поставить к стенке или уложить под нож гильотины классического карикатурного буржуя, более темные или более импульсивные слои пролетариата с энтузиазмом надевают на себя цепи небывалого рабства.

Легко свести все современные мировые конфликты к старой схеме смертных грехов. Но в отличие от прошлых — ко-

нечно, не менее греховных — эпох человечества нами утрачено сознание добра и зла. Нет той омерзительной гнусности — уничтожения пяти или шести миллионов евреев, целых классов в России, — которая не находила бы оправдания, почтительного восхищения, или равнодушия со стороны людей культурных, неглупых и незлых. Они еще не превратились в чудовищ, но у них атрофировалась способность моральных оценок, которая отличает живую личность от живого трупа. Самое редкое чувство, которое можно встретить теперь — это подлинное нравственное негодование. Чаще всего под него гримируется ненависть, и она выдает себя односторонностью своего направления: против Гитлера, против Франко, против Сталина. Своим все прощают. Впрочем, прощают и чужим, когда этого требует выгода или официальные приличия. Каких только грязных и кровавых рук не пожимают люди, еще не утратившие личного стыда, на всяких международных съездах. На этих съездах встречаются политики, у которых нет, кажется, ни одной общей идеи, ни одного общего чувства. При необходимости иметь общий язык, пользуются трафаретами XIX века, в которые не верит большая часть собеседников. Одни лгут бесстыдно в глаза, другие лицемерно принимают ложь противников за чистую монету. Это называется соглашением. Самое тяжелое в духовном воздухе современности это всепроникающая ложь. Она с необходимостью рождается из гибели ценностей, из утраты общей меры оценок, которая лежит в основе всякой культуры.

Кризис гибели или кризис роста? Невозможно забывать об этой альтернативе; иначе неизбежно скатишься в правую или левую пропасть фашизма. Разложение, гибель старых ценностей весьма часто сопровождают в истории рождение новой культуры. В скаредной экономии «прогресса» новое почти всегда покупается за счет старого. То равенство за счет свободы, то свобода за счет равенства; пространство за счет линии, линия за счет пространства... По счастью, это происходит не так, как хочется сторонникам интегральных революций: старое не истребляется и не выкорчевывается до конца. Прогресс был бы немыслим, если бы каждая революция начисто уничтожала все, что сделано ее предшественницей. В перманентной революции человек оставался бы вечно полуобезьяной. Да и революция — термин мало пригодный для характеристики исторических движений. Революция, переворот, разрыв, ломка — механические термины, которые, в

применении к органическим процессам означают ненормальное, болезненное состояние, угрожающее смертью. Революции приемлемы лишь как частичные болезненные явления, заживляемые здоровыми силами социального организма. Заживляемые — но не всегда. Франции так и не удалось, за полтораста лет, залечить социальных и духовных ран, нанесенных ей революцией. Основная линия истории — это накопление ценностей, а не их разрушение; преемство, а не прерыв; традиция, а не революция. Частичное сохранение феодализма в Англии объясняет многое в жизненности ее демократии; тоталитарная выкорчевка феодализма в России порождает как ее самодержавие, так и сталинизм. Но, конечно, верно, что всякое движение в нашем падшем мире означает разлуку, всякое обогащение сознания в падшем времени означает частичное забвение. Даже в мирные, органические эпохи старик, уходящий из жизни, видит то, чего не видят его дети (но что увидят внуки): как много правды и прелести исчезло за его недолгие годы. В этом видении его правда. Но эта же правда мешает ему видеть правду новой жизни, в которой он чужой. Нельзя встать безусловно на сторону врагов Петра, даже признавая (или идеализируя) красоту древнего русского быта. Слишком явны культурные плоды новой, императорской России. Нельзя оплакивать отмену крепостного права, хотя именно на нем выросла изумительная дворянская культура, великая литература и искусство, выше которых ничего не создавала Россия. Современнику, застигнутому исторической катастрофой, не может быть ясно ее значение: смерть или рождение новой жизни? Вопрос решается не тем, лучше ли, теоретически, новые, рождающиеся ценности старых, умирающих. Вопрос в том, может ли их вместить старая культура, не захирев или не рухнув. Вопрос в том, умирают ли вторичные, заместимые ценности или те, коренные, из которых вырастала и на которых держалась старая культура. Мы имеем в истории примеры тех и других революций. Перелом от средневековья к эпохе гуманизма, от древней Руси к Империи сопровождался безжалостной гибелью нравственных и художественных ценностей. Можно было сомневаться устоит ли сама жизнь, можно было увидеть — в папе, в царе — Антихриста. Но жизнь устояла, потому что не погибло христианство, тысячу лет питавшее культуру, хотя церковь, и католическая и православная, понесла тяжелые потери. Однако, античный Рим не пережил падения старых богов. Новая религия оказалась бессильной влить новые, с о ц и а л ь н ы е энергии в расслабленный организм. Древняя цивилизация умерла, хотя и не бесследно.

Теперь принято среди ученых подчеркивать непрерывность развития от древнего мира к средневековью; среди профанов — беспечно скользить над пропастью столетий к новому расцвету. Стоит ли плакать о разрушенной Олимпии, когда впереди шартрский собор, парижский Нотр-Дам? Я принадлежу к тем, кто предпочитает Нотр-Дам Парфенону. Но я не могу забыть, что между ними лежат века, — точнее полтора тысячелетия — сначала медленного замирания культуры, потом дикого варварства, озверения, невежества — всего того, что покрывается красноречивым именем Dark Ages, темных веков, хотя и прорезанных лучами святости. Представьте конкретно эти века перед нами, и потом скажите, примирят ли вас будущие соборы или народные дворцы тридцатого столетия с гибелью старой любимой Европы и России.

Гибель древней Атлантиды не единичное явление. Все известные нам цивилизации погибли или погибают на наших глазах, прожив два-три, а то и одно тысячелетие. Но нам, конечно, известно и множество спасительных кризисов, болезней «не к смерти, а к славе», которыми особенно богата наша динамическая, «фаустовская» цивилизация. К какому типу катастроф относится переживаемая нами? Этого не дано знать никому из ее очевидцев и участников. Это тайна не «железных законов» истории, не Божия предопределения, а человеческой свободы. Если в буре, разрушающей старое, устоят и окрепнут самые последние твердыни, то снова зазеленеет обновленное дерево культуры. Если рухнут или раскрошатся они, человек надолго вернется в леса и пещеры, к луку и кремню.

***

Многое, слишком многое оправдывало бы пессимистический взгляд на современный кризис, как на падение европейской (христианской) цивилизации. Выветривание религиозных верований в широких массах, уничтожение общего этического мерила, варваризация искусства, рост невежества во всех слоях общества. На этой канве легко вышивать узоры. Сейчас у меня нет для этого ни времени ни охоты. Отмечу лишь утрату у современного культурного человека веры в свои ценности, которая заставляет его искать идеала вне его сферы культуры: в Москве, в Азии, в Мексике, в тропической Африке... В самоубийственном смирении — искусство Европы учится у негров. В школе происходит непрерывный процесс диссоциации, отрыва юных сознаний от культурных традиций: истории,

литературы прошлых времен. Детективный роман вытесняет Толстого, Дикенса, Флобера. Распад научного синтеза делает невозможным появление универсальных умов, которые осмыслили бы в целостной системе бесконечное множество фактов и гипотез. Самые мощные политические движения современности пользуются не научным методом, а социальными мифами. «Протоколы сионских мудрецов», в научном смысле, стоят коммунистического (только ли?) представления, что мир управляется банкирами, которые устраивают войны... Замечательно, что регрессивное движение почти во всех странах протекает под самыми передовыми лозунгами: нового искусства, прогрессивной школы, «либеральной» политики. Защита культуры, свободы, человечности становится консервативным делом. Но это компрометирует ее. Печать викторианства лежит на защитниках свободы. Да и по возрасту настоящие либералы встречаются чаще всего среди стариков. Здесь мы подходим к самой ключевой проблеме нашей эпохи, которой имя — фашизм.

От правильного понимания фашизма зависят и меры борьбы с ним и надежды на его преодоление. Американцы, которые взялись за искоренение фашизма в Германии, не имеют никаких шансов на успех, потому что им непонятна его природа: они живут в самосознании XIX века. Фашизм есть болезнь современного человека, и только через понимание современности удается подойти к нему.

Безнадежны попытки истолковать фашизм, как классовое движение буржуазии. Неправильно понимание его, как голой реакции, как обороны отсталых слоев против прогресса. Фашизм приходит и справа и слева. Я считаю коммунизм одной из форм фашизма. Фашизм, конечно, реакция против XIX века и гуманизма вообще. Но это реакция, приходящая через революцию. В своем сознании он строит новый мир на развалинах старого. Быть может, лучший ключ к фашизму дает его возрастная оценка. Фашизм есть движение молодежи. Недаром его итальянский гимн — Giovinezza. Сейчас в Германии наиболее упорные нацисты — остатки Hitler Jugend. И не только потому, что им хорошо забили головы в школе и лагерях. Было, вероятно что-то такое в нацистской доктрине, что удовлетворяло молодежь более, чем все буржуазные и социалистические течения. К тому же наблюдению можно подойти и с другой стороны. Если взять три страны, где фашизм получил свое классическое развитие: Италию, Германию и Россию, то нельзя не видеть общие черты в их дореволюционной культуре. То были страны «передовые» в смысле влечения к последним словам культуры. Футуризм был провозглашен в Ита-

лии и дал настоящих поэтов в России. Германия тоже была страной передового искусства. Фашизм это «передовое», последнее слово политической культуры Европы в ее упадке. Наибольший иммунитет к нему сохраняют страны духовно консервативные, прежде всего Англия. Если дорога истории идет к пропасти, то передовые ездоки первые и сваливаются в нее. Те, кто оказываются позади, имеют шансы уцелеть и свернуть на другой путь.

Но фашизм не просто бездна, то-есть пустое место или чистое зло. Он не мог бы увлекать молодежь и целые народы, если бы в нем не заключались и элементы положительных ценностей. Да и мы сами, то-есть многие из нас, стараемся отыскивать положительные черты в жизни советской молодежи и в советской литературе. Приблизительно то же самое можно найти и в Германии и в Италии. Важно не только то, что зло в чистом виде существовать не может, что оно всегда паразитирует на каком-либо добре. Важно то, какие именно положительные ценности увлекают передовые народы и возрастные группы, ибо в этом указание и нашего собственного пути.

Если исходить из предпосылки, что мы переживаем кризис роста, а не гибели, то надо искать в современности, в хаосе и борьбе противодействующих сил, те, что указывают путь к будущему. Фашизм есть ложный путь — прежде всего потому, что культуры нельзя построить на тех жалких схемах, которые он кладет в основу общества будущего. Фашизм есть ложный ответ на вопрос, поставленный историей. Он прав в своей проблематике, в своей критике старого общества. И мы должны видеть эту правду.

Защищая индетерминизм, свободу в историческом процессе, мы видим и ее границы. Мы ощущаем огромную тяжесть и косность истории, как в ее покое, так и в движении. Историю нельзя поворотить в л ю б о м направлении. Но на распутьи, на перевале можно организованными усилиями или гениальной интуицией сообщить добавочную силу одной из противодействующих энергий. Культура будущего провидится в настоящем, но не в одном, а в нескольких вариантах. Наш вариант — гуманизм и свобода. Он не может победить, если мы встанем просто грудью против катящейся лавины, и на каждое утверждение фашизма ответим отрицанием. В этой позе есть нечто героическое, но безнадежное. Она вполне допустима для одинокого мыслителя, но не для общественного деятеля. Политически и социально ориентированный мыслитель ищет рычагов, приводящих в движение действитель-

ность, и здесь он должен считаться с живой силой движущейся исторической массы и ее направлением. Вопрос только в том, сможет ли он сочетать, подчиняя ее, слепую силу данного движения со своими идеалами. Попробуем рассмотреть те положительные элементы фашистских систем, которые могут быть и нашими путеводными вехами.

Одна из характерных черт фашизма, отличающая его от старых, военно-полицейских диктатур, есть его идеологическая тоталитарность. Фашизм исповедует свою философию, свою науку, свою догму — в каждой стране различные, но всюду требующие безоговорочного признания. Для защитников свободной культуры, даже культуры вообще, эта духовная тоталитарность — главное зло фашистской системы. Но, несомненно, она является притягательной силой и для молодежи и для масс, жаждущих прямого и цельного ответа на все вопросы жизни. Здоровый, цельный человек не может жить в духовной анархии, когда на каждый проклятый вопрос от духовных вождей, жрецов науки, лучших мыслителей он слышит одно «не знаю». Или «каждому свое». Не может существовать и культура, растерявшая всю общность оценок. Уже давно, из глубин XIX века, доносится стон художников об утрате общего стиля. Искусство не может жить, если каждый творец и работник должен для себя создавать свой собственный стиль, свое художественное миросозерцание. Не может быть общественной школы, если все учителя противоречат друг другу, или даже если противоположные системы воспитания, этики, философии сосуществуют в борьбе организованных школьных систем. За последние два столетия мы привыкли к тому, что в нашем обществе мирно уживаются различные религии, философии, партии и политические доктрины. И, конечно, в терпимости, увы, далеко не всеобщей, мы справедливо видим одно из главных завоеваний разума и совести. Мы убедились, что христиане и атеисты могут работать рука об руку в культурном деле. Но забываем часто об одном. Эта возможность существует до известной черты. И эта черта проходит там, где начинается сфера этики, точнее социальной этики. Сотрудничество атеистов с христианами было возможно потому, что атеисты сохраняли, если не целиком, то в значительной доле, христианскую этику, как основу общественности. Они пытались обосновать ее на науке, на истории, на чем-угодно, только не на религии. Но они были

согласны с христианами, что общество должно строиться на справедливости, на альтруизме и даже на сострадании к слабым. Вся так называемая «социальная» работа демократических стран вдохновлена, прямо или косвенно, идеалами Нагорной проповеди. Но настало время, когда «передовые» умы — Ничше, Маркс, Горький, декаденты — восстали против сострадания. «Падающего толкни». Поэты, вместо жалости к жертвам, стали переживать садистские восторги палача. Наконец, пришли социальные пророки, в России и Германии, которые стали проповедывать убийство миллионов для счастия или могущества народа. И массы шли за ними.

В демократии не может быть места для партии, которая открыто требует истребления евреев или негров, — с этим все согласны в демократическом лагере (на счет помещиков и даже крестьян уже согласия нет). Но какие убедительные доводы могут быть противопоставлены убийцам, если утрачена общая нравственная почва?

Перед демократической культурой стоит задача необычайной трудности: найти общий язык, общую веру, не прибегая к насилию в духовной борьбе. С насилием демократия перестает быть сама собой, создавая все новые формы — например, христианские или масонские — того же тоталитарного фашизма. У нас только одно оружие — слово, и это великая сила, если за ним стоит целостное убеждение. Цель наша не в том, чтобы уничтожить все ереси, даже очень опасные, но в том, чтобы обеспечить истине господство в сознании большинства и в организованной общественной жизни. Было спокойное, праздное время, когда считалось, что культура красна многообразием мнений и что вопрос об истине — во всяком случае, абсолютной Истине — неуместен. Демократию отожествляли с релятивизмом. Повторяли и повторяют еще роковые слова Лессингова Натана о предпочтительности искания истины ее обладанию. В этом афоризме ключ к нашей гибели. Нельзя искать истины, если не хочешь обладать ею. Скептицизм есть состояние обреченных классов или обществ — он не пригоден для тех, кто еще не проклял жизни.

Все великие культуры прошлого покоились на общности миросозерцания. Это не исключало борьбы идей внутри их. Борьба, необходимое условие творчества и движения, шла вокруг частных, хоть и важных проблем. Спорящие принадлежали к общей духовной семье. Соединяющее их было важнее того, что разъединяло. Был общий язык и возможность частичной рецепции неправоверных взглядов господствующим большинством. Были, конечно, и такие меньшинства — прежде

всего религиозные, — которые не участвовали в общей жизни, но они поэтому и не представляли опасности для целого. Костры инквизиции были преступлением, не вызываемым необходимостью.

На рубеже двадцатого столетия, в зените скептического века, мы думали, что этот общий закон культуры — единство в многообразии — не относится к нам; что наша демократия может построить общество из одних противоречий. Мы ошибались. На наших глазах, общество рушится, лишенное духовного единства. Из его обломков, как материалов, варвары пытаются строить жалкие бараки, но по определенному плану. Их потребность в плане, в единстве вполне законна. Но их истина так скудна, что ничем не отличается от лжи: именно поэтому она может быть вбита в головы только насилием.

Мы должны обладать истиной всеобъемлющей, универсальной, которая вместила бы все частные истины. Тогда она не будет нуждаться в насилии для своего признания. Но, конечно, она может победить лишь в борьбе против лжи во всех ее разновидностях. Путь к единству идет через разделение, к миру через войну. Только в этой борьбе нельзя забывать о свободе, которая дана не для одной истины, но и для лжи. В этом главная жизненная трудность нашего стана. Легко сочетать свободу с безверием, насилие с догматизмом. Свободная вера, даже свободный догмат есть все еще вечное задание для общества, желающего утвердить себя на христианских началах.

Все фашистские движения социальны. Ни одно из них не защищает капитализма, а в обличении зол существующего хозяйствеаного строя они не уступают социалистам. Можно было бы прямо определить фашизм, как одну из форм социализма, в добавление к указанным в Коммунистическом Манифесте: как социализм тоталитарный, революционный, хотя и не классовый. И в этой социальной установке, как и в национальной, фашизм почерпает свою силу. Здесь он отвечает также на один из самых мучительных вопросов современности. И здесь ответ ложен, потому что связан с тоталитарной политикой. Но мы хорошо сделаем, если прислушаемся к его ответу.

Впрочем, не стоит ломиться в открытые двери. Мы живем в перманентном социальном кризисе; я не боюсь сказать, социальной революции, хоть есть люди, которые считают этот

кризис преходящим. Поклонники советского фашизма видят заслугу Москвы в том, что она поставила перед миром социальный вопрос. В действительности, он поставлен был непрерывным экономическим кризисом, открывшимся после первой войны, во всей остроте с тридцатых годов. Роль ленинской революции была скорее отрицательной. Она вызвала к жизни все виды западного фашизма для обороны — не капитализма, а национальной государственности. Создав пугало из социализма, она скорее помешала постановке социальных опытов на Западе. Попутчики коммунизма долго были не в силах перевесить страх, вполне законный, буржуазных и крестьянских классов. Только вторая война сломила их сопротивление.

Социализм в наши дни не фантазия утопистов, и не только веление нравственного сознания: это жизненная необходимость для общества, дошедшего до предела экономического хаоса; разумеется, если под социализмом понимать не огосударствление всего хозяйства, а урегулирование, не предрешая его форм. Одно из бесспорных завоеваний социализма это перелом в экономическом сознании всего «буржуазного» общества. Теперь никто не оспаривает, что хозяйство существует не в частных интересах предпринимателей, а ради удовлетворения общественных потребностей. Некогда священные формы собственности и прибыли должны склониться перед человеком и его нуждами.

К сожалению, американский капитализм, в сознании своих огромных, монопольных возможностей, не хочет уступать. Перед ним еще несколько лет мирового господства, и ради них он готов рискнуть гражданской войной. В идеологии американской интеллигенции эта ситуация сказывается злосчастным смешением капитализма и свободы. Их союз, в прошлом бесспорный и подаривший миру много ценных правовых институтов, теперь расторгается историей. Для свободы надо искать иных более серьезных гарантий, чем свободная конкуренция.

Нельзя, конечно, закрывать глаза и на опасности, которые несет свободе не только коммуно-фашизм, но и вульгарный социализм отсталых доктринеров. Если под социализмом понимать всеобщее огосударствление, то, вероятно, что при нынешнем моральном уровне человечества такой социализм, действительно, означает всеобщее рабство. Экономическая зависимость от единого и всемогущего хозяина-государства отнимает у рабочего, то есть у всякого гражданина, и свободу политическую и свободу духовную. Те, кто, как Н. А. Бердяев, считают возможным расцвет духовной свободы на экономическом рабстве, просто не считаются с человеческой природой. Для социальной демократии необходимо сохранение

свободы в самом производственном процессе, не сокращение, а расширение творческих элементов труда, а, как ее гарантия, непременный плюрализм хозяйственной организации.

Но социальная тема нашего времени имеет и другой, не экономический аспект. Последние века буржуазного — или шире, индивидуалистического — общества, выросшего из культуры Ренессанса, поставили личность на край гибели. Она потеряла одну за другой почти все формы союзности, в которых находила духовное питание и тепло. Обездушены классовые и профессиональные ячейки, распадается семья, пустеет Церковь. Остается одно безличное чудовище государства, которое, вчера равнодушное к личности, сегодня становится ее тираном. Оставшись без Бога и даже без товарищей по страданиям, одинокая личность делается добычей отчаяния. Современное искусство именно и выражает это отчаяние одиночества.

Фашизм учитывает этот социальный голод и снова включает личность в коллектив. В партии, союзах молодежи личность может забыть о своих проклятых вопросах, о смысле жизни и смерти, в общей работе, в общей борьбе. Зависть опустошенных душ к этой коллективной жизни лежит в корне почти всякого буржуазного попутчичества. И в юношеских организациях, в комсомоле и Hitler Jugend, действительно, расцветают товарищество, основанное на вере в идеал, и общая жизнь. Но партии фашизма безжалостны и бездушны. Они высасывают всю кровь и все нравственные силы из подростающих поколений, а потом выбрасывают их в мусорную яму. И здесь фашизм дает лишь призрачное утоление реальному голоду.

Скаутизм буржуазных стран дает молодежи не больше, а меньше, чем комсомол. К тому же это парамилитарная форма организации, созданная военными и для военного воспитания. Она мало пригодна для воспитания демократического, ориентированного на мир и труд. Но в наш железный век, когда демократия живет все время «между войнами», она не может отказываться и от этой организации, готовящей воинов.

Более цельную, полную жизнь ведут скауты религиозных организаций. Товарищество осмысленно и согрето здесь общей верой и общим идеалом. Это указывает, что новая и подлинная социальность может расцвести лишь на религиозной почве. Замечательно, что в современном религиозном возрождении особенно жизненными оказываются движения, выросшие на почве исторических церквей, а не личных религиозных исканий. Современный человек жаждет не только истины, но истины, социально утверждаемой. Все оглядки на мудрость

востока, на религии Индии обречены поэтому на бесплодие. Они могут дать удовлетворение отдельным томящимся душам, но не могут оплодотворить нашей культуры.

***

Демократия больна безволием. Фашизм полон кипучей энергии. Убивая критический разум и нравственное чувство, он культивирует волю всеми средствами государственной техники: воспитанием, спортом, военно-лагерным бытом. Ему нужна лишь согласная, покорная воля, но это все же воля. Воля без разума и совести — ужасная и злая сила. Но что значат разум и совесть без воли?

Древние греки и христианские мистики утверждали примат созерцания над деятельной жизнью. Многое можно сказать в защиту этой иерархии ценностей. Высочайшие достижения культуры относятся к сфере созерцания — активного созерцания. Но бывают эпохи, когда практика, в самом грубом смысле слова, заполоняет все поле жизни и сознания. Пусть проблемы организации хозяйства и политической жизни не обладают духовным первородством. Это плебеи в царстве культуры. Но без их немедленного решения нельзя ступить и шага ввысь. Больного человека надо вылечить, голодного накормить прежде, чем говорить ему о теологии или проблемах физики.

Разумеется, это сознание и соответствующая ему окраска воли живет и в демократическом, особенно американском, обществе. С некоторых пор «динамизм» вошел в ходячий лексикон англосаксов. Волю воспитывают и в комнатных упражнениях — даже по системе иогов — и в коллективах скаутизма и спорта. Может показаться даже, что в Америке, подобно фашистским странам, воля получили уродливое преобладание над другими сторонами личности: разумной и моральной. Но это относится к низшим, в сущности телесным проявлениям воли. Почему в американской политике так мало динамизма? Люди мужественные, умеющие рисковать своей жизнью, проявляют крайнюю робость, подходя к основным вопросам общественной и международной жизни. Здесь их политика сводится к поиску компромисса между враждующими силами. А так как эти силы, как правило, фашистские или фашистски-ориентированные, то политика демократии чаще всего является попытками примирения с господствующим, правым или левым, фашизмом, то есть не выходит из зоны политического зла.

Политикам демократии не хватает воли, в смысле способности бороться за свой собственный путь. Они боятся риска и ответственности, без которых не может быть победы. Это, конечно, связано с тем, что у них нет той яркой цели движения, той Vision, которой сильны их враги. Болезнь политической воли есть производная функция от миросозерцательной пустоты, в которой они живут. Вот почему, будучи сильнее врагов, они не умеют ни сконцентрировать своих сил, ни направить их в действие, полезное действие сегодняшнего дня, в ожидании той новой катастрофы, которая опять подымет их — не слишком ли поздно? — на мимолетную высоту.

Фашизм, несомненно, обязан своими успехами национализму, на почве которого он первоначально вырастает. Но мы не рекомендуем демократиии учиться у фашизма любви к родине, расе или нации. Как ни законны, с известными ограничениями, национальные чувства, их политическое значение в наше время чисто отрицательно. Все, что безнадежно и принципиально разъединяет людей, должно отойти на задний план в эпоху построения общечеловеческого единства. В атомный век суверенное государство существовать не может. Политические и экономические связи переросли национальные границы, обособились от содержания национальных культур. Национальность сохраняет свое значение в мире духовных ценностей, но устраняется из мира политических реальностей. Мы знаем, что она не хочет уходить, что в мире повсюду клокочет национальная ненависть. Осенние мухи больно кусаются. Лишенный ныне творческих, положительных элементов, сделавшись органом разрушительных, часто прямо демонических, сил, национализм подлежит обузданию. Если он не подчинится, его ожидает повсюду судьба Германии и Японии. Быть может, он и одолеет, но его торжество будет гибелью для человечества.

Итак, исключаем национализм из числа фашистских добродетелей, спасительных для демократии. Остаются три: цельное мировоззрение, социальная ориентировка, этический динамизм — вот что составляет силу фашизма, и отсутствие чего губит демократию. Признавая все это, не делаем ли мы слишком много уступок фашизму, не ослабляем ли этим волю к борьбе с ним? Нет, вышеизложенные мысли продиктованы чувством непримиримости. Положительные качества фашизма делают его только злее и опаснее. Хорошо обладать цельным мировоззрением. Но если это мировоззрение в корне ложное,

извращенное и злое, то сила и организованность делают его еще отвратительнее. Вооруженный бандит опаснее диллетанта с финским ножом и ничуть не привлекательнее. А учиться у врагов есть настоящий метод военной стратегии — впрочем, не только военной. «Слуги монархии не краснобаи», говорил Лассаль, призывая рабочих учиться у реакции политическому реализму. Но был и Другой, побольше его, который сказал: «Сыны века догадливее сынов света в своем роде» (Лк. 16, 8).

Было-бы тяжкой ошибкой, отталкиваясь от фашизма на все его «да» говорить «нет». На этот путь толкают консервативные защитники буржуазной культуры. Одни хотят видеть сущность демократии в духе релятивизма, другие в экономическом и культурном индивидуализме. Это как раз те яды, от которых старое общество погибает. Надо уметь различать свободу критического разума от духовного нигилизма, для которого все сводится к игре ума. Не посягая на свободу — и заблуждения и зла — надо воспитывать себя и других в нелегкой науке разумного пользования свободой. Главное, надо любить истину и верить, что она доступна человеку. Только тот, кто обладает этой верой, может строить жизнь.

Надо охранять личность от тиранических покушений на нее со стороны государства и всех вообще коллективов. Но надо отличать ее священное ядро — разумную, нравственную, творческую личность от особи, от индивида, носителя животного эгоизма, который находится в вечной борьбе за собственность и власть с себе подобными. Наша экономика, техника, гигиена тела и духа постоянно требуют ограничения частных эгоизмов, капризов, страстей во имя общего блага. Борьба с заразными болезнями, бандитизмом, порнографией, духом наживы и спекуляции не затрагивает личности, но может стеснять отдельных субъектов или лиц. Не всегда можно провести черту, отделяющую эти две сферы: искусство от порнографии, любовь от разврата, хозяйственную инициативу от спекуляции. Различие познается только в опыте. Демократия пока идет ощупью. Несомненно, что новое общество, если удастся построить его, будет упорядоченнее, строже, чем было общество XIX века. Но если в этом неизбежном и благом возвращении к порядку («Ordre Nouveau») будет ущемлена правая свобода, то никакие культурные достижения не искупят нанесенного ущерба. Русский философский язык выработал терминологическое различение, которое, к сожалению, отсутствует в английском. Мы отрицаем индивидуализм, как неограниченное утверждение особей, но защищаем персонализм, как культуру и свободу личности.

Г. Федотов

ОБЩЕСТВО БЛАГОРОДНЫХ

(Письмо о социализме)

На страницах «Новой России»» в Париже почти семь лет тому назад завязалась, и в самом начале оборвалась событиями войны, дискуссия о социализме.

Тема не устарела с тех пор, а наоборот приобрела, в наши послевоенные дни, особенно острую актуальность. Не потеряло, думается мне, актуальности и то, что мы тогда на эту тему говорили. Возвращаясь к теме, я позволяю себе, поэтому, вернуться и к содержанию нашего разговора — к «Письмам о социализме», как озаглавил тогда свою вступительную заметку Г. П. Федотов, присоединить и это, лишь хронологически, надеюсь, запоздавшее письмо.

I.

«Вера в общество благородных». — От этого определения социализма я не отказываюсь и теперь. Почему вера? Потому, что именно пафос верующего отличает социалиста от всякого другого сторонника социальных реформ. Что моя формула понимает под «обществом»? Приблизительно то, что у нас в России противопоставлялось под этим именем «правительству» — независимая от государственного давления общественная самодеятельность. Что она понимает под «благородством»? Все в человеке свободно-волевое и гражданственное (в Аристотелевском значении «зоон политикон») — все противоположное бестиальному, стадному, неволевому. Благородная полнота человеческой личности предполагает пронизанность индивидуально-личной воли человека коллективно-личной или «общей» волей. В этом смысле идеально-благородное общество есть *идеально осуществленная демократия*.

Вот возражения, которые мне сделал тогда Г. П. Федотов: *Первое*: Под мое определение социализма подходит всякая христианская культура вообще — формула лишена содержания. *Второе*: Защищая свободу хозяйства, я защищаю существующий хозяйственный строй, т. е. капитализм. Своей обобщающей формулы социализма Г. П.

Федотов тогда не дал, но предложил, «в порядке дискуссии», три следующих признака социализма: управляемое (плановое) хозяйство, внерыночное распределение продуктов и «внеклассовость» в смысле одноярусности культуры, исчезновения грани между «мы» и «они».

Выходит, что мы говорили о разном, и оба могли оказаться таким образом и неправыми и правыми. Г. П. Федотов давал набросок примерной программы социалистической партии, а я ставил вопрос о «душе» социализма — о том, без чего никакая программа, самая лучшая политически и технически, социалистической еще не является. В частности против программы Г. П. Федотова с социалистической точки зрения ничего возразить нельзя, но сама по себе, без специальной поправки на что-то, является ли она социалистической? Что *не является*, это явствует из следующего бесспорного факта: все три признака, с максимальной, до сих пор достигавшейся, полнотой, были осуществлены в Советской России. Можно ли, однако, хотя бы с какими угодно оговорками, назвать ее социалистической? О плановости не стоит и говорить: со сталинских «пятилеток в три года» и в Европе-то, в сущности, «все началось». Было испробовано в Советской России (до сих пор только там) и внерыночное распределение продуктов — система бесплатных казенных пайков. — Неудачно, правда, испробована; не всерьез и не надолго; но самый завет внерыночности и после смерти Ильича не был из советской практики окончательно исключен. Внеклассовость? Да где же и искать ее, если не в пооктябрьской России? Классы, там, конечно, не уничтожены: от «знатного» коммуниста до беспартийной шпаны дистанция большого размера; но не о классах «классических», так сказать, идет у нас речь; речь идет о культурных «ярусах». Одноярусность же в Советской России достигнута в размерах почти идеальных. От «Его Превосходительства» полпреда до ничтожного пролетария, от всероссийского старосты и самого генералиссимуса до любого «веселящегося» на радость им обывателя — сплошь либо парни «глубоко свои», либо «на весь палец» освоенные, — допущенные в хорошее, пролетарское общество «мы». Безусый юнец, первокурсник Вуза, почти еще и Маркса не нюхавший, и старый партиец, прошедший все стажи, давно проработавший «в доску» «три тома» и «полное собрание сочинений», конечно не в меньшей, а в большей степени люди «того же круга», чем были в буржуазном обществе маститый ученый и начинающий студент... Есть там, конечно, и не допущенные пока в хорошее общество буржуи, «они», но удельный вес этих, чудом «не дорезанных», в советском жизненном стиле

так ничтожен, что при общей характеристике их, без ущерба для правды, можно в расчет и не принимать... И вот, в результате всех этих успехов «социализма», никакого, хотя бы «подмоченного», социализма в СССР, разумеется, нет: там перед нами самый несомненный государственный капитализм, если не, как выразился в одной из своих статей Б. И. Николаевский, «нечто капитализма во много раз худшее».

Недоказательно и то, что все три, предложенные Г. П. Федотовым, признака, уже в неподмоченном виде, включены в социалистические программы западных партий. Многое, ведь, входило и входит в них, явно не являющееся знаками социализма. Рациональная организация армии, например (из недавнего прошлого вспомним «Новую Армию» Жореса), а уж войны-то, конечно, не дело социализма. Или та же национализация важнейших отраслей народного хозяйства. На ней всюду сейчас (и в Англии, и во Франции) больше всех настаивают именно социалисты, а сам же Г. П. Федотов писал на страницах «Новой России»: «Немногие социалисты согласятся в наши дни определять социализм, как национализацию».

«Не то, скажут, с рационализацией хозяйства: от нее-то уж социалисты не откажутся никогда!». Уж будто бы никогда? Сейчас, когда мы вступили в ту новую фазу индустриализма, которую удачно именуют иногда «административной», при которой коммерсант оттесняет на второй план самого инженера, и бюро «входит в тело» за счет мастерской, — сейчас, конечно, возможность такого отказа представить себе нелегко. Но пройдут года; изменится то, что любили когда-то называть «уровнем производительных сил» и как знать, вместо государственной плановости социалистические программы заговорят, быть может, о вольном хозяйстве. Никакой принципиальной связанности у социализма с рационализацией во всяком случае нет, и уж если какой-либо «золотой век впереди» взору социализма предносится, то это никак уже не коммунистический век любовно всех опекающего, все просвещенно и мудро взвесившего и предусмотревшего государства.

Ни за один из параграфов программы социализма нельзя вообще поручиться, что в одно прекрасное утро, в какое-то историческое завтра, «признак» выражаемый им не полетит — вслед за «диктатурой пролетариата» и «национализацией средств производства» — в политическую корзину. Уложить социализм (да и не один социализм) в программу нельзя. Жизнь все время пересматривает программу. Старые лозунги становятся устарелыми, боевые слова теряют силу и действенность. Они сохраняют ее, пока на них горит отблеск чего-то, что, и несомое в потоке жизни, пребывает равным себе, —

той «неизменной черты явления», как удачно выразился на тех же страницах «Новой России» П. Берлин, которая составляет органическую сердцевину всех нанизывающихся на нее преходящих «признаков». Через нее устанавливается их органическая непрерывность и выявляется постоянная реальность и постоянная ценность самого явления. Теряя связь с неизменной чертой слово постепенно лишается реального содержания, превращаясь в «словесный хлам». Такими опустошенными, оторванными от жизни, словами полна политическая современность. На них воздвиглись и воздвигаются все наши идеократии и тоталитарщина. Горе социализму, если и его, полный пока благородного содержания, титул оторвется когда-нибудь от своей неизменной черты.

2.

Возвращусь в двух словах к сделанным мне, во время оно, возражениям.

Первое: «Тогда (т. е. при моей формуле) всякая христианская культура, всякая культура вообще, социалистична?» Вот именно. В этом и состоит моя мысль: социализм, достойный своего имени непременно, и прежде всего, культурен. Подлинная культура (а о христианской и говорить нечего) непременно, в своей глубине, социалистична. Но, конечно, созвучность явлений в каком-то пункте (в данном случае в уважении к человеческой личности) отнюдь не означает их тождества. И конкретное содержание, и задачи, и стиль, и историческая судьба социализма и христианства различны. Формула, выявляющая созвучность социализма христианской культуре, никак не делает ее «бессодержательной».

Второе — свобода хозяйства. «Свобода едина, сказал, и сейчас говорю, я: в замысл социализма вольное хозяйство входит с неменьшим — хочется сказать чуть ли не с большим — правом, чем либеральное государство и социальная демократия».

Только о термине «свобода хозяйства» необходимо предварительно договориться.

Свободой хозяйства называлась когда-то (иногда, оказывается, называется и сейчас) ни законом, ни господствующей моралью не ограниченная возможность эксплоатировать человеческий труд. Такая свобода хозяйства есть, конечно, капитализм, и в самом худшем (моральном) значении слова. Всякая борьба с ней есть, конечно, социализм.

Верните, однако, термину его прямое значение, — то, в каком он фактически и на свет родился на рубеже двух по-

следних столетий, право работника свободно распоряжаться своим трудом (конкретно имелись тогда в виду цехи), и отношение немедленно станет обратным: свобода хозяйства войдет в систему социализма, а путы на нее налагаемые в противоположную систему капитализма. В самом деле, что называть свободой хозяйства: свободу эксплоатации человеческого труда или свободный человеческий труд? Свободу не считаться с человеческими правами работника или свобод' рабочих союзов и коалиций? Свободу хозяина монопольно распоряжаться своим предприятием или свободное участие в его ведéнии всех в нем работающих (промышленная демократия)? Свободу от социального законодательства или свободу этим законодательством огражденную? Стоит поставить себе эти вопросы, чтобы почувствовать сложность содержания понятия и вспомнить, как в течение полутора века оно постепенно осложнялось и углублялось. Память о первоначальном, убогом его содержании до сих пор влияет на наше сознание. Включение в понятие человеческой свободы свободы хозяйства до сих пор способно производить впечатление какой-то «защиты капитализма».

Тут очень полезно вспомнить, что хозяйственные режимы всех, недавних или еще процветающих, фашистских или тоталитарных стран предельно исключают свободу хозяйства и именно на этом основании любят именовать себя анти-капиталистическими и социалистическими. А можем ли мы, с какими угодно оговорками, поправками и ограничениями, признать за ними право на подобное звание? Не являются ли они, и в значительной мере по этому именно признаку, режимами антисоциалистическими и капиталистическими? Да и в нормальных своих формах капитализм, официально признанный всеми как таковой, какая же он арена свободы хозяйства? Неужели таможенные стены, автаркические программы, всесильные тресты, биржевая спекуляция, непрерывно расширяющаяся государственная система хозяйства — да неужели же все это можно называть «свободой» хозяйственного труда и на этом основании отождествлять капитализм с экономической свободой?

Нужно признать вообще, что термин «капитализм», в такой же степени как термин «социализм», сделался расплывчатым, туманным и многозначным: не ухватив и его неизменной черты, было бы лучше, быть может, и вовсе его не употреблять. Легче установить, чем капитализм не является (уже не является), чем что такое он есть. С тех пор, как словосочетание «государственный капитализм» не удивляет уже никого, а социализм перестал быть упразднением частной соб-

ственности, не приходится говорить о капитализме, как системе частно-владельческого хозяйства. Система крупного хозяйства тоже не есть непременно капитализм, с тех пор как, в лице марксизма, ее осознал, как свою, и социализм. Если же капитализм не есть, как мы утверждаем, и свобода хозяйства, то *что же оно есть?*

Тут и другу и недругу капитализма ясно одно: он противоположен социализму, коррелятивен ему, как полюс с обратным знаком, как неразлучная тень. Антиподом социализма он и родился, одновременно с ним на свет. Антиподом остается доселе и только в этой роли может реально быть понят. Пока социализм понимался, как этатизм (это не вполне изжито и сейчас), капитализм был либеральным режимом. Социализм — система социальных реформ; капитализм — система бесстыдной эксплоатации. Социализм — социальная революция; капитализм — социальный застой и т. д. Современный напор на *моральную* сущность социализма (для Г. П. Федотова, и для многих, социализм есть «проблема духовная») внушает понимание и капитализма, как морального климата. На страницах «Новой России» я определил его, в свое время, как «плоскую вульгарность и звериную грубость человеческих отношений». Держусь этого определения и сейчас, и именно под такое определение капитализма подходит прежде всего большевицкий режим. Грубость человеческих отношений присуща капитализму во всех его воплощениях и при всех его толкованиях: не она ли и является его «неизменной чертой»? А если так, то неизменной чертой социализма, как его антипода, является *утонченность и углубленность человеческих отношений*. Снова и снова: социализм есть *Общество благородных*.

3.

К проблеме неизменной черты социализма ближе всего подводит третий из предложенных Г. П. Федотовым признаков — одноярусность культуры, превращение в «мы» всех «они».

Возразить против этой благородной задачи не только социалисту, но и «буржуазному демократу», решительно нечего, и первое мое замечание по поводу нее сводится именно к этому: стремление к одноярусности не есть монополия социализма. Кто же в самом деле, кроме подлинных зубров обскурантизма, возразит теперь против приобщения «народных классов» к высшей культуре? Да оно давно уже фактически и осуществляется. В передовых демократических странах

«хорошее общество» и сейчас открыто для всех. Там большинство и «студентов-первокурсников» и новых «Пастеров» давно уже выходит из народных «низов». Стоит сравнить едва затронутую буржуазной культурой Россию начала прошлого века с современными, вполне уже буржуазными, странами Запада, чтобы увидеть, каких огромных результатов добилось, в смысле одноярусности культуры, как раз буржуазное общество.

Но у социализма и к этой проблеме имеется свой подход, диктуемый идеалом «благородного общества». Исчезновение культурно обиженных и обездоленных групп мыслится им не как превращение вчерашних «пролетариев» и «мужиков» в сегодняшних «буржуев» и «бар», а как решающая человеческая победа и над барством и над мещанством — надо всем, что вульгарно и «подло» (в старо-русском значении слова). Социалистическое общество — не царство вольноотпущенных, не освободившихся еще от «комплекса приниженности» и связанных с ним вульгарных чувств зависти, мелочной подозрительности к высшим, нетерпимости ко всему индивидуальному и независимому, а царство рожденных свободными, свободно идущих за лучшими. Зависть — самое вульгарное из человеческих чувств. Зависть социальная — вульгарнейший из всех видов зависти...

В свете такого подхода к проблеме самый идеал культурной одноярусности формулируется социализмом не совсем обычно, по своему: абсолютная культурная одноярусность, как ни парадоксально это на первый взгляд, не включается в социалистический идеал. Состоящее из одних «мы» общество благородных предполагает в своей среде особый, надъярусный, так сказать, слой духовной аристократии. Без этого слоя, без «духовной власти» лучших, как выражался в начале прошлого века первый основоположник социализма Сэн Симон, победить капитализм до конца невозможно: изгнанный в дверь, он вернется в окно. Так невозможна победа для армии, не имеющей штаба. Абсолютная культурная выравненность, хотя бы приобщением всех к «хорошему обществу», не может ставиться социализмом как совершенная цель, ибо, достигнутая, она с логической неизбежностью приводит к новой «уравниловке», к новому засилию государства, к новым вариациям диктатуры. Горациевское «odi profanum vulgus et arceo»*) к обществу вольных приложимо сугубо. Все, что

*) «Претит мне толпа непосвященных: сторонюсь ее».

создавало и способно было создать среди людей человеческий град, творилось и творится взлетами избранных, духовно свободных от дыханья толпы. Без морально направляющей силы горных вершин, возвышающихся над долинами людской суматохи и шума, не обрести человечеству и, обретя, не сохранить благородного облика.

«Проблема социализма — проблема воспитания», таков сейчас один из общепризнанных почти социалистических лозунгов. И выдвигающие его безусловно правы. Остается уточнить — какого именно воспитания, какою идеальной целью движимого, какими средствами осуществляемого?

Общедоступность и бесплатность низшей, средней, в идеале и высшей школы (у каждого в кармане выпускной диплом университета), преумножение публичных библиотек, театров, музеев, организация разумного досуга и т. д. — программа прекрасная и необходимая. В деле практического ее осуществления социализму по праву принадлежит руководящая роль, но ею (программой) социалистический замысел воспитания себя не исчерпывает. К тоталитарному усовершенствованному «всеобучу» воспитательная программа социализма не сводится. Огромной важности проблема — поднятие низших культурных ярусов до уровня высших — не заслоняет от его взора другой огромной проблемы, органически связанной с первой — проблемы охраны горных вершин, «выращивание», как выразился бы Платон, духовных «стражей» благородного града.

Малейший след сословной — юридической или бытовой — классовости благородным обществом отметается, как пережиток неблагородства, но само благородное общество иллюзорно без горнего, не всем равно доступного, воздуха. Выражаясь упрощенно и фигурально, «классическая гимназия» социалистическому обществу не нужна, в качестве общеобязательной даже вредна, но без классической гимназии само социалистическое общество есть только благочестивый, народолюбивый миф.

4.

Социализм как-то снизился в наши дни, как-то потерял себя. Более или менее смутно это чувствуют все, в ком, среди разлива вульгарной стихии, сохранились крупицы моральной свободы.

Кризис социализма, как проявление общекультурного кризиса нашей эпохи, есть совершенно неоспоримый исторический факт. Вот уже не одно десятилетие, как на нашей, хри-

стианско-европейской, сцене происходит жестокая — на жизнь и на смерть — война классов. Не та разумеется, классовая война, о которой кричали всюду и продолжают кричать эпигоны и прозелиты «социальной революции», не борьба пролетариата с буржуазией, бедняков с кулаками, «социалистов» с «плутократами», не борьба за материальные ценности вообще: классовая борьба наших дней чужда всем перечисленным кличкам и всякой революционной романтике. Она груба и трагична, как сама человеческая история, как голый человеческий факт. Вновь, как в эпоху падения Римской Империи, человечество, в тайниках души, взывает к героям, «спасителям», ищет своих святых. Простая и ясная недавно проблема «мы» и «они»» получает в этой обстановке глубокий, метафизический смысл. В нее, по новому углубленно поставленную, начинают сходиться все современные культурные кризисы; в нее уходит и современная «классовая война».

Конфликт, давно уже назревавший в духовных недрах европейской культуры, со времени открытого в 1917-м году Лениным триумфального шествия по Европе фашизма всех цветов и оттенков, обернулся всеевропейской гражданской войной и черной тучей новых социальных столкновений и сдвигов навис над цивилизованным миром. Не «мы» и «они», а «либо мы, либо они», вот как по новому, по военному если угодно, ставится старая роковая проблема. Война объявлена и должна кончиться полной победой одной из сторон, «капитуляцией без условий» другой. Либо мир европейский вернет себе свой благородный человеческий лик, вырвется из душного подвала порабощающих вульгарных доктрин на открытый воздух свободы, либо все мы окончательно погрузимся в небывало еще густую «средневековую» тьму. Старая демократическая забота о допущении всех в «хорошее общество» сменилась задачей радикального искоренения всего «нехорошего». «Никаких демагогий больше! Никаких компромиссов с былым — «мужицким» и «пролетарским» — народничеством! Вперед с открытым забралом» — Таков боевой клич современной демократической армии, в авангарде которой по прежнему должен оставаться социализм...

Под «мы» и «они» мы разумеем здесь не столько определенные группы людей (менее всего социальные классы), сколько извечно борящиеся во всех человеческих душах начала — отблеск богоподобия и запах двуногого стада. В меняющейся бытовой и исторической обстановке в каждом возможны и подъемы к духовной свободе и скаты к моральному рабству. В самом сером и забитом человеческом существе где-то теплится и может воспламениться божия искра; в самом

просвещенном и вольном дремлет на дне души и может проснуться зверь. Раздувать искру, усыплять зверя — такова морально-воспитательная задача армии «мы» и социализма, идущего в первых ее рядах. Это верно: натура в с е х людей двойственна, но это, однако, не значит, что она у всех людей одинакова. Доктора Гааза с доктором Дубровиным, отца Зосиму со Смердяковым, никак не смешаешь. Наряду с горизонтальной гранью, проходящей через все человечество, все-же существует какая-то, правда не абсолютная и не неподвижная, — и вертикальная грань. Именно этот факт находит свое выражение в том, что борьба творящаяся в недрах человеческого духа, выбиваясь на историческую поверхность, часто облекается на наших глазах то в форму борьбы идейных течений, то в форму соперничества политических партий, и даже в форму войн между государствами.

Естественным завершением — не перемирием, а миром — кончающейся классовой войны мыслится, конечно, бесклассовость. Весь вопрос в том, какой бесклассовостью, победой какой стороны, завершится современная классовая война. Вот уже третий десяток лет, как победоносно проявляет себя тенденция к бесклассовости равнением всех по «они». Корни ее уходят во Французскую Революцию и дальше, за нее; но решающим для современности моментом тут явился российский Октябрь. На этом пути все гражданственное и благородное в человеке гаснет; все стадное и вульгарное развивается и цветет; это путь диктатур, идеократий, демагогии, бесчеловечного насилия и пошлой разнузданной лжи. Путь социализма, конечно, обратный — движение к бесклассовости равнением по «мы». Но вступая на него социализм заранее должен знать, что на нем абсолютная бесклассовость исключена, а, в интересах свободного человечества, и нежеланна. Всякая попытка обойти в этом пункте людскую натуру может обойтись и социализму, и человечеству дорого.

Стихия «они» может быть как угодно обуздана в человеке, но, в пределах истории, не может в нем быть убита. В самый решительный момент победы «мы», она способна неожиданно отомстить за себя своей новой победой, новым поражением «мы», только более уже тонким и тем самым для человечества более страшным.

Движение к бесклассовости равнением по «мы» есть движение к убегающей цели — к недостижимому и з а в е д о м о н е п о д л е ж а щ е м у д о с т и ж е н и ю.
но в этом сознании залог его (движения) верности благородному идеалу. В этом же и его человеческая красота.

5.

Не нужно бояться слов. Духовная аристократия не враг, а единственный, верный и подлинный друг демократии и демократического социализма.

Из всех живых существ духовность, т. е. способность подниматься над чисто животной, физиологической, жизнью, присуща одному человеку: аристократом может быть один человек, и чем больше он человек, тем он больше аристократ.

Вот почему демократический социализм, самый далекий от животности, человеческий строй, есть тем самым и самый аристократический, из мыслимых, строй. Если это звучит еще, для некоторых, парадоксом, то исключительно потому, что нами все еще до конца не изжит для наших дней сугубо опасный предрассудок — смешение двух духовно полярных друг другу начал демократии и демотии. Слово демотия, когда-то изобретенное евразийцами, должно быть удержано у нас в языке, как никаким другим словом не заменимое и отвечающее совершенно особенному и вполне реальному историческому явлению. Демотия это фальшивая демократия, облыжно присвоившая себе это звание — «демократия», в которой единственный субъект подлинного народоправия (русский перевод слова) демос — хозяин, носитель собственной воли, — подменен безвольной толпой, стадом, гонимым волей других — орудующих именем демоса, вожаков-демагогов. Демократическия претензии демотии основаны на единственном, — поверхностном, но скольких (увы!) соблазнившем и соблазняющем — аргументе — демотическом, популярном стиле жизни, простонародном облике правящих, каждении перед «низшими» классами («пролетариями», «бедняками», «солдатами»), наконец на вульгарности, примитивности внушаемых массам, в качестве последнего слова науки, доктрин: «сталино-ленинизм» ничуть не отличается в этом смысле от гитлеровского «нацизма» и итальянского, классического, «фашизма».

Демократия решительно во всем — и в своем жизненном стиле, и в культурном уровне правящих, и в действенности общественного мнения, и в темпе борьбы и движения общественно-политических и философских идей — полярно-противоположна демотии. Демократия — и политическая (либеральное государство), и социальная (вольное общество), и культурная (творческая активность личностей) реальна не в меру теоретического совершенства статутов и конституций, не в меру громкости провозглашаемых принципов, а в меру

реальности воли народа в обоих значения русского слова, — и воли — свободы, и воли — выбора действия.

Одно обстоятельство делает сейчас эту путаницу понятий для демократии особенно грозной: в демократию, окружая себя ее ореолом, воспроизводя ее внешние жесты, бесцеремонно протискивается лютый враг ее — советская демотическая махина. Цель — из внешнего врага превратившись во внутреннего, взорвать противника изнутри. Опасность велика. Демотия всегда для демократии представляла угрозу: против нее, называя ее охлократией, предупреждал, античную еще, демократию Аристотель. Но никогда, как сейчас, опасность не была так реальна. Никогда демотия не была еще так внешне сильна, так хитра, ловка и коварна, так соблазнительна для толпы и близка к победе. Нет у демоса врага более лютого и опасного, чем собственный его, искаженный в простонародье облик.

6.

Что же возродит человечество? Что повернет его на благородный, социалистический путь?

«Пусть социальная проблема решена — пишет Г. П. Федотов в № XI Нового Журнала — мировое хозяйство рационализировано, материальные потребности удовлетворены, бесклассовое общество стало фактом. Все это свободы и демократии еще не спасает. (Курсив, как и ниже, мой. И. Х.): последняя борьба за них совершается в глубинах духа... Новое, в свете нашего исторического опыта, религиозное обновление демократического идеала — важнейшая задача современной, свободолюбивой и социалистической мысли».

Таков и мой ответ на поставленный выше вопрос. Быть может и тогда, шесть лет тому назад, разногласие наше было чисто словесное.

Итак, никакой программой, хотя бы «максимум», социализм до конца сущности своей не выявляет: за его рациональным (программой) всегда стоит, социалистически ее освящая, его иррациональное — вера. Иррациональное социализма есть верность образу Божию, живущему в душе человека и возвышающему его над стадным двуногим зверем, вера в реальность человеческого благородства и в возможность построить на нем благородное общежитие.

В свое время этой верой «спасались» даже такие, для

современного социалистического сознания неприемлемые лозунги, как «диктатура пролетариата» и насильственная «социальная революция». Не освещенные этой верой, они превратились ныне либо в голую проповедь насильничества и пугачевщины, либо в лицемерное защитное прикрытие для варварских тоталитарщин и диктатур. Глубокая пронизанность не этой ли верой есть и то «религиозное обновление демократического идеала», к которому призывает Г. П. Федотов?

7.

Если социализм не исчерпывается разумной программой, то нужно признать, что не исчерпывает его и вера, если она не воплощена в какой-то программе. Если «признаки» без «неизменной черты» — не социализм, то и «неизменная черта», оторванная от всяких «признаков», создает не социализм, а, самое большее, его бледную схему, род благородного мечтания о социализме. Но социализм — не мечтание, а борьба. Борьба его облагорожена верой, но верой, направленной на конкретное и текущее. Конкретным социализма были недавно еще национализация капитала, пролетарская революция; сейчас становится — плановое хозяйство, бесклассовость, индустриальная демократия. Все эти замысли (по разному, но в с е) били и бьют в одну цель — уничтожение социальной приниженности, в чем бы она ни выражалась: в бесправности, в задавленности нуждой и трудом, в отсутствии воспитания, в культурной отсталости.

В качестве обобщающей формулы была предложена недавно «в с е о б щ а я з а ж и т о ч н о с т ь» (Юрьевский).

Что же, если не понимать зажиточность слишком узко (пища, одежда, жилище), то формулу, как обобщающую, можно принять: при широком понимании в нее включимо и плановое хозяйство, и бесклассовость, и индустриальная демократия.

В этом широком смысле борьба за всеобщую зажиточность совпадает с исконной социалистической борьбой против социальной униженности и тем самым для социализма обязательна и желанна. Однако и тут оговорка: «изобилие благ земных» — благо для человека не безусловное. Это благо двуликое, могущее стать и злом. Грозной тенью встает за ним образ Великого Инквизитора, именно изобилием благ земных, достигнутым благополучием, убивающего человеческую свободу и личность. Его «зажиточность» не исчерпывается материальным (готовый для каждого и «стол и дом»): она дается

и в виде всего другого «готового» — идеологии, быта, морального склада. Большевики купили народ (если, и поскольку, купили) не материальным комфортом (в этом они не грешны), а вот всеми этими культ-просветами, физкультурами, политграмотами, всеобучами, народными шествиями, усыпанными бриллиантами орденами — суррогатами религии, науки, политики и даже патриотизма. Российский народ должен считать себя, — а поскольку он куплен, и на самом деле считает, — самым могущественным, зажиточным, свободным и просвещенным народом в мире.

Но оставим суррогаты. Допустим, что где-нибудь, в Америке или в той же советской России, достигнуты полное благополучие и зажиточность — и материальная (трехчасовой рабочий день, пенсии в 40 лет, у каждого свой самолет) и интеллектуальная (у каждого в кармане университетский диплом) и моральная (все включены в «хорошее общество») и политическая (всеобщее избирательное право, суверенный парламент) — словом программа всеобщей зажиточности на все 100 проц. реализована. Есть ли это социализм? Не может ли общество «благополучное во всех отношениях» в одно прекрасное утро вступить с социализмом в конфликт? Да, может, ибо всеобщая зажиточность есть безусловное благо лишь в у ж е с о ц и а л и с т и ч е с к о м о б щ е с т в е, в среде людей уже «стоящих на свободе», само же социализма не только не создает, но и может оказаться для него с м е р т ь ю.

Сейчас, когда проблема социальной приниженности, в частности проблема насущного хлеба, стоит перед человечеством с такой пронзительной остротой — проблемой жизни и смерти — конкретно представить себе обстановку и самую возможность такого конфликта крайне трудно, почти невозможно. Но сделаем усилие — представим. Вот перед социализмом дилемма: либо пенсии, самолеты, университеты, обеспеченные для всех просвещенным и мудрым правительством, либо вольное общество с серьезными сбоями в самолетах и пенсиях. Что социализм выберет? Не изменяя себе, он может выбрать только второе: лучше сбои в самолетах, чем общество, сверху до низу опекаемое правительством. Да ведь и сейчас капиталистические страны, с их «буржуазной» демократией, с их далеко не всеобщей зажиточностью, с их неполными, но реальными свободами, духовно ближе социализму, чем замысел каких угодно «социалистических» и «пролетарских» республик со всеми их техническими и индустриальными чудесами, со всей их «привольной и веселой жизнью» для всех.

Смертоносный микроб духовного склероза живет не только в тоталитарной среде. Он проникает и в демократические режимы. У европейской демократии, рядом с внешним врагом, окрыленным военными победами, красным фашизмом и не добитым, быть может, фашизмом некрасных цветов, объявляется внутренний враг в виде зародышей собственной идеократии и формулопоклонства. «Врачу, исцелися сам!» — хочется крикнуть иному современному демократу, обличающему тоталитарское доктринерство. Все застоявшееся, загнивающее, застывшее в готовом виде, органически чуждо свободному духу социализма. «Прыжек в царство свободы» не есть для него загадочный акт неопределенного далекого будущего: это его повседневная практика, его непрерывное настоящее.

Благополучие может быть достигнуто полное — и материальное, и интеллектуальное, и моральное — а социализм не достигнут. Больше того: «благополучие во всех отношениях» из великого блага может превратиться для человека в великий соблазн и зло. Человек всем довольный, у которого всего «достаточно», тем самым уже несвободен. Свободному человеку всегда чего-то недостает; в нем живет постоянное недовольство. Мещанство общества «благополучного во всех отношениях», без всякой поправки на какое-то неблагополучие, в лучшем случае может стать мещанством облагороженным, но останется все же мещанством. Все свободы — и политическая, и социальная, и хозяйственная — и самый Habeas corpus, в нем возможны только формальные, лишенные изюминки реальной свободы. Добившись своей борьбой, в союзе с буржуазными, прогрессивными течениями, всеобщей зажиточности и благополучия, он не свернет, как победитель, своих знамен, а, как неутомимый воин, ринется, с развернутыми знаменами, в новый бой за социализм, как за что-то е щ е н е д о с т и г н у т о е.

8.

Избранные души, как поэты, р о ж д а ю т с я. Общество может лишь создавать обстановку, благоприятствующую их росту и их цветению. Этой целью, как одной из направляющих, должна вдохновляться программа социализма. Превращение всех членов общества в «мы» — задача благородная и великая, но осуществляя ее социализм должен помнить и о другой великой задаче — заботах об «Они» (с большой буквы).

В своем последнем капитальном труде «Два источника религии и морали» Бергсон писал так:

«Великие реформы, осуществленные на протяжении человеческой истории, все казались сперва, и были в действительности, неосуществимыми. Осуществление их предполагало общество, уже обладающее тем строем души, который реформа-то как раз и призвана была еще только создать. Круг навеки оставался бы замкнутым, если бы не появлялись избранные, способные разорвать его, раздвинув рамки своей социальной души; в образовавшийся прорыв они увлекали за собой и других — всех».

Без этого творческого кипения избранных, и без устремляющихся з а н и м и, в «прорывы», потоков «мы» невозможна настоящая человеческая свобода, невозможен и освобожденный до конца от внешней принудительности, благородный человеческий Град, т. е. Социализм.

Ив. Херасков

О СМЫСЛЕ МЕЖДУНАРОДНОГО КРИЗИСА

1.

Отрицать существование международного кризиса, кажется, не решаются сейчас даже самые неисправимые оптимисты. Спор может итти только о его характере и причинах. А из различных ответов на эти вопросы вытекает и разница в представлениях о степени глубины международного кризиса и о вероятной его длительности.

Те, кто ищут утешения в истории, ссылаются на исторические прецеденты и говорят о неизбежности разногласий в среде участников всякой коалиции на другой день после победы над общим противником. Так было после наполеоновских войн, когда Венский конгресс едва не был сорван конфликтом возникшим из-за польского вопроса. Так было и после первой мировой войны, когда, как мы это теперь знаем, разногласия между державами коалиции временами достигали такой остроты, что судьба мирной конференции висела на волоске. Так было — так будет. И как в этих предыдущих случаях, несмотря на всю остроту разногласий, союзники в конце концов договаривались на компромиссной программе общего мира, так же произойдет и теперь. История повторяется.

В этих утверждениях есть, конечно, доля истины, но только доля. История повторяется, но всегда лишь в самых общих чертах — настолько общих, что элемент повторяемости сам по себе не дает ключа к пониманию современных событий. Кроме повторяемости в истории есть и постоянные изменения. И одной аппеляцией к историческим аналогиям ничего до конца объяснить нельзя. Перед лицом настоящего международного кризиса надо пытаться выяснить его специфические особенности, установить не только то, что его сближает с историческими прецедентами, но и то, что его от них отличает. И последняя задача важнее первой. Сказать, что то, что мы наблюдаем, есть естественный разлад внутри коалиции, значит почти ничего не сказать. Необходимо выяснить, со всей возможной для нас определенностью, что в этом кризисе существенно нового по сравнению с его историческими прецедентами.

Существует взгляд, согласно которому это новое заключается в разросшейся до небывалых размеров и достигшей небывалой остроты борьбе между соперничающими в мире империализмами. У этой теории имеются два варианта. По одному из них, современный империализм есть ничто иное как «последняя фаза в развитии капитализма». Исчерпавший все остальные возможности, «монопольный капитализм» великих капиталистических держав неизбежно вступает на путь нового раздела мировых богатств и тем самым ведет человечество к все новым — и все более страшным — войнам. Теория эта, как известно, усиленно поддерживается руководителями советской политики и охотно подхватывается сторонниками и защитниками советского режима за пределами России, в виду ее очевидных политических преимуществ. Она позволяет целиком возложить ответственность за международный кризис на страны «монопольного капитализма» — Англию и Америку, а Советский Союз изображать как свободный от всяких подозрений в империализме оплот международного мира. Научная ценность этой теории более чем спорна, и ее тенденциозная односторонность обнаруживается при всякой, сколько-нибудь серьезной, попытке разобраться в причинах первой или второй мировой войны или настоящего после-военного кризиса. Ни одно из этих явлений не может быть выведено из «монопольного капитализма» — без грубого упрощения всей сложности международных отношений, без насилия над фактами и игнорирования действующих в мире реальных сил.

Нельзя «монопольным капитализмом» объяснить и природу современного империализма. При всех своих особенностях, империализм наших дней, подобно империализму предшествовавших веков, не поддается монистическому истолкованию и есть результат сложного взаимодействия многих, иногда глубоко различных, факторов. И правы те современные ученые, которые называют империализмом всякую политику, основанную на стремлении установить политическое или экономическое господство за пределами своей страны. Второй вариант теории, видящей причину современного международного кризиса в столкновении империализмов, исходит из этого более широкого определения, но допускает другую ошибку, рассматривая все наличные империалистические силы, как качественно и количественно однородные. Из того, что всякая политическая или экономическая экспансия может быть названа империалистической, еще не следует, что все империализмы тождественны по своему характеру и, главное, по своему влиянию на судьбы мира. Взгляд, согласно которому в мире сейчас идет борьба между тремя равнозначными империализ-

мами, американским, английским, советским, несостоятелен теоретически по своему абсолютизму, забывающему, что мы живем в мире относительного. Практически же, в смысле политических выводов, он может вести либо к покорному отречению от всякого сознательного действия перед лицом якобы непреодолимых стихийных сил, либо к продиктованному патриотической эмоцией выводу, что каждый должен защищать свой «родной» империализм против империализмов чужестранных.

Этому необходимо противопоставить утверждение, что есть империализм и империализм, и что эти различия между отдельными видами империализма надо не только устанавливать, но и оценивать — с точки зрения интересов международного мира и подлинных интересов собственной своей страны. И прежде всего надо различать действующие сейчас в мире империалистические силы по степени их динамизма. С 1939 года советская экспансия, которую законно подвести под данное выше общее определение империализма*), выразилась в присоединении к Советскому Союзу территории в 275 тысяч квадратных миль с населением в 25 миллионов (вопрос об «исторических правах» на те или иные части этой территории в данном случае несущественен — факт экспансии остается на лицо). Где аналогичные факты английской или американской экспансии? Какие территории были присоединены, в процессе войны или по ее окончании, к Британской империи или к Соединенным Штатам или какие территориальные притязания были заявлены со стороны той или другой державы? Британская империя явно находится в положении оборонительном. С характерной непоследовательностью именно те, кто считают возможным ставить все империализмы на одну доску, любят говорить о факте ослабления, а то и о грядущем распаде Британской империи. Об этом распаде, на мой взгляд, говорить пока преждевременно, но факт, что Британская империя сейчас не в силах итти по пути дальнейшего расширения и что вся ее политика направлена только к тому,

*) Я отказываюсь присоединиться к распространенному сейчас взгляду, что эта экспансия есть ничто иное, как простое продолжение «исконного русского империализма». При всем видимом сходстве отдельных советских притязаний с задачами дореволюционной русской дипломатии, они существенно разнятся от последних и в своем объеме, и в характере вкладываемого в них содержания, и в методах, которыми советское правительство пытается их осуществить. Для меня это именно советский империализм, а не русский.

чтобы удержать в своих руках то, что можно, — несомненен. Неужели же нет разницы, не только количественной, но и качественной, между такой политикой и политикой советского правительства, направленной к тому, чтобы захватить в свои руки то, что можно? Соединенные Штаты находятся сейчас в подъеме своего национального могущества и усиления своего влияния в мировых делах. Но как далеко американской политике до политики советской в динамизме! Как неуверенно, как медленно и с какими препятствиями, вытекающими и из геополитических условий, и из особенностей политического строя, и из национальных традиций, развивается в Америке даже простое осознание той соразмерной с ее возможностями доли влияния, которую она должна оказывать в международных отношениях! И какие есть объективные основания для того, чтобы предполагать, что Соединенные Штаты — по крайней мере в пределах мысленно обозримого будущего — вступят на путь прямой агрессии и территориальных захватов и что их империализм пойдет дальше традиционного «экономического проникновения», которое, что бы о нем ни говорили, всетаки существенно отличается от попыток установления политической гегемонии, с фактическим лишением зависимых стран даже тени национальной независимости?

Я знаю, что в некоторых кругах наличие динамизма в советской политике служит для ее оправдания. Это — старая теория преимущественного права «молодых, здоровых и сильных» наций перед нациями, вошедшими в полосу «упадка и отмирания». Подобное политическое ницшеанство, обновленное в наши дни Муссолини и Гитлером, есть одна из разновидностей фактопоклонства и оно в корне несовместимо с любой попыткой добиться более рационального устройства международных отношений. Такое признание голой силы в качестве единственного регулятора этих отношений означает, в сущности, отказ от международной политики, как искусства согласования, уравновешивания и, где нужно, ограничения действующих в мире стихийных сил. Инженерное искусство считается с природными данными и стихийными силами, но не сдается перед ними. Для преграждения бурного потока от разлива сооружаются особенно прочные плотины. Задача политического искусства по существу та же. Чем динамичнее какая-либо страна и чем выше при этом ее потенциал, тем она опаснее — для остального мира, а в конечном счете и для собственного своего благополучия. Тем больше потребность в ее ограничении. Основной целью международной политики может быть только защита более слабых против более сильных. Сильные в этой защите не нуждаются.

Иногда этой теории удовлетворения потребностей «молодых и сильных» наций придается оттенок некоторого морального оправдания. Указывают на несправедливое распределение земных благ в мире между отдельными государствами и на необходимость, поэтому, их передела. Это тоже старая теория о праве на «место под солнцем», теория игравшая большую роль в психологии немецких политических деятелей эпохи первой мировой войны, а затем обновленная теми же Муссолини и Гитлером в их концепции «имущих» («плутократических») и «обделенных» («пролетарских») наций. Подобно идее о преимущественном праве «динамических» народов и это, сомнительной ценности, наследство нашло теперь свое место в арсенале защитников советской внешней политики. Обделенная — и в прошлом неоднократно обиженная — Россия теперь вступает во владение тем, что ей принадлежит по справедливости. Оставим в стороне вопрос о том, в какой мере Россия, и до недавних приобретений обнимавшая одну шестую часть земной поверхности, была так уж «обделена». Допустим, что во многих отношениях положение, например, Британской империи было более выгодным. Есть ли в этом факте оправдание для попыток к новому переделу в мировом масштабе? Вот, кажется, случай, в котором моральный критерий явно неприменим. Если «исторически несчастные» нации не виноваты в том, что они пришли на мировую арену слишком поздно, то ведь и «исторические счастливцы» не виноваты в том, что они могли появиться на ней раньше. Основной — и роковой для нее самой — ошибкой Германии 1914 года (тоже при ближайшем анализе вовсе уж не так «обделенной») как и Германии Гитлера, было, быть может, непонимание того, что то, что было возможным в 17-ом и 18-ом веках, стало невозможным в 20-м. Американские историки выработали для истории своей страны концепцию смены «открытой границы», когда наличие свободных земель на западе американского континента открывало широкие возможности для пионерской деятельности, — границей «закрытой», при которой эти возможности исчезли и проблема распределения благ внутри страны встала по новому. Нечто в этом роде произошло и в мире в целом. Границы мира закрыты и свободных земель, в том смысле, в каком они были свободны в 17-ом и 18-ом веках, больше нет. Это значит, что для империализма старого типа время прошло безвозвратно. Новый передел земного шара есть опасная и вредная утопия. Проблема более справедливого распределения наличных в мире богатств может быть разрешена не на пути территориальных изменений, а только на пути международного соглашения в рамках между-

народной организации. Всякие попытки к новому территориальному разделу неизбежно поведут к неслыханным потрясениям и к конечному всеобщему хаосу. И в силу неизмеримо большей экономической взаимозависимости отдельных частей мира, и в силу необычайно выросшего и обострившегося национального чувства (не только в Европе, но и за ее пределами), теперь пришлось бы резать по живому телу там, где раньше можно было иметь дело либо с «ничьей землей», либо со сравнительно слабой степенью сопротивления.

И это новое положение отражается и на старых империях, в свое время воздвигнутых «историческими счастливцами». Вопреки теории об империализме, как «последней фазе в развитии капитализма», мы давно уже живем в эпоху изживания империализма. И только любители «великих потрясений» могут предпочесть этому постепенному изживанию новую революционную катастрофу. Для многих, быть может, прозвучит парадоксом то, что для меня является несомненной истиной: на путях англо-саксонских это изживание империализма гораздо более возможно — и фактически пошло гораздо дальше, — чем на путях советских. Я не говорю уже о Европе, где объективно, каковы бы ни были их мотивы, английская и американская политики направлены к сохранению системы независимых средних и малых государств и к защите их против угрозы советской экспансии. Но и в применении к так называемыми колониальным и полу-колониальным странам сохраняет свою силу то же положение. Пусть в советской союзной конституции значится право каждой из союзных республик на отделение. Фактически, до тех пор пока существует коммунистическая диктатура, ни одна из них не может осуществить это право, как уже осуществили его Ирландия и Филиппины. Пусть в организации Объединенных Наций и на парижской конференции поддерживается фикция существования Украины и Белоруссии как суверенных государств. Фактически и та и другая находятся в такой степени подчинения Москве, какая была бы непереносима ни для одного из британских доминионов. И пока существует советский режим, возможность превращения Советского Союза в нечто хотя бы отдаленно подобное «Британской общине наций» остается совершенно исключенной. Пусть в Советском Союзе установлено расовое и национальное равноправие, но пока единодержавие коммунистической партии и коммунистической идеологии царит на протяжении всей советской территории, подлинное национальное самоопределение для любой из населяющих ее народностей остается невозможным — хотя бы даже в той мере, в какой оно уже возможно для находящейся под

властью империалистической Англии Индии. Это опять звучит парадоксом, но где, в какой из советских республик, возможны явления подобные Ганди, или Всеиндусскому Конгрессу, или недавно образовавшемуся временному правительству Неру, глава которого открыто объявляет себя вождем революционной партии, стремящейся к отделению от Британской империи?

Велики ошибки и даже грехи империалистической политики Англии и, в меньшей мере, Соединенных Штатов. Но, обличая эти ошибки и эти грехи, не надо забывать и о заложенных в демократическом строе англо-саксонских стран возможностях к их исправлению и устранению. И потому, что эти возможности, частью уже осуществленные, частью находящиеся на пути к осуществлению, совершенно отсутствуют в советском режиме, — надо признать, что по сравнению с империализмом советским империализм англо-саксонский есть явление и менее опасное и более прогрессивное.

2.

Не все из сторонников советской внешней политики пользуются для ее защиты теорией тождественности всех империализмов. Есть и такие, которые начисто отрицают в этой политике наличие каких-либо империалистических элементов и толкуют ее как политику обеспечения национальной безопасности.

Забота о национальной безопасности входит одним из главных составных элементов во внешнюю политику любой страны в любое время. Но, как и в случае с империализмом, бывают разные политики безопасности, и в применении к дипломатии каждой страны, в каждый данный исторический момент, подлежат выяснению основные вопросы: в чем эта дипломатия видит безопасность и какими способами она пытается ее обеспечить?

В наши дни о гарантиях безопасности громче и настойчивее всех говорит дипломатия советская. Между тем никогда еще за все свое многовековое существование Россия не находилась в таком выгодном международном положении, как после окончившейся год тому назад войны. За некоторыми исключениями, отчасти компенсированными новыми приобретениями, России удалось восстановить свои границы, как они были не только до первой мировой, но и до русско-японской войны. Две единственные державы, которые имели поползновения на ее территорию, Германия и Япония, оказались одно-

временно совершенно разбитыми и выведенными из строя как великие державы. Ни на европейском, ни на азиатском континенте не осталось ни одного государства, которое хоть отдаленно могло бы сравниться с Россией в отношении военной мощи. Размеры ее территории, рост ее населения, естественные ее богатства обеспечивают России в будущем огромный военный потенциал, не уступающий потенциалу ни одной страны в мире. Она имеет союз с Англией и предложение о заключении союза со стороны Соединенных Штатов. Она оказалась, наконец, одним из руководящих членов Объединенных Наций и может воспользоваться, если пожелает, американским предложением о создании международной организации для контроля над атомной энергией.

Казалось бы, что в этих условиях советское правительство, если бы оно действительно заботилось только об обеспечении национальной безопасности России, могло бы проявить максимум миролюбия и сговорчивости в сношениях с главными своими союзниками и максимум великодушия по отношению к ближайшим своим соседям. Политика же, которую оно повело на самом деле, обнаружила такой размах притязаний и такую динамичность методов, что в короткое время сумела скомпрометировать благоприятные для России результаты войны, вызвать и в ее союзниках и в ее соседях чувства страха и недоверия и поставить под вопрос самую возможность международного с ней сотрудничества. Не приходится удивляться тому, что такая «политика безопасности» начинает представляться другим государствам, как несущая с собою международную опасность, и что внешний мир не может отличить ее от политики империалистической экспансии и агрессии.

В самом деле, даже в пределах традиционных понятий о национальной безопасности (соображения о стратегически-выгодных границах и т. п.) советская политика отличается ни с чем не сравнимым «динамизмом». Во имя этой безопасности понадобилось не только установить военно-морские базы на чужой территории (чему конечно имеются прецеденты и аналогии и в англо-саксонской политической практике), но еще присоединить к Советскому Союзу три небольших самостоятельных государства и лишить одного из союзников больше чем трети его территории. Все это оправдывается ссылками на понесенные в прошлом уроны от вторжений и на опасность подобных вторжений в будущем. На том же основании Англия, едва избежавшая в последнюю войну смертельной опасности, могла бы настаивать на аннексии не только Ирландии,

но и северной Франции, Бельгии, Голландии, Дании и береговой полосы Норвегии.

Но и аннексий оказалось мало. Для обеспечения безопасности понадобилось еще создать огромную русскую сферу влияния, продвинутую далеко на запад от России. Политика «сфер влияния», конечно, не советской властью выдумана и не ею одной применяется. Но и в этой области советская политика имеет свои особенности, достаточно резко отличающие ее от политики демократических стран (или любой страны, включая царскую Россию, в период до 1914 года). Она не довольствуется такими традиционными методами установления влияния, как соответствующие дипломатические, военные или экономические соглашения. Она включает в себя кроме того и систематические попытки установить контроль над внутренно-политической, социальной и духовной жизнью стран, входящих в русскую сферу влияния — иными словами, пересоздать политический и общественный строй этих стран, более того, пересоздать и их быт и культуру, по образу и подобию советского режима. Если это — до поры до времени — и не прямая советизация зависимых стран, то все усилия направлены к тому, чтобы сделать их возможно более похожим на Советскую Россию. В результате такой политики «сфер влияния», официально провозглашаемая независимость соседних с Россией государств грозит обратиться в фикцию, а их «дружественные» по отношению к России правительства имеют роковую тенденцию оказываться правительствами «марионеточными».

Я знаю, что мне могут указать на примеры попыток вмешательства во внутреннюю жизнь зависимых стран со стороны других великих держав (в том числе и демократических), как в прошлом так и в настоящем. Но вот, кажется, классический пример того случая, когда, по известной формуле, количественные различия настолько велики, что переходят в различия качественные. Защита советской политики в зоне русского влияния на том основании, что «англичане и американцы делают то же самое», если она не продиктована сознательной демагогией, является результатом непростительного полемического преувеличения. Неужели действительно приходится серьезно доказывать, что американцы не делают в Средней и Южной Америке (если даже признать их безоговорочно за зону американского влияния) того же самого, что советская власть делает например в Польше? Недавняя история с попыткой морального давления со стороны Соединенных Штатов на Аргентину, казалось бы, должна была бы быть у всех еще в памяти. Где же здесь аналогия с советскими методами воз-

действия на Польшу? Вот если бы в Вашингтоне был образован национальный аргентинский комитет из числа противников Перона, а затем, под тем или другим предлогом, аргентинское правительство было бы объявлено низложенным, на его место был бы поставлен образованный в Вашингтоне комитет, и в помощь этому новому правительству были бы даны американские военные силы и организованная американцами политическая полиция, тогда — и только тогда — у защитников советской политики было бы право говорить, что американцы «делают то же самое». Равным образом, при честном или непредвзятом отношении к вопросу, нельзя утверждать и того, что английская политика, в английской сфере влияния, равнозначна политике советской в странах, находящихся сейчас в зависимости от Москвы. Можно как угодно критиковать английскую политику в тех или иных ее проявлениях, но нельзя доказать, что где бы то ни было — будь то в Греции, в Египте или в Палестине — англичане делают то же самое, что советская власть делает в Польше или в любой из зависимых от нее стран. Можно упрекать английскую политику в роковых ошибках в области попыток разрешения трагически-сложного палестинского вопроса, можно сурово осуждать последние мероприятия английской власти по отношению к еврейским организациям в Палестине, но нельзя при этом забывать, что если бы Палестина находилась в зоне влияния советского, там было бы немыслимо самое существование таких учреждений как Еврейское Агентство или армия еврейской самообороны.

Здесь опять, как и в вопросе об империализме, надо различать отдельные типы политики сфер влияния не только по степени их динамичности, но и по общему их характеру и по свойственным им методам. Уже самый характер демократической идеологии (и пусть не пробуют отмахиваться от нее как от простой фикции!) кладет определенные пределы возможностям вмешательства — пределы, которых не знает государство тоталитарное: со своим преимущественно процессуальным подходом («формальным», как почему-то с осуждением говорят о нем противники и критики демократии), вмешательство это имеет своей целью создание известных р а м о к политической жизни, которые обеспечивали бы свободное волеизъявление большинства; тоталитарное же вмешательство стремится навязать иностранному государству определенную политическую, социально-экономическую и даже идеологическую п р о г р а м м у, независимо от воли большинства или прямо вопреки этой воле. Более того, в распоряжении демократических стран нет — а при их политической структуре

и традициях и не может быть — того технического аппарата воздействия, который является неотъемлемой частью и одним из главных орудий тоталитарного государства. Пусть назовут хоть одного демократического Тито, Дмитрова, Берута (не говоря уже о Торезах и Тольятти, действующих, как известно, и за пределами советской зоны) или укажут демократический эквивалент послушных сталинской воле иностранных коммунистических партий. Не видеть вытекающей отсюда огромной разницы между двумя политиками значит быть слепым. Преуменьшать эту разницу значит затруднять и для себя и для других правильное понимание происходящего в мире.

Ведь одной из основных черт, отличающих нашу эпоху от предыдущей, и является именно внесение в международные отношения того нового «динамического» и тоталитарного начала, на котором сначала была построена внешняя политика Гитлера*), а сейчас строится внешняя политика советской власти. Эта «дипломатия гражданской войны» одновременно и революционна и реакционна. Революционна она только в том смысле, что стремится в корне разрушить все веками вырабатывавшиеся, а в девятнадцатом столетии сравнительно прочно установившиеся, моральные и правовые традиции международных отношений: конечно и прежде от них бывали отступления, но они и рассматривались как отступления; в дипломатии же нового стиля эти отступления возводятся в принцип и становятся системой. Реакционна же эта политика потому что всем своим духом, всеми своими целями и методами, она идет наперекор и возростающему в мире стремлению к подлинной и полной национальной самостоятельности, и диктуемому всем историческим развитием осуществлению международного сотрудничества — на путях добровольного соглашения и взаимного самоограничения. Недаром для советской власти так ненавистно всякое упоминание о федерации (кроме, конечно, той, которая может быть создана под ее эгидой и которая, по тому самому, не может быть ничем иным кроме псевдо-федерации). И недаром в организации Объединенных Наций ни одна великая держава не отстаивает с таким упорством своего суверенитета, не держится в такой мере

*) Как и аналогии между советской дипломатией и дипломатией императорской России, модные сейчас аналогии между внешней политикой Гитлера и политикой второй германской империи верны только в ограниченном и условном смысле. Попытки же полного отождествления этих двух политик, на самом деле принципиально отличных, ведут к непониманию сущности нацизма как международного явления.

за свое право вето и не старается до такой степени свести на нет влияние средних и малых наций, как это делает Советская Россия.

3.

Здесь, в этом пункте, где задачи внешне-политические переплетаются с задачами внутренно-политическими, и надо искать ключ к советской политике безопасности да и вообще ко всей советской внешней политике. Со всей решительностью можно утверждать, что она не диктуется заботой о национальных интересах России и объективно, по своим последствиям, этим интересам не служит. Напротив, она наносит им один тяжелый удар за другим — и тем, что постепенно растрачивает тот капитал международного уважения, симпатии и доверия к России, который был накоплен страданиями и жертвами русского народа во время войны, и тем, что безмерно затрудняет и грозит сорвать мирное соглашение по всем тем вопросам, в удовлетворительном решении которых Россия действительно кровно заинтересована. Непонятная, если видеть в ней политику обеспечения национальной безопасности, она становится понятной, если осознать, что истинной ее целью является политическая безопасность режима. За всей шумихой советской пропаганды о якобы возрождающейся опасности фашизма («фашистскими» при этом называются, конечно, все те силы, которые противостоят советскому коммунизму или сохраняют свою независимость от Москвы) явственно слышится голос страха — страха диктатуры не перед фашизмом, не перед империализмом, а перед таким замирением мира и таким решением стоящих перед человечеством социально-политических проблем, которые за пределами России лишили бы диктатуру выгодной для нее «революционной ситуации», а в самой России поставили бы под вопрос дальнейшее ее существование. Иностранные публицисты и политические деятели, приписывающие «недоразумения» между Москвой и западными демократиями взаимному «непониманию», и сами обнаруживают значительную долю наивности, и приписывают такую же долю наивности московским «реалистам». В Кремле прекрасно знают, что такое демократия, и именно потому не хотят ее успехов и торжества. Для Сталина и его соратников не могло бы быть худшего выхода из современного мирового кризиса, чем установление прочного мира на началах подлинного международного сотрудничества и торжество в отдельных странах подлинной демократии. Такой

выход был бы для советской диктатуры смертным приговором. И, обратно, для России и для ее народов он был бы началом их освобождения.

В мире сейчас идет борьба между отдельными национальными или империалистическими интересами; между империализмом и стремлением колониальных стран к независимости; межу началами капитализма и социализма; между течениями реакционными и прогрессивными. Но борьба между всеми этими силами перекрывается борьбой между началом правовой демократии и началом тоталитаризма. В этом и есть существенно новая черта современного международного кризиса и одновременно основное его содержание. Как обеспечить победу правовой демократии и как остановить рост влияния и могущества тоталитарной диктатуры, воплощенной сейчас в советской власти, есть вопрос всех вопросов и задача всех задач. Все частные проблемы, как бы значительны по объему и как бы сложны они ни были — и проблема прочного мира, и проблема изживания империализма, и проблема социальной справедливости, и проблема освобождения России — могут быть разрешены в случае победы, упрочения и роста правовой демократии, и ни одна из них не может быть разрешена на путях тоталитарной советской диктатуры. Вот почему можно сказать, чо пока на дипломатических конференциях будут обсуждаться границы того или другого государства, в мире будет решаться неизмеримо более важный вопрос — о судьбе границ человеческой свободы.

М. Карпович

М. О. ЦЕТЛИНЪ

Съ Михаиломъ Осиповичемъ и Маріей Самойловной я познакомился въ самомъ началѣ революціи. Они только что пріѣхали въ Москву изъ Франціи кружнымъ путемъ черезъ Америку, Японію — въ девятьсотъ семнадцатомъ году.

Москва тогда кипѣла. Большевики, меньшевики, эсеры, анархисты, имажинисты, футуристы, просто какіе-то бандиты, все варилось еще вмѣстѣ. Было трагическое, было историческое, было и гнусное. И шутовское. Литература большая молчала. Тѣ, кому такъ уже хотѣлось выскочить, что-то сорвать, лѣзли впередъ — за силой и побѣдителями.

Въ этой-то сутолокѣ, въ какомъ-то литературномъ кафе насъ и познакомили. Никакъ уже не подходилъ Михаилъ Осиповичъ къ стилю крикуновъ, футуристическихъ, размаленванныхъ физіономій, наглыхъ имажинистовъ. Тихій и застѣнчивый человѣкъ европейскаго (въ азіатчинѣ Москвы революціонной) вида, слегка прихрамывавшій, съ палочкой, негромко говорящій. Мало похоже, что онъ тоже былъ революціонеръ, эсеръ, въ 1906 г. вынужденный бѣжать изъ Петербурга заграницу и вернувшійся только съ побѣдой революціи. Но его сразу можно было опредѣлить: поэтъ, писатель.

Отъ первыхъ встрѣчъ осталось лишь общее, изящное и милое ощущеніе — да, это въ какомъ-то родѣ «свой», сотоварищъ литературный, съ нимъ быть и можно, и пріятно. А потому я и началъ посѣщать Цетлиныхъ. Встрѣчались мы и у Алексѣя Толстого. Всетаки, это было бѣгло. Из встрѣчъ тѣхъ больше запомнилась послѣдняя, весной 1918 г.

Цетлины поселились гдѣ-то между Арбатомъ и Поварской. У Маріи Самойловны родилась дочь, въ домѣ младенецъ, но жили тогда въ Москвѣ еще просторно, и Цетлины собирали иногда по вечерамъ литературную братію. Вотъ въ тотъ вечеръ много народу сидѣло за большимъ столомъ въ столовой, очень яркій свѣтъ, шумъ, говоръ — ужинъ московскій, и средь гама литературныхъ гостей, тихій хозяинъ за всѣмъ слѣдитъ, угощаетъ, подливаетъ вина, успѣваетъ с каждымъ сказать нѣсколько словъ — безшумно все это и привѣтливо.

Противъ меня сидѣлъ Алексѣй Толстой, зычно разсказывал, хохоталъ, и нельзя было не хохотать съ нимъ — что за

актеръ, что за даръ комическій! Марина Цвѣтаева вертитъ папироску, нервно и хрупко, сыплетъ колкими и манерными словечками. Болѣзненнаго вида Ходасевичъ. Есенинъ — совсѣмъ юный еще паренекъ, русачекъ, волосы въ скобку, слегка подбоченясь, круглый и свѣжій, даровитый, еще не пропившійся, не погубившій дара своего и себя. Изящно — таинственная Соня Парнок — съ умными, свѣтлыми глазами, русская Сафо. Эренбургъ. А со мной рядомъ совсѣмъ странный типъ, молчаливый брюнетъ, волосатый, нерусскаго вида, въ кавказской буркѣ — но никакъ не кавказецъ. Въ бурку онъ кутается съ видомъ Марлинскаго. Но насъ никакой буркой не удивишь, мы видали въ то время и людей въ клоунскихъ одѣяніяхъ, и съ накрашенными щеками, и тихихъ безумцевъ какъ Хлѣбниковъ, называвшій себя предсѣдателемъ земного шара. Помню, однако, что не было Маяковскаго, чему могъ только радоваться. Въ домѣ культурномъ и литературномъ, гдѣ въ задней комнатѣ спала дѣвочка, этотъ типъ со скандалами своими мало былъ бы умѣстенъ.

Но ничего такого и не случилось. Есенинъ съ Дунканъ еще не познакомился, остальные были вообще приличны. Послѣ ужина читали стихи. Марина Цвѣтаева стрекотала острыя и нервныя свои строки, съ такими же переломами какъ сама, съ такимъ же жеманствомъ какъ всегда — съ еще свѣжими, иногда и пронзительными ритмами. Соня таинственно полу-распѣвала сафическія строфы — эта спокойно, скорѣе задумчиво, тоже покуривая папироску, но совсѣмъ по другому, чѣмъ Цвѣтаева (у той все рвалось и горѣло въ рукахъ). Страстно кричалъ свои стихи Эренбургъ (въ то время сочинялъ еще разныя «молитвы о Россіи»).

Просили читать и Михаила Осиповича. Но онъ какъ-бы смутился — «нѣтъ, нѣтъ, я сегодня не расположенъ...» и такой видъ былъ у него, что не хочется выступать, выдаваться... — а вотъ такъ тихо, любезно угощать, говорить о литературѣ съ сосѣдомъ, не напрягая голоса, незамѣтно и «для себя».

Все это долго тянулось — по времени, но не по самоощущенію. Зори конца мая и въ Москвѣ раннія. Утро того дня занялось, какъ ему полагается, насъ застало веселыми, расходящимися отъ Цетлиныхъ. Въ передней устроили мы съ Толстымъ дуэль — скрестили трости и фехтовали, отъ избытка силъ, молодости еще не растраченной. Пѣтухами налетали другъ на друга, Алексѣй фыркалъ, какъ водяное чудовище, пыхтѣлъ, хохотали мы оба. Человѣкъ въ буркѣ, сидѣвшій за столомъ со мной рядомъ, по фамиліи, какъ оказалось, Блюмкинъ, мрачно все въ бурку свою кутался и молчалъ.

А потомъ вышли мы на утренній просторъ переулка московскаго, въ золотѣ зачинающагося солнца, и (по легкомыслію своему) все еще ощущали себя въ прежней, художнически-артистической богемѣ, въ прежней Москвѣ мирной, хотя какой ужъ былъ тамъ миръ!

И вотъ все прошло. Соня Парнокъ давно скончалась въ Москвѣ, ослабѣвъ сердцемъ отъ тяжелой жизни. Цвѣтаева попала въ эмиграцію, въ Россію возвратилась — тамъ и повѣсилась. Ходасевичъ умеръ въ изгнаніи. Толстой вовремя перемѣстился къ побѣдителямъ и вкусилъ, чего надо, но и онъ умеръ. Тихо, какъ жилъ, угасъ в прошломъ году Михаилъ Осиповичъ.

Но всѣхъ ранѣе погибъ мой сосѣдъ въ буркѣ. Правда, въ іюлѣ того же года онъ убилъ германскаго посла въ Москвѣ графа Мирбаха. Я забылъ уже для чего — но для чего-то это нужно было партіи лѣвыхъ эсеровъ, къ которой онъ принадлежалъ.

⁂

Передо мной автобіографическая запись, сухая и краткая: событія, даты. Но она много даетъ. Видишь жизнь личную, чувствуешь даже эпоху. Въ 1882 г. родился въ Москвѣ, въ Сокольникахъ, мальчикъ Михаилъ Цетлинъ, въ семьѣ достаточной, а вѣрнѣе богатой. Надо думать — мальчикъ болѣзненный, уже четырехъ лѣтъ тяжко хворалъ. Десяти лѣтъ первая встрѣча, первая скромная репетиція того, что процвѣтетъ въ зрѣлости чревомъ инфернальнымъ. Записано: 1892 г. — первая высылка евреевъ изъ Москвы. И тутъ-же опять — шесть мѣсяцевъ въ постели, болѣзнь кокситъ. Потомъ обычная наша карьера: гимназія в провинціи, на порогѣ юности возвращеніе въ Москву, всѣмъ москвичамъ памятная гимназія Креймана. И опять кокситъ, и теперь странствія заграничныя, по курортамъ, очевидно для лѣченія. Возможность матеріальная была, и времена такія, когда визъ не спрашивали.

Начинается наше столѣтіе. Сразу же революція, тоже еще не настоящая. Михаилъ Осиповичъ ею захваченъ. Онъ эсеръ. Только не вижу, чтобы въ кого-нибудь бросалъ бомбы. Въ него — можно было бросить. Слава Богу, ни въ какія тюрьмы и каторги не попалъ, а подъ 1906 г. запись: «Поѣздка съ М. въ Петербургъ и бѣгство заграницу». Какъ типично для времени! Сколько такихъ эмигрантовъ россійскихъ, интеллигентовъ, писателей, встрѣчали мы въ молодости, туристами разъѣзжая по Западу — еще собственной судьбы не вѣдая.

Въ 1910 г. запись важная: «моя женитьба» — это и есть

М., Марія Самойловна, а въ 1912: «рожденіе Валечки» — и продолжается заграничная жизнь. Она разнообразна. Веве, Лозанна, Біарриць, Парижъ, Шамони, Шамби. И наконецъ то кругосвѣтное путешествіе, которое и привело въ Москву. Но въ Москву ненадолго. Трудно эсерамъ ужиться съ большевиками. Уже подъ 1918 г. сообщается: «бѣгство въ Одессу», а в 1919 «возвращеніе заграницу». И теперь уже навсегда.

Въ Парижѣ встрѣтились мы въ 1924 году. Цетлины жили на rue de la Faisanderie (позже на rue Nicolo). Здѣсь былъ у нихъ литературно-политическій салонъ. Элита русская («звѣздная палата эмиграціи», какъ говорили недоброжелатели). Тутъ можно было встрѣтить Милюкова и Керенскаго, Бунина, Алданова, Авксентьева, Бунакова, Вишняка, Руднева, Шмелева, Теффи, Ходасевича, позже и Сирина. Здѣсь я познакомился съ Р. М. Рильке. Тутъ устраивались наши литературныя чтенія. Встрѣчались мы теперь часто, и чѣмъ дальше шло время, тѣмъ прочнѣй, спокойнѣе, благожелательнѣй становились отношенія наши. Нельзя было не цѣнить тонкаго ума, нѣсколько грустнаго, Михаила Осиповича — его вкуса художественнаго, преданности литературѣ, всегдашней его скромности, какой-то нервной застѣнчивости, стремленія быть какъ-бы въ тѣни. Единственно за что я упрекалъ его — что мало пишетъ. Дѣйствительно, была у него книга стиховъ, но давнишняя, да писалъ онъ рецензіи въ «Современныхъ Записках» (домъ Цетлина былъ какъ бы главнымъ штабомъ этого замѣчательнаго журнала). Между тѣмъ и обстановка и условія жизни къ писанію располагали. Онъ могъ писать не для заработка, отличная библіотека подъ рукой, и т. п. Но вотъ, какъ неторопливо прихрамывалъ онъ гдѣ-нибудь на rue de la Pompe, опираясь на палочку, такъ же не торопился и въ литературѣ и все будто стѣснялся. Однако, въ началѣ тридцатыхъ годовъ выпустилъ «Декабристовъ», книгу отличную, живую и полную усерднаго знанія и расположенности къ эпохѣ. А еще позже, передъ самой войной книжку стиховъ подъ давнимъ своимъ псевдонимомъ Амари — «Кровь на снѣгу» (тоже о декабрьскомъ дѣлѣ).

21 іюля 1939 г. записалъ онъ, какъ бы въ наставленіе себѣ: «Если Богъ дастъ жизнь и дастъ миръ міру — использовать оставшуюся жизнь для работы. Постараться выпускать каждый годъ по книгѣ». Приложенъ и планъ — на двадцать

лѣтъ впередъ. Обширно. И Свинбёрн, и Мусоргскій и «Фантазія» опять о декабристахъ, и переводы, и народовольцы, и исторія еврейскаго народа, и дневникъ, и стихи... — и многое, до 1959 г., до 77 лѣтъ. А вотъ тогда — «если смерть не подумаетъ обо мнѣ много раньше, можно будетъ подумать о смерти».

Мира Богъ міру не далъ. Отъ нашествія нѣмцевъ Цетлинымъ пришлось въ третій разъ уѣзжать — все на западъ, на западъ... Но и тамъ, основавшись въ Нью Іоркѣ, Михаилъ Осиповичъ литературы не бросилъ. Эти строки печатаются въ имъ-же созданномъ «Новомъ Журналѣ», сынѣ «Современныхъ Записокъ». На любимое дѣло полагалъ онъ послѣднія силы — самъ писалъ, самъ читалъ рукописи.

Вмѣсто двадцати, Господь далъ ему всего семь лѣтъ жизни. Изъ программы удалось напечатать лишь большой томъ «Пятеро и другіе», не одинъ Мусоргскій, а вся могучая кучка — очень цѣнная и благородная книга. Она увѣнчиваетъ достойно достойную жизнь. Беря ее въ руки, лишній разъ ощущаешь горечь разлуки. За ней долгая, чистая жизнь, затаенная и застѣнчивая, человѣка высокой культуры и тонкой выдѣлки — истиннаго писателя, такъ до конца и оставшагося себѣ вѣрнымъ.

Бор. Зайцевъ

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Въ тѣ годы дальніе, глухіе
Въ сердцахъ царили сонъ и мгла:
Побѣдоносцевъ надъ Россіей
Простеръ совиные крыла,
И не было ни дня, ни ночи,
А только тѣнь огромныхъ крылъ;
Онъ дивнымъ кругомъ очертилъ
Россію, заглянувъ ей въ очи
Стекляннымъ взоромъ колдуна;
Подъ умный говоръ сказки чудной
Уснуть красавицѣ не трудно,
И затуманилась она,
Заспавъ надежды, думы, страсти...

А. Блокъ. Возмездіе

Восьмидесятые годы пользуются дурной славой въ Россіи и оставили по себѣ недобрую память. Въ косности, въ сонной недвижности они далеко оставляютъ за собою Николаевское время. Тогда писали Пушкинъ и Гоголь, пронеслась комета Лермонтова, начиналъ крестный путь Достоевскій. Тогда съ Кавказа шла живая струя горного воздуха, вѣяла романтика войны и приключеній. Тогда писалъ Бѣлинскій, глубокіе борозды взрывали въ своихъ кружкахъ западники и славянофилы, Герценъ, Хомяковъ, Бакунинъ. Въ восьмидесятые годы все, казалось, замирало. Кончилась героическая авантюра Народной Воли. Умеръ Достоевскій, умеръ Тургеневъ. Позади была романтика славянскаго освобожденія. Русскій царь ловилъ рыбу въ финскихъ водахъ, а Европа понапрасну ждала, чтобы его леску потянуло. Весь ритмъ жизни замедлился и

Въ бумагахъ покойнаго М. О. Цетлина оказались отрывки работы о русскихъ символистахъ, задуманной и начатой имъ въ послѣдній годъ его жизни: краткіе наброски главъ о Брюсовѣ, Бальмонтѣ, Блокѣ, Бѣломъ, Волошинѣ, Сологубѣ, отдѣльные записи о «Вѣсахъ», о «Золотомъ Рунѣ», о прозѣ Блока. Та глава книги, которую мы печатаемъ в «Новомъ Журналѣ», повидимому должна была служить введеніемъ къ этому большому труду. Она тоже не была закончена авторомъ. **Ред.**

пульсъ ея не бился. Толстой бросилъ художественное творчество для проповѣди своего буддійскаго христіанства и тачалъ сапоги. Молодой Чеховъ разсказывалъ анекдоты въ невинныхъ юмористическихъ журнальчикахъ, въ разныхъ «Осколкахъ» и «Будильникахъ», повторявшихъ остроты о тещахъ, кухаркахъ и пожарныхъ. Въ толстыхъ журналахъ царила безнадежная скука.

Хуже всего обстояло дѣло с литературой и въ особенности съ поэзіей. Въ беллетристикѣ царили Потапенко и Іеронимъ Ясинскій. Правда, писалъ Короленко, но и его слишкомъ спокойные и какъ украинская природа мягкіе разсказы не очень оживляли литературу. И онъ не нарушалъ безбурную гладь русской прозы. На всю Россію прошумѣлъ юный Надсонъ. Ему подражали Минскій, Фругъ и молодой Мережковскій. Адвокатъ Андреевскій писалъ о вырожденіи рифмы и могъ бы писать о вырожденіи поэзіи. Было душно, обыкновенно, прозаично. Боевое народничество вырождалось въ сладкую меньшиковщину (ибо Меньшиковъ былъ тогда народникомъ), въ мелкотравчатость В. В. и Николай —оновъ. Гражданская лирика делалась скучной, а реализмъ — плоскимъ до полнаго прекращенія искусства. Гимназіи бездушно корпѣли надъ латинскими глаголами. Университеты не знали еще безпоряковъ, и въ нихъ не было Грановскихъ.

Въ это время въ Петербургѣ нѣсколько литераторовъ сгруппировались вокругъ журнала, приобрѣтеннаго писательницей Любовью, или въ просторѣчіи, «Любочкой» Гуревичъ. Это была одна изъ нерѣдко встрѣчающихся в литературныхъ кругахъ писательницъ. Милая и добрая женщина, не лишенная подражательнаго таланта, она была женой гораздо болѣе яркаго и очень необычного человѣка, критика и философа, эстета и немного пророка Акима Волынского. Для него она вложила свои небольшія средства въ трудное и невѣрное дѣло «толстого» журнала.

«Сѣверный Вѣстникъ» былъ осужденъ на неуспѣхъ: слишкомъ шелъ онъ вразрѣзъ со всѣмъ, что тогда нравилось и владѣло умами. Волынскій — это былъ псевдонимъ, его настоящая фамилія была Флексеръ и Чеховъ съ не-безспорнымъ остроуміемъ звалъ его «филоксерой», — былъ одаренъ незаурядным даромъ слова, тѣмъ «комнатнымъ» даромъ слова, который встрѣчается много рѣже, чѣмъ площадной митинговый ораторскій талантъ. Онъ могъ говорить часами какъ одержимый, вдохновенно и самозабвенно. Говорятъ, что случались съ нимъ при этомъ лапсусы: «Небо вверху» возглашал онъ, предваряя антитезу Мережковскаго, и при этомъ указывалъ на полъ, и «небо внизу» — и онъ возводилъ руки къ потол-

ку. Волынскій былъ необычайно оригиналенъ для своего времени: отрицалъ «общественное» и «гражданское» искусство, отрицалъ всю русскую «общественную» критику, обожалъ искусство и писалъ монографію о Леонардо да Винчи. Онъ чуть ли не первый вполнѣ оцѣнилъ Достоевскаго, въ то время, когда для русской публики это былъ преимущественно «жестокій талантъ». Но все тонуло у него въ потокѣ библейского пророческого пафоса. Читать его въ наши дни трудно.

«Сѣверный Вѣстникъ» поднялъ знамя идеализма, «искусства для искусства», эстетизма. Среди его сотрудниковъ были молодой Мережковскій со своей женой Зинаидой Гиппіусъ, Минскій, Льдовъ, приходилъ педагогъ, директоръ низшей народной школы, по фамиліи Тетерниковъ. Къ нему относились снисходительно. Стихи онъ писалъ какъ будто гладкіе, совсѣмъ словно подъ Пушкина, но что-то въ этихъ стихахъ было ядовитое и безпокойное. Разумѣется въ редакціи понимали, что нельзя быть поэтомъ с такою профессіей и съ такою фамиліей. Но профессію перемѣнить было трудно. Что касается фамиліи, то Минскій предложилъ открыть наудачу энциклопедическій словарь и взять первую фамилію, какая попадется на глаза въ качествѣ псевдонима. Вышла фамилія «Сологубъ». Отбросивъ графскій титулъ и опустивъ одно «л», молодой поэтъ подписалъ свои стихи «Федоръ Сологубъ».

Самыми крупными дарованіями въ группѣ обладали мужъ и жена Мережковскіе. Д. С. Мережковскій опубликовал уже нѣсколько книгъ стиховъ, одна изъ которыхъ носила названіе «Символы», но ничего символическаго въ его стихахъ еще не было, да въ сущности и никогда не было, и дарование оказалось въ нихъ не крупное, чуть изысканнѣе Надсона, чуть слабѣе Минскаго. Но молодой человѣкъ этотъ, невысокій, съ высоко поднятой головой, съ высокимъ и узкимъ лбомъ, одѣтый въ черный сюртукъ съ большимъ галстухомъ, нѣсколько высокомѣрный и даже надменный подавалъ большія надежды. Говорилъ онъ, пожалуй, не хуже самого Акима Львовича Волынского, менѣе страстно, но болѣе отточено и изящно. Способности у него были необычайныя. Онъ свободно читалъ по гречески и греческія слова звучали въ устахъ его плавно и возвышенно. Онъ читалъ необыкновенно много и зналъ все не по изложеніямъ, а по первоисточникамъ. Его молодая жена была совершенно очаровательна. Тоненькая гибкая фигура, чудные, золото-пепельные волосы, зеленоватые умные глаза, иронія и остроуміе, все въ ней ослѣпляло. Въ нее много влюблялись. Сильно и безнадежно былъ въ нее влюбленъ маленькій приземистый краснощекій Минскій. Кто бы могъ подумать, что въ этомъ плотномъ здоровякѣ таится

туберкулезъ, но и что со своею чахоткой à la Надсонъ онъ проживетъ до мафусаиловыхъ лѣтъ и переживетъ большинство своихъ сверстниковъ.

Мережковскаго интересовали религіозные вопросы, а не эстетическіе. Но Гиппіусъ была вся переполнена литературными интересами, мечтала о своемъ журналѣ. Въ ней было много «декадентскаго яда». Онъ никакъ не годился въ вожди литературной революціи; въ ней не было для этой роли нужной смѣлости и иниціативы.

2.

Эти вожди явились и явились не въ Петербургѣ, а въ Москвѣ.

Въ Замоскворѣчьѣ, въ мелкой купеческой семьѣ росъ странный юноша. Фамилія у него была тоже странная, красивая, похожая на псевдонимъ — «Брюсовъ», а имя — Валерій. Онъ самъ хорошо описалъ свое дѣтство в обстановкѣ лабаза. Впрочемъ, его мать была довольно интеллигентной женщиной, да и отецъ былъ не чуждъ литературы.

Черноволосый, некрасивый гимназистъ обладалъ выдающимися способностями. Онъ рано позналъ радости и разочарованія покупной любви въ московской «Субуррѣ», т. е. въ кварталѣ публичныхъ домовъ. Объ этой любви написалъ онъ впослѣдствіи одно изъ лучшихъ своихъ стихотвореній.

Ходятъ и дерзко поводятъ плечами,
Юбками, бедрами, шелкомъ...

Но въ немъ навсегда отъ этой «Субурры» осталось воспріятіе любви, какъ муки, какъ физической пытки. Это не было «безъ черемухи», онъ идеализировалъ любовь, но въ сторону боли, пытки, ужаса. Въ сущности этотъ юноша былъ по натурѣ консерваторомъ. Къ бытовому и политическому консерватизму склоняла его вся обстановка его жизни, вся его властолюбивая, замкнутая натура. Была въ немъ и методичность, педантическая любовь къ порядку, къ систематикѣ. Все у него въ кабинетѣ было приглажено, прибрано. На всю жизнь вынесъ онъ изъ своей среды нелюбовь къ евреямъ, склонность къ «квасному» патріотизму, къ русскому имперіализму. Но съ другой стороны эстетическій индивидуализмъ, немного любительская жажда новаго влекли его къ аристократически замкнутому искусству французскихъ «де-

кадентовъ». Главное же онъ почувствовалъ въ этомъ искусствѣ большія возможности въ области новаторства.

По большей части новаторы слѣдуютъ законамъ своей личности, наперекоръ установившимся вкусамъ. Истинные революціонеры дѣлаютъ революцію какъ бы помимо своей воли. Но въ случаѣ Брюсова, кажется, была сознательная воля, продуманное намѣреніе. Онъ хотѣлъ быть вождемъ, онъ хотѣлъ славы. И съ большимъ практическимъ чутьемъ онъ понялъ, что все это можно обрѣсти въ «декадентствѣ». Порой кажется, что Брюсовъ былъ прежде всего властолюбцемъ и честолюбцемъ. Въ чемъ могъ онъ найти просторъ для своего честолюбія? Въ торговлѣ? Но онъ не хотѣлъ богатства. Въ чиновничьей карьерѣ? Отъ этого были далеки москвичи. Да и безъ родственныхъ связей трудно было начинать бюрократическую карьеру. Брюсовъ рано увлекся Римомъ. И, кажется, видѣлъ себя императоромъ отъ литературы.

Мих. Цетлинъ

А. Г. РУБИНШТЕЙН

(Из воспоминаний)

Меня постоянно упрекают в том, что я живу только воспоминаниями, что я не хочу считаться с тем, что жизнь идет вперед и все кругом меняется. Говорят мне, что старое пора забыть, что строится новый мир, что мы живем в необыкновенно интересное время... Да, время конечно интересное! Но как подумаешь о том, что из всего этого может выйти, то мысли невольно возвращаются к старому. Опять вспоминаешь «доброе старое время», старую музыку, дорогих покойников. За последнее время, один за другим ушли мои друзья — замечательные музыканты: братья Конюс, Рахманинов, Левин, Белоусов, и последним — Зилоти. Остался я один из нашей музыкальной семьи. И когда вспоминаешь тех, кто уже ушли, то проходят они чередой, совсем, как у Жуковского: «из гроба встает полководец» — Рубинштейн, и «маршалы едут за ним»: Чайковский, Танеев, Рахманинов, Скрябин... И не хочется с ними расставаться и хочется снова о них говорить, вспоминая безвозвратно ушедшее прошлое.

**

*

Не так давно исполнилось 50 лет со дня кончины нашего «полководца» — А. Г. Рубинштейна. Мне кажется, что сейчас молодым музыкантам имя А. Г. говорит не много: произведения его поблекли — даже пианисты их почти не исполняют, а было время, когда он как композитор возглавлял музыку в Европе — музыку его заграницей играли больше чем в России. Как о пианисте говорить о Рубинштейне еще труднее: те, кто его не слышали, все равно до конца меня понять не смогут. Я помню свое чувство, когда старики рассказывали мне о том, как играл Паганини: у меня получалось впечатление, что Паганини — это какой-то миф. Скажу потому просто, что такого пианиста как Рубинштейн я больше в жизни своей не слыхал.

В дни моей молодости мы слышали в Москве замечательных пианистов. Не говоря уже о наших профессорах — Танееве, Пабсте, Зилоти, Бузони, Сапельникове, Есиповой, Софии Ментер, — мы увлекались и приезжавшими заграничными пианистами. Какой успех имели у нас Д'Альбер, Рейзе-

науер, Розенталь, Падеревский и позднее Гофман Но никому и в голову не приходило сравнивать любого из них с Рубинштейном. Он был недосягаем и таким и остался для меня до сих пор. Да! Он воистину был «Великим Антоном», как его тогда называли.

Когда говорят о виртуозах, то прежде всего говорят об их технике, при чем к сожалению под техникой подразумевают преимущественно «беглость» и «четкость». Настаивать на технике Рубинштейна было бы просто смешно, да об ней, слушая его, никто и не думал, так как всякий чувствовал, что она у него не цель, а только средство для художественных достижений. Техника же его, или вернее его «власть над инструментом», была, конечно, неподражаемой. А. Г. говорил, что педаль — «душа фортепьяно»». То, что он сам делал педалью, было непостижимым. Я, например, утверждаю, что слышал у него crescendo на одной ноте. Мне могут сказать, что это невозможно, что это моя фантазия. Может быть, но это crescendo я слышал. Если это был гипноз, то А. Г. был маг и волшебник! Да он конечно таковым и был.

16 ноября 1889 года мы торжественно праздновали в Москве 50-летие его артистической деятельности. Был ряд концертов из его сочинений. Особенно памятен мне концерт, где он аккомпанировал Е. А. Лавровской. Я думаю, что за всю жизнь ей такой аккомпанимент и не снился! Через год или два (сейчас точно не помню) Рубинштейн дал свой концерт в зале Дворянского Собрания. Зал, вмещавший 4-5 тысяч человек, был переполнен. И по программе, и по исполнению этот концерт был совершенно исключительным. Как сейчас слышу B moll-ную сонату Шопена: похоронный марш, от которого жутко становилось, и последнюю часть — про нее сам Рубинштейн говорил, что в ней ему слышится «ветер на могиле». Жив в памяти и «Лесной Царь» Шуберта — Листа. Эти страшные октавы в начале — не скорость и не сила, а какой-то сверхестественный страшный звук: а затем кантилена — «ангельское пенье»... Иосиф Гофман рассказывал нам, что когда он занимался с А. Г. и проходил «Лесного Царя», то дойдя до этого места А. Г. сказал: «Иосиф, здесь ангелы поют; но, прежде чем играть это место по ангельски, выучите хорошо его играть по человечески». Программа этого незабываемого концерта кончалась собственными произведениями Рубинштейна, среди которых я тогда слышал в первый и последний раз его транскрипцию песни «Вниз по матушке по Волге». Я помню, что все мы уходили с этого концерта, как зачарованные.

И вот этот титан, когда он был не в настроении, не мог играть. Я помню два таких случая. Был симфонический концерт в Москве. Он играл свой «Konzertstück» с оркестром. Я играл в оркестре и сидел у хвоста рояля. Во время исполнения последней части лопнула струна в рояле и все время дребезжала. Я видел лицо А. Г., видел как на него действовала эта злосчастная струна. А. Г. смотрел на меня и я знал, что мне надо было встать и вытащить струну, но на меня нашло какое-то оцепенение. А. Г. кончил играть и, проходя мимо меня, под бурю аплодисментов, он с укором сказал мне басом: «неужели не догадался вытащить струну?» Я готов был провалиться сквозь землю. Его вызывали и он вышел злой и сыграл Des dur-ный этюд Листа. Это было ужасно: он весь этюд «промазал»! Но публика неистовствовала — чувствовалось, что она понимала, что это не в счет, что Рубинштейн еще сыграет, как только он может сыграть. И действительно, прошло несколько томительных минут, он снова вышел и сыграл As dur-ный этюд Шопена в триолях — Боже, что это была за музыка! Казалось, что руки у него не на клавишах — какие-то не фортепьянные, а неземные звуки наполняли весь зал... И вся многотысячная толпа замерла, затаив дыхание.

Другой случай. Обыкновенно, когда А. Г. приезжал в Москву, он бывал у нас в Консерватории, и полагалось, что сначала ученики ему играли, а затем он нам играл. В этот раз ученическую программу кончал Скрябин своей мазуркой. После Скрябина А. Г. вышел на эстраду, попросил потушить свет, и начал прелюдировать на тему скрябинской мазурки. Он долго фантазировал, но видно было, что у него ничего не выходит. Вдруг он остановился и сказал: «нет дети, не могу играть!..» В сопровождении директора и профессоров он вышел из зала. Мы были в отчаянии, но никто из нас не двинулся с места — мы все были уверены, что Рубинштейн вернется и для нас сыграет. И действительно — он вернулся минут через 15-20 и без прелюдирования сыграл сонату «Quasi una fantasia» Бетховена. Какая это была божественная игра! Как звучал рояль! И, когда подумаешь, что это был не Стенвей и не Бехштейн, а наш добрый старый Беккер!

Вспоминая А. Г., нельзя обойти молчанием брата его — Николая. Для нас Н. Г. был легендарной личностью. Лично мы его не знали — он умер в 1881 году, но дух его долго еще царил в Московской Консерватории, которую он создал. Говорили, что хотя он был «диктатором-громовержцем» все — и профессора, и ученики, и служащие — его обожали. По словам Чайковского, Ларош, Кашкина и других, он был такой

же коллос-музыкант, как и его брат. Н. Г. тоже играл всюду в Европе, но не так много как А. Г., так как всю свою жизнь посвятил Московской Консерватории и дирижерству. По свидетельству тех же его друзей, он был «гениальным дирижером». Москва его боготворила. Рассказывали мне такой случай. Между братьями произошла какая-то ссора и в публике это стало известно. А. Г. в это время объявил свой концерт в Москве. И вот Москва, из чувства солидарности принявшая сторону Николая, бойкотировала концерт Антона — билеты не продавались и концерт пришлось отменить. Через некоторое время братья помирились, и Николай пригласил Антона выступить в симфоническом концерте. Когда на эстраде появились братья, овациям не было конца: аплодировали, стучали, кричали. По словам очевидцев, можно было опасаться, что зал Дворянского Собрания рухнет. После божественного исполнения концерта Шумана публику ожидал сюрприз: на эстраду выдвинули второй рояль и братья исполнили «Вариации» Шумана. Тут мои старики говорили, что ничего подобного они не слышали и вряд-ли услышат.

В то время у нас, музыкальной молодежи, было два кумира: Рубинштейн и Чайковский. Вспоминается, как П. И. Чайковский определял свое отношение к Бетховену и Моцарту: Бетховен — это Бог-Саваоф, перед которым он поклоняется, но который подавляет его своим величием; Моцарт же — это его Христос, которого он обожает, но не боится. Такие же чувства были у меня по отношению к моим двум кумирам. Кто-то сказал о П. И. Чайковском, что когда он входит в комнату, в комнате становится светлее. Я бы сказал про А. Г., что, когда он входил в комнату, в комнате наступала торжественная тишина: вошел великий человек... Умер А. Г. 64-х лет от роду. Ушел от нас в полном блеске своего гения. Я думаю, что его концерт в Московском Дворянском Собрании, о котором я писал выше, был если не последним, то одним из последних. Около того же времени он получил приглашение из Америки — предлагали миллион рублей за турнэ. Предложение это он отклонил, а когда его спрашивали почему он отказался, он отвечал: «Деньги меня не интересуют, бесконечные поездки по Америке меня пугают, а главное — я здесь нужен моей Консерватории».

Таков был наш «полководец», незабвенный «Великий Антон».

Н. Авьерино

КАК РОССИЯ ОБОРОНЯЛАСЬ

Уже обсыхают слезы жен и матерей, дожди смыли последние кровяные лужи и поля битв зарастают травой... Война уходит назад, превращаясь из трагедии в историю. Скоро она будет сдана ученым и стратегам, новелистам и мемуаристам. Между тем, она не потеряла еще своего актуального значения.

И так как многое забывается и замалчивается, то легенды, ad hoc создаваемые, нелепые и пустые, уже вытесняют серьезную мысль. К числу самых вздорных из них относится сказание о великих заслугах в этой войне советского правительства перед своим народом. Гений Сталина — каждый день повторяют пресса и радио с востока, все ораторы и писатели —все предвидел и предусмотрел, он все подготовил. Благодаря ему Россия смогла выиграть эту войну. Только советский строй, его политика и экономика обеспечили победу. Страна вышла из войны более сильной, чем она вошла в нее.

«Война — говорил Сталин — устроила нечто вроде экзамена нашему советскому строю, нашему государству, нашему правительству, нашей коммунистической партии и подвела итоги их работы, как бы говоря нам: вот они, ваши люди и организации, их дела и дни, — разглядите их внимательно и воздайте им по их делам». Главный итог войны, по его мнению, состоит в том, что «победил наш советский общественный строй», т. е. социальная система, которую он называет социализмом; и «победил наш советский государственный строй», т. е. специфическая советская система диктатуры.

Эта идея сделалась руководящей в послевоенной политической идеологии. Ее по два-три раза в месяц повторяет каждая из больших газет; с более глубоким обоснованием ее регулярно подает «Большевик»; ее популяризируют в тысячах кружков, в университетах и школах. Согласно этой теории, сталинская индустриализация, сопряженная для населения с громадными лишениями, была средством построения военной индустрии, и пятилетки оказались решающими в войне с Германией. Коллективизация и ликвидация миллионов кулаков

послужили снабжению армии. Пакт с Германией 1939 г. дал два года сроку для хорошей подготовки к военным операциям. В 1939-40 гг. завладение Прибалтикой и Восточной Польшей и война с Финляндией были стратегическим передвижением границ на запад: новоприобретенные территории служили буфером на случай германской атаки. Генералы-изменники были казнены. Офицеры-изменники были вычищены. И вот когда Германия ударила, мы «один на один» повергли ее в прах

Не то удивительно, что в Советском Союзе все публичные выступления построены на этой философии — разве может быть иначе? — но удивительно, как быстро и легко эта теория усвоена была в странах, где люди имеют право на правду и где критика не карается. Сталин, как спаситель России, и его правительство как лучший организатор национальной обороны — это самая фальшивая из после-военных легенд. Повидимому, способность самостоятельно и критически мыслить получила в войне тяжелую контузию...

Но в самой России есть и другой взгляд на ход и исход войны. Он не находит, конечно, публичного выражения; но он беспокоит официальные круги. Глухо упоминая о неназываемых по имени советских историках, пресса обвиняет их в стремлении «протащить влияние буржуазной идеологии»: они не согласны признать, что Россия вышла из войны победителем благодаря своему советскому строю. Они считают, что решающим фактором оказались российские пространства, а не гениальная политика правительства; что тысячи километров, отделявшие от Берлина германскую армию на Волге, возместили отсутствующие тысячи советских танков и авионов!

В момент победы, когда мыслящие люди стали уже подводить первые итоги, «Большевик»*) обрушился на «некоторых историков», которые «доходили даже до того, что главным фактором в победе над Германией считали огромное пространство нашей родины, намекая при этом, что пространства завоеваны прежними властями. При этом игнорируется решающий фактор наших побед в Отечественной войне — наличие советской власти, которая преобразовала страну, сделала ее передовой и могучей, а наш талантливый народ — действительно непобедимым».

Это, действительно, совершенно иная философия истории. Она прямо противоположна официальной. Но она куда более серьезна. И выводы из нее идут далеко, очень далеко...

*) 1945, № 13.

II.

Экзамен — это верно. Картина России в настоящий момент — это ответ на вопрос, как ее правительство организовало оборону.

В 1939 г., за несколько месяцев до начала войны, нарком Ворошилов, по поручению Политбюро, докладывал партийному съезду о состоянии советских вооружений и заверял своих слушателей, что если кто-либо вздумает напасть на Советский Союз, то —

«враг будет на-коротке смят и уничтожен».

На этот счет не было сомнения. Порукой было, по Ворошилову, состояние вооруженных сил. «Тов. Сталин, вся партия, весь народ требуют, чтоб мы не отставали от наших соседей в области вооружений и оборонной мощи нашего государства, и мы, как видите, не отстаем, не имеем права отставать. (Апплодисменты)».

Какие-же могли быть сомнения, если даже в области авиации мы всех догнали и перегнали? «Эта масса разящего металла (воздушные бомбы) может быть неплохой смирительной рубашкой для охваченных бредовыми идеями аггрессоров, если они в безумном порыве полезут на землю советов. (Бурные апплодисменты)».

«Сейчас нередко встретить на наших военных аэродромах не только истребитель, но и бомбардировщик со скоростями, далеко перевалившими за 500 километров в час (бурные апплодисменты. Возгласы «Ура», «Да здравствует тов. Сталин!», «Да здравствует тов. Ворошилов!», «Да здравствует Красная Авиация!», «Ура». Зал, стоя, устраивает овацию вождю народов, т. Сталину)».

Если так велики военные силы, то совершенно правильной была стратегическая идея того времени, которую Ворошилов не переставал повторять от 1935 до 1939 г.; бить противника на е г о территории, а не на советской. Без сомнения, она принадлежала Сталину, а не Ворошилову. Это было обещанием уберечь страну от ужасов оккупации.

Когда Гитлер произнес свою воинственную речь в Нюрнберге 10-го сентября 1936 г., Ворошилов приехал в Киев и заявил на митинге 16-го сентября:

«Я уже не раз заявлял и еще раз хочу здесь сообщить всей Советской Украине, что у нас имеется одно намерение, одна твердая воля, что, если враг нападет на Советскую Украину, на Советскую Белоруссию или другую часть нашего Союза, мы не только не пустим врага в пределы нашей родины, но будем его бить на той территории, откуда он пришел».

«Война теперь будет, товарищи, очень грозной, очень жестокой, с применением всех самых страшных средств. Можете себе представить, если борьба разыграется на территории нашей страны, разорение будет во всех районах ужасное. Поэтому мы должны так готовиться чтоб, если противник появится, бить его обязательно на его территории».

Ворошилов повторял это не раз впоследствии: «Красная Армия готова бить врага там, откуда он осмелится двинуть свои полчища на нашу родину»*).

Ту-же идею развивал затем и редактор «Правды» Мехлис На съезде 1939 г. он формулировал ее так: «Перенести войну на территорию противника!» Как всегда, эта формула была немедленно «спущена вниз» в так наз. низовые организации, и уже в армейских газетках и даже стихах внедрялась слушателям и читателям эта мысль: если на страну нападет Япония или Германия, то они встретят на границах советскую армию, которая будет не только способна отбросить агрессоров, но и накажет их тем, что театром разрушительных операций, разорения и смертей, сделается неприятельская страна, а не ни в чем не повинная Россия.

Ход войны показал, что эти обещания не были сдержаны. Наоборот, ни в какой другой стране, подвергшейся нападению, разрушения не достиг и таких размеров. И ни одна страна не заплатила такой цены, какую пришлось заплатить России. Цена, заплаченная Россией за победу — это масштаб, которым измеряется умелость и успешность организации обороны ее правительством.

В первой мировой войне, потери всех участников ее убитыми и умершими составляли около девяти миллионов. Среди них почти равное место занимали четыре державы европейского континента: Россия, Франция, Германия и Австро-Венгрия. Каждая из них потеряла около полутора миллиона человек. На долю России выпало около 14-15 процентов общих потерь убитыми и умершими. Ниже миллиона были потери Англии, Сербии, Бельгии, Соединенных Штатов и др.

Во второй мировой войне общее число потерь (в европейской кампании) всех стран, кроме России, составило всего один миллион на стороне союзников; 3½ миллиона у Германии и ½ милл. у ее союзников. Но как велики человеческие потери России? На этот вопрос вразумительного ответа не дано.

Во время войны, о разрушениях, причиненных немецкими армиями писалось много в советской прессе, и иностранным

*) Речь на октябрьских торжествах 1936 г.

корреспондентам не возбранялось цензурой передавать за границу огромные, подчас преувеличенные цифры человеческих потерь. Свободно сообщалось, что в Ленинграде от голода умерло полтора миллиона; что из гражданского населения немцами уведено в рабство до десяти миллионов; что общие потери России убитыми исчисляются в 15, 20 или даже 25 миллионов. Профессор Картер, стоявший во главе Американского Общества Помощи России, говорил о сорока миллионах потерь. Как будто исчезло ощущение реальности, и миллион смертей — если речь шла о России — не вызывал ни изумления, ни ужаса.

Война кончилась, ее итоги стали подводиться во всех странах. Англия и Америка опубликовали точные и подробные данные о своих человеческих жертвах; приблизительные цифры стали получаться для Франции; даже для Германии оккупационные власти съумели подсчитать потери на основании сохранившихся материалов.

Иначе было дело в России. Чрезвычайная Государственная Комиссия усиленно работала, чтоб обосновать советские требования репараций, и пришла к выводу, что война принесла России ущерб в 679 миллиардов рублей. Она подсчитала разрушенные избы, зарезанный скот, домашнюю утварь. Но что она замолчала — ибо за это никто не уплатит — это человеческие жертвы. Больше года прошло с тех пор, как война закончилась, но нет ни точных данных, ни даже приблизительных официальных цифр по этому вопросу.

Американские и английские работы пробовали составить представление о человеческих жертвах в этой войне, и оказалось, что вопрос о России был самым трудным. В недавно вышедшей «Britannica Yearbook» за 1946 г. (приложение к Британской Энциклопедии) цифра убитых и умерших для России указана — от 12 до 15 миллионов, из которых половину составляют военные, а другую половину — гражданское население. «World Almanac» за 1946 г. дает те-же цифры. При этом не принималась во внимание, очевидно, смертность среди русских пленных, число которых по немецким данным достигало 5.600.000; возможно, что эта цифра преувеличена. Не было также никаких цифр о «пропавших без вести», которые, как всегда, дают большой контингент погибших. В «Нью Йорк Таймс» Хэнсон Болдвин 6-го июня 1945-го г. оценивал военные потери в Европе (не считая гражданских) убитыми и умершими в 14 миллионов. Если эта цифра правильна, на долю России выпало-бы не меньше девяти миллионов. По словам «Newsweek» (18-го февраля с. г.) официальные американские круги считают, что число убитых и умерших (одних

лишь военных) для России составляет по меньшей мере семь миллионов. Профессор Франк Нотстейн, крупный ученый в области демографии, пишет о потерях России: «Мы можем принять цифру в 20 миллионов в качестве гипотетической цифры — высокой, но не очень преувеличенной — военных и сверх-нормальных гражданских смертей плюс значительное падение рождаемости в военные годы»*).

В недавно вышедшей работе «The Population of Soviet Union» проф. Франк Лоример принимает гипотетически следующие цифры: 5 миллионов чисто-военных смертей и 9 милл. как излишек смертей над рождениями в гражданском населении.

Советская-же пресса продолжала молчать. С осени 1945-го г. началась подготовка к новой пятилетке. О военных потерях и разорении говорилось уж мимоходом, ибо теперь надо было создавать оптимистические настроения; надо говорить о грандиозных успехах и растущем энтузиазме, а не вспоминать о неизлечимых ранах. В течении пяти лет восстановить разрушенное и перейти за до-военный уровень: в этой формулировке четвертой пятилетки обязательным элементом является умалчивание о человеческих потерях. Они не могут ведь быть возмещены ни в одну, ни в две пятилетки, если речь идет о взрослых людях.

Поэтому сейчас тенденция обратная — обратная той, которая господствовала в военное время: замалчивать и преуменьшать потери в войне. Полемизируя против Черчиля, Сталин мимоходом коснулся и человеческих жертв. «Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, — говорил Сталин, осторожно выбирая формулировку — а также благодаря немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу — около семи миллионов человек». Сталин говорит здесь о потерях России во-первых в боях, во-вторых благодаря оккупации, и в-третьих на немецкой каторге. Но он опускает, согласно давно установленной русской традиции, пленных и пропавших без вести, а также жертвы осады Ленинграда. В первой мировой войне число русских убитых по данным Генерального Штаба составляло около 775.400 человек**). Эта цифра была значительно ниже германских, австрийских или французских потерь. Когда, однако, были затем приняты во внимание и пропавшие без вести и т. д., то

*) «Atlantic Monthly», Июнь 1946 г.

**) «Россия в мировой войне», изд. Ц. С. У., стр. 4.

русские потери были определены примерно в 1½-2 миллиона, и это число сделалось затем общепринятым. В тех условиях, в которых протекала и первая и вторая мировая война, эта категория русских потерь должна быть не меньше, чем число тех, о смерти которых официально известно в картотеках военного ведомства.

Смертность среди пленных — это категория, которую знать не хотят советские статистики. Пленный — это предатель; полагается умереть в бою, но не сдаваться; каждый воин должен быть героем. Советское правительство не присоединилось к Женевской Конвенции о военнопленных, и русские пленные, составляя главный контингент военнопленных в Германии, не получали ни моральной, ни материальной поддержки от своего правительства. Красный Крест не имел доступа в немецкие лагеря для русских. Там царил чудовищный голод, от которого гибли тысячи... Другие тысячи погибали на работах. Десятки тысяч измученных и изголодавшихся пленных записывались во власовскую армию. Сколько пленных было всего и сколько из них погибло, пока не известно. Речь, очевидно, идет о миллионах. На Нюрнбергском процессе было установлено, что за одни лишь последние четыре месяца 1941-го г. 500.000 русских пленных умерло в германских лагерях. Конфиденциальный доклад германского министерства труда, относящийся к более позднему времени, говорил, что из четырех миллионов русских пленных лишь 1.300.000 считались способными к труду, а из них лишь 400.000 работали. В другом докладе о русских пленных говорилось, что «нет смысла перевозить рабочую силу в открытых и нетопленных вагонах, ибо в таких случаях приходится выгружать одни лишь трупы». По окончании войны, правительство Соед. Штатов сообщило, что 99% бывших в плену американцев вернулись домой. Советское правительство не сообщило соответствующей цифры; она без сомнения ниже пятидесяти процентов.

Это пренебрежительное отношение к миллионам жизней — самая характерная черта советской системы ведения войны. Чтоб положить конец дезертирству, чтоб подчеркнуть свою непримиримость к врагу и чтоб не допустить Красный Крест в казармы для немецких военнопленных в России, правительство заранее скинуло со счетов всех тех своих граждан, которые, почти всегда не по своей вине, попали в плен... Это не помешало ему, конечно, потребовать после войны их насильственного возвращения, когда недостаток в рабочей силе сделался бичом для советского хозяйства.

III.

На основании всех имеющихся материалов — точных для одних стран и лишь приблизительных для других — можно составить некоторое представление о потерях в первой и второй мировых войнах:

УБИТЫЕ И УМЕРШИЕ (Европейская Кампания)

	Первая Мир. Война	Вторая Мир. Война Военные	Вторая Мир. Война Военные и Гражд.
Союзники			
США	126.000	202.000	202.000
Россия	1.700.000	6-8.000.000	12-16.000.000
Франция	1.350.000	165.000	400.000
Брит. Имп.	900.000	400.000	450.000
Прочие *)	1.060.000	450.000	5-6.000.000**)
Итого:	5.136.000	7.217.000	17.052.000
		9.217.000	22.052.000
Процент для России:	33%	83-87%	76-80%
Германский блок			
Германия	1.775.000	3.100.000	3.500.000
Австро - Венгрия ..	1.200.000		
Прочие ***)	400.000	400.000	500.000
Итого:	3.375.000	3.500.000	4.000.000
Потери Союзников Германской коалиции:			
	8.511.000	**10.717.000**	**21.052.000**
		12.717.000	**26.052.000**

Потери России составляли таким образом лишь около 30 % потерь союзников в первой мировой войне и около

*) В первой мировой войне — Италия, Румыния, Сербия, Бель-гия, Греция, Португалия, Черногория; во второй — Италия после сентября 1943 г., Бельгия, Греция, Голландия, Норвегия, Польша, Югославия, Бразилия, и т д.

**) Включая около четырех миллионов в Польше и от полу-миллиона до миллиона в Югославии.

***) В первой мировой войне — Турция и Болгария; во второй — Италия, Румыния, Финляндия, Венгрия.

80% во второй. Широко распространенное представление, что последняя война была более кровавой, т. е. потребовала больше жертв, чем война 1914-18 гг., правильно лишь отчасти. Оно правильно по отношению к России, и неправильно по отношению к Франции, Англии и ее колониям. Но Россия, действительно, заплатила самую дорогую цену и потеряла больше жизней, чем все остальные страны — союзники и противники — взятые вместе.

Союзная Контрольная Комиссия в Берлине установила, как распределялись потери Германии между различными фронтами. Число убитых и умерших германских солдат на восточном фронте составляет 1.700.000, на западном 1.400.000 (кроме них, 350.000 было убитых среди гражданского населения, преимущественно при воздушных бомбардировках). Соотношение между потерями России и Германии на русско-германском фронте составляло 3:1 или, возможно, 4:1. Если принять во внимание и гражданское население, то диспропорция будет еще более разительной. Она означает, что три, четыре или более русских должны были умереть, чтоб убить одного немецкого воина. Можно видеть, сколько истины есть в шаблонных теперь фразах, что «война обнаружила неспособность фашистской Германии и превосходство Советского Союза в делах стратегии и организации войны». В действительности-же Россия устлала телами своих граждан весь путь германской армии от Варшавы до Сталинграда и покрыла опять трупами путь от Сталинграда до Берлина.

«Будьте героями», гласили призывы к солдатам Красной Армии; не щадите своей жизни; не сдавайтесь в плен; лучше погибнуть в бою, чем жить в позорном плену».

«Не будьте героями», обучали американских солдат, — «не надо безрассудной храбрости; нам нужна ваша жизнь». Америка давала своим воинам такое оружие и окружила их такой воздушной обороной, что она могла щадить кровь солдат. То же, в сущности, делала и Германия.

Советское правительство возмещало недостаток вооружения обилием пушечного мяса. «Если перевес на стороне врага слишком велик, — писал «Большевик»*) — тогда у наших частей и подразделений остается благородная цель каждого боя — убить больше немцев, за каждого нашего воина уложить 10-20 вражеских солдат и офицеров».

Это дополнялось большой пропагандной кампанией против дезертирства и приказами о беспощадном наказании тех,

*) 1942, № 16, передовая.

кто не выдержит натиска механизированной германской армии:

«Кто забывает о своем долге, кто предает свою родину, свою часть, соседей, тот изменяет отчизне. Не может быть никакой пощады нарушителям дисциплины. Нельзя допускать, чтоб отдельные паникеры определяли положение на поле боя. Трусов, забывающих свой долг, нужно направлять на самые опасные участки, чтоб они кровью своей искупали вину перед родиной».

Да, мир многим обязан самопожертвованию, выносливости и героизму русских солдат. Да, они совершали чудеса. Но это не заслуга правительства, а его вина и беда его народа, если последнему приходится противоставлять героизм танкам и авионам.

К миллионам убитых, умерших от ран и болезней и без вести пропавших надо прибавить еще миллионы инвалидов, из которых большая часть останется навсегда неспособной к труду. Они числятся живыми, но ни в хозяйственной, ни в культурной жизни они участвовать не могут и пригодны разве лишь для того, чтоб подавать свой голос за предписанного кандидата при выборах в Верховный Совет.

IV.

Сравнение военных потерь, человеческих и материальных, важно потому, что в нем сказывается вся стратегия и политика военного времени. Когда испаряются пошлые фразы, надуманные лозунги, пропагандная фальшь и «шапками-закидайство», оседает реальность, и сухие колонки военных потерь дают ответ на вопрос, хорошо-ли, умело-ли, успешно-ли правительство Сталина организовало оборону. Один факт победы над Германией сам по себе не дает ответа на эти вопросы. Победа над Россией была невозможна. Россия — не Бельгия, не Норвегия, даже не Франция. Только в горячечных мозгах Гитлера могла вырасти сумасшедшая мысль завоевать всю или почти всю Россию. Только Розенберги могли воображать, что сети немецких чиновников будет достаточно, чтоб управлять народом, занимающим половину Европы. Но из всех политических и военных методов отстоять Россию, советское правительство сумело избрать самый дорогостоющий, самый разрушительный.

Отсутствие «второго фронта» в течении первых трех лет русско-германской войны было, конечно, одной из важных причин несоразмерных русских потерь. Отсутствие второго

фронта означало не-одновременные операции России и ее западных союзников. Первым виновником этого разнобоя было то правительство, которое дало возможность Германии разгромить Францию без сопротивления на востоке. После июня 1941 г. Сталин и вся советская пресса настаивали на скорейшей высадке союзников; Англия и Америка считали себя к этому неготовыми. Москва их обвиняла в том, что они затягивают подготовку сверх меры. Были ли они в силах высадиться во Франции раньше июня 1944 г., выяснится лишь впоследствии, когда история войны будет рассказана правдиво и во всех деталях. Но они, действительно, имели возможность методически подготовляться к высадке, пока Россия истекала кровью. Когда они явились в Нормандию, они явились готовыми, с громадными запасами, с провиантом и с вооружением, достаточным, чтоб сломить германское сопротивление. Их подготовка дала им возможность довести собственные потери до минимума, нанося Германии в то же время решающие удары.

Это соревнование между союзниками, это стремление держать свои потери на низком уровне, возлагая бóльшее бремя на других членов коалиции, — вполне естественно, обычно, и даже, в известном смысле, нормально. В первой мировой войне между Францией и Россией не раз возникали серьезные трения; Франция требовала больших русских военных сил на западный фронт, а петербургское правительство, по мере сил, сопротивлялось этому требованию. От Японии также требовали посылки армии в Европу; Япония этого не исполнила. Франция, потеряв больше миллиона убитыми, требовала от Англии более активного участия, и тогда Германия успешно пользовалась в своей пропаганде чьей-то фразой, что «Англия воюет до последней капли крови французского солдата».

В каждой коалиционной войне такие трения неизбежны. Каждое из союзных правительств стремится поставить себя в такое положение, чтоб никто не мог его заставить бросить в огонь войны больше своих солдат, чем абсолютно необходимо. В этом отношении советское правительство не составляло исключения, и его кампания за «второй фронт» была естественной и законной. Но всей своей предыдущей политикой оно успело так удачно заманеврировать самого себя, что все его усилия были напрасны. Оно оставило Англии и Америке свободу выбора даты высадки в Европе. Никакого реального давления оно произвести не могло. Порой возникали слухи о переговорах о сепаратном мире между Россией и Германией, и возможно, что некоторые из этих слухов были

пущены из Москвы, чтобы торопить союзников с открытием второго фронта. Известно было, однако, что условием Гитлера была отдача Германии всей Украины и Прибалтики. У России не было пути, чтоб выйти из войны. И не было, следовательно, возможности переложить на союзников бóльшую долю жертв.

Другим элементом систематической советской подготовки изображают теперь оккупацию Прибалтики и Восточной Польши в 1939-40 гг. В статьях и даже ученых книгах, и в России и за границей, превозносится мудрость политиков якобы предвидевших ход развития европейской войны и заблаговременно создавших барьер между Германией и советской территорией: эта операция должна была служить тому, чтобы война разыгралась не на русской земле, а на территории тех народов, правительства которых в течении многих лет примыкали к антисоветским коалициям. Некритичность этих теорий бьет в глаза.

22-го июня 1941 г. Германия начала наступление на эти буферные территории. В начале июля, т. е. через две недели, германские войска уже прошли через все эти барьеры. Ценность новоприобретенных территорий в деле обороны оказалась не только ничтожной, но и отрицательной. Советские армии, в течении 1940 г. размещенные в прежней Польше и Прибалтике, были частью разгромлены, а частью отступили, отдав Германии большую военную добычу.

Такой же характер носила и война с Финляндией зимой 1939-40 гг. Неоднократно Молотов доказывал, что Советскому Союзу необходима финляндская территория к востоку от Ленинграда, ибо граница проходила в 20 верстах от прежней столицы. С большими потерями в людях и престиже советское правительство достигло своей цели и аннексировало Выборгский район. Когда вспыхнула затем война с Германией, финские войска быстро продвинулись обратно под Ленинград. За советскую политику по отношению к Финляндии Россия заплатила тем, что Финляндия сделалась союзником Гитлера и приняла участие в осаде Ленинграда, которая обошлась в неисчислимые человеческие жертвы.

Другой главой из той-же эпопеи было обращение советского правительства к Англии и Франции (поддержанное всеми коммунистическими партиями) в сентябре 1939 г. о немедленном заключении мира с Германией. В это время Польша была разгромлена, а французские и английские войска, растянувшиеся вдоль германской границы, готовились к будущим кампаниям. 28-го сентября советское правительство рекомендовало Франции и Англии примириться с германскими завое-

ваниями и с советской экспансией — в той сфере, которую оно считало своей — и заключить мир. В настоящий момент легко себе представить, какие наступили бы последствия, если-б западные державы решили внять этому совету. Франция и Англия, быть может, и могли устраниться. Но какое может быть сомнение, что германское правительство бросило-бы тогда свои силы на восток и что через год или два, т. е. примерно в том-же 1941-ом году, Россия оказалась бы перед лицом германского наступления, не получая военной помощи с запада? Потери и разрушения в России в этом случае были бы еще больше, война тянулась бы еще дольше и, вероятно, лишь новое вступление западных союзников в войну с Германией повело бы к германскому поражению. Большим счастьем для русского народа было то, что союзные правительства не вняли мудрым советам, преподанным из Москвы.

Следующим источником больших потерь была политика в о е н н о г о времени. Летом 1941-го г. советское правительство заключило соглашение с правительством генерала Сикорского, согласно которому польская армия создавалась на русской территории. Чтобы устранить ненужные трудности, было решено отложить решение вопроса о Восточной Польше до окончания войны. Десятки тысяч поляков стали стекаться в назначенные им города, где новая польская армия готовилась к наступлению. Среди этих поляков был превосходный человеческий материал, и использование его на фронте могло снять часть бремени и потерь с русских. Когда генерал Сикорский посетил Сталина, Гитлер стоял почти под Москвой, и точное соблюдение достигнутых соглашений было обещано. Наступал, казалось, момент, когда военное сотрудничество России и независимой Польши сможет наконец, после вековых конфликтов, открыть новую главу в истории Восточной Европы.

В действительности-же польская армия никогда не была отправлена на советский фронт; наоборот, она была выслана на Ближний Восток. Нежелание признать законным существование независимой польской армии в качестве опоры суверенной Польши диктовало Сталину разрыв с союзником, способным превратиться в значительную военную силу.

То-же повторилось позднее, когда советские войска подошли к Варшаве летом 1944-го г. В Варшаве подготовлены были силы для большого восстания; его вожди искали контакта с советским военным командованием. Они готовы были согласовать время и место операций с советским планом кампании. Военное сотрудничество с этими силами открыло бы возможность создания новой польской армии, которая двину-

лась бы в Германию вместе с военными силами России. Опять поляки готовы были и могли взять на себя часть потерь большого наступления, которое тянулось потом еще восемь месяцев. Но это означало-бы создание независимой польской армии, со своими командирами, со своим штабом, своим независимым правительством. Чтоб избежать этого, Советский Союз выдал немцам своих потенциальных сотрудников и положил на полях битв десятки тысяч собственных воинов.

В этой политике по отношению к Польше сказались новые планы, за успех которых пришлось дорого платить. Война перестала рассматриваться в Москве как чисто оборонительная. Даже присоединение к Советскому Союзу некоторых прежних русских территорий (Восточная Польша, Прибалтика) уж не считалось удовлетворительным и достаточным разрешением после-военных проблем. С 1943-го г. создание советской «сферы» делалось центральной военно-политической задачей, и стратегия войны приспособлялась к этой цели. Восточная половина Германии была самым важным элементом будущей «сферы», и необходимо было, чтобы советские войска, а не какие-либо иные, заняли Берлин, Саксонию и Восточную Австрию. В начале 45-го г. англо-американские войска быстро продвигались с запада, и германские армии оказывали им меньше сопротивления, чем русским войскам. В апреле они подошли к Эльбе и кое-где даже перешли через Эльбу; было очевидно, что они в силах будут взять Берлин раньше, чем подоспеет с большими боями Красная Армия.

Казалось бы, представился случай возложить на союзников борьбу и жертвы и пощадить свои собственные войска. Однако, из Москвы пришло требование союзникам остановиться, даже отступить в некоторых местах обратно и спокойно ждать, пока в новых сражениях на востоке будут разгромлены последние немецкие силы и советская армия вступит в Берлин. В этой политике было, конечно, и кое-что от престижа, но в ней преобладали уже далеко идущие цели подчинения и трансформации после-военной Германии. За это пришлось очень дорого заплатить.

Тот-же характер, наконец, носила и война на Дальнем Востоке. Она начата была с советской стороны в тот момент, когда Япония была разгромлена. Опасность японской аггрессии так долго угрожавшей русскому Дальнему Востоку, уже больше не существовала. Если-б советское правительство стремилось лишь обеспечить свои владения, присоединить прежние русские территории на Сахалине и Курильских островах и установить прочные и мирные отношения с Китаем и Кореей, не было бы нужды двигать новые армии на чужую

территорию и вести сражения. Как ни слабо было японское сопротивлеие в Манчжурии, официальные советские сводки говорят о многих тысячах убитых и раненых. В этих военных операциях опять таки не было элемента оборонительной войны*).

V.

Но самый большой туман окружает советскую индустриализацию в качестве орудия обороны России: только советское-мол правительство было способно поднять русскую индустрию до необходимой высоты и за 12 лет индустриализации создать военную промышленность, достаточную для обороны. В этой теории, — что ни слово, то спекуляция на некритическое отношение читателя и слушателя.

Не меньше, а вероятно больше половины советской промышленности было сосредоточено в тех районах, которые были оккупированы Германией. На долю Белоруссии приходилось около 3% крупной индустрии СССР; на долю Украины — почти — 20%; на долю тех районов Российской СФСР, которые были под немецкой оккупацией — 12-15%. К этому надо прибавить Ленинград, промышленность которого не была конечно способна снабжать фронты; на долю Ленинградского района выпадало 10-13% продукции крупной индустрии Советского Союза.

Если взять историю «индустриализации» 1928-39 гг., то она обнаружит, какие несметные средства были вложены советским правительством в промышленность и сельское хозяйство этих областей. С точки зрения ведения войны, эти средства погибли даром, а отчасти они были даже использованы Германией. Усиленная индустриализация Дальнего Во-

*) В оправдание советской политики в Манчжурии часто указывают на тайное соглашение в Ялте, согласно которому советское правительство должно было вступить в войну на Дальнем Востоке не позже, чем через три месяца после окончания войны с Германией. И советская и про-советская пресса за границей рассматривали объявление войны Японии, как образец верности советского правительства своим международным договорам. На деле-же, если бы Молотов запросил в Вашингтоне и Лондоне 6-го августа, настаивают-ли союзники на советском наступлении, он получил бы удовлетворительный, т е. отрицательный ответ. Но именно поэтому он и не обращался с таким запросом. Его правительство желало этого дорого стоющего подобия войны.

стока, поглощавшая большие средства, также не оказала прямой поддержки в войне с Германией.

Для поверхностных читателей и доверчивых слушателей, все эти потери перекрываются хвастливыми рассказами об эвакуации предприятий на восток. Советская пресса до сих пор не опубликовала, однако, ни списка предприятий, которые были эвакуированы, ни данных об оборудовании, которое удалось спасти и применить на новых местах. Она ограничивается общими фразами о «тысячах» вагонов, увозивших машины и рабочих на восток. Не трудно понять, почему история эвакуации остается секретом. Были вывезены, конечно, непосредственно-военные заводы, напр. авиационные, также некоторые, наиболее важные, машины с других заводов. Увозились они также и из Центральной России, которую удалось в конце концов отстоять от германской оккупации. Но, взятое в целом, это охватило малую долю западной и южной промышленности. Нельзя было также увезти ни залежей железной руды, ни нефтяных источников, ни угля.

Молотов глухо упомянул в одной речи, что 1800 предприятий было эвакуировано: (полностью или отчасти?). Но Украина, Белоруссия и оккупированные части Российской Республики имели, согласно официальной статистике, около 20.000 предприятий. Вывезти удалось, следовательно, значительно меньше 10 процентов.

Усиленное развитие индустрии на востоке и севере составляло неотъемлемый элемент всех хозяйственных планов начиная с середины 20-х годов. В каждой из пятилеток этому вопросу отводилось видное место, а затем отмечалось выполнение планов. Несмотря на все усилия, однако, радикальной перемены не произошло, юг и запад Европейской России оставались попрежнему главным средоточием тяжелой, а потому и военной, промышленности. Попрежнему Ленинград и Москва росли экономически быстрее, чем им полагалось. Схемы и планы были реализованы настолько неудовлетворительно, что накануне войны, после 12 лет индустриализации, было издано прямое запрещение создавать новые промышленные единицы в Москве, Ленинграде и некоторых других местностях.

VI.

Есть три группы людей, безмерно и безраздельно восхваляющие систему обороны России, реализованную правительством Сталина.

Первая группа — это, конечно, сама правящая в Советском Союзе партия. Вознося Сталина в небеса, она хвалит себя. Заглушая критику, она сама себя оберегает. Она повторяет, в тысячах газет, журналов и речей, что, если-б не новый, советский строй с его достижениями, Россия была-бы разгромлена. Поэтому этот строй должен быть укреплен, и все его элементы, включая самые жестокие, должны получить дальнейшее развитие. А страшная цена, уплоченная за победу, и всероссийское разорение — так ведь это не впервые. Миллионы погибли в гражданской войне, новые миллионы в голод на Волге в 1921-22 гг., еще 5-6 миллионов при коллективизации, и неизвестное число людей в чистках. Уже выработались навыки, сложилась привычка пожимать плечами и смотреть сквозь пальцы на «неизбежные жертвы» и в тысячный раз повторяется скверная, неуместная поговорка о щепках, которые летят, когда лес рубят. Не в первый, значит, раз, и не в последний.

Далеко не все мыслящие члены партии так думают. Все факты подтверждают, что у большинства партийной интеллигенции (в подлинном смысле этого слова) есть ряд сомнений насчет этой концепции.

Их голос может быть услышан редко. Но вот Ф. Панферов, стопроцентный коммунист и редактор «Октября», набрался смелости и поместил в своем журнале такую злую, такую уничтожающую статью против «черепков» — официальных строителей советской идеологии, — что она камня на камне не оставляет от казенного благополучия.

Как «мы победили», говорит он, это еще надо продумать и понять. Покуда это неясно. Все «Правды» давно уже ответили, что «мы победили» благодаря «нашему советскому строю». Но Панферов спросил однажды генералов об этом. «Генералы задумались, а под конец ответили: 'Да мы сами еще не успели продумать и понять это величие. Его безусловно надо изучать'». «У нас в стране — говорят все те-же 'черепки' — все гладко, все радостно, все благополучно». А как оценить отступление в первые полтора года войны и связанные с ним чудовищные потери? Для «черепков» и «черепушек» все ясно.

— «Отступление? Никакого отступления не было. Это был планомерный отход, изматывали врага.

— Позвольте, — возражает им литератор. — Какой же там планомерный отход, когда судьба нашей страны одно время висела на волоске...»

Панферов подвергает сомнению даже официальную версию о фашизме как политике маленькой группы магнатов ка-

питала. Она его не удовлетворяет. «Мы знаем, — говорит он, — что фашисты несусветные мерзавцы... Но почему за фашистами, хотя и на время, но пошли миллионы, — это дело чрезвычайно сложное». А «черепки» приказывают писать врага так: «Это фриц, бездушный, пустой, трусливый, в военном искусстве ничего не понимает, он никогда ничего не переживает (даже бледнеть ему запрещено, а любить тем паче). Одним словом, это как у нас говорят, чурбак с глазами». Панферов возмущается. «Как же это чурбак с глазами дошел до Сталинграда, до Моздока? Тогда в чем-же героизм Красной Армии?»

«Правда» немедленно обрушилась на Панферова. И вовсе не было миллионов за фашистами, и нечего генералам задумываться над вопросом, как «мы победили», и вообще, все это — вредная ересь...

Вторая группа — это иностранцы. Их никто не принуждает принимать официально-советскую философию. Они это делают по доброй воле, облекая свое поклонение в высоко-идеалистические одежды — «союз мировых демократий», и «сотрудничество всех прогрессивных сил человечества», и «упрочение мира». Если отбросить эту мишуру — им есть за что восхищаться советской системой ведения войны.

Вот, напр., бывший американский вице-президент Уоллэс — он один из многих — пишет в недавно вышедшей книге о России: «Доблестная борьба советской России против нацистской агрессии спасла много американских жизней, и поэтому я с глубокой благодарностью пожал руку советско-азиатскому крестьянину, который имел награду за убийство более ста немцев — потенциальных убийц наших молодых людей». Не все, однако, русские крестьяне-воины дожили до блаженной минуты, когда они могли удостоиться физического или мысленного рукопожатия со стороны вице-президента. Иные давно лежат в сырой земле. Но их дело, думает Уоллэс, не пропало даром: они тоже «спасли много американских жизней». Он благодарен им за службу, которую они сослужили Америке. Он благодарен их правительству за такое умелое ведение войны, которым «спасено было много американских жизней». Поэтому он отказывается от всякой критики. Он хвалит и благодарит.

Уоллэс — это почти нарицательное имя. Уоллэсов и сейчас легион. Еще больше было их во время войны, когда опасность сепаратного советско-германского мира висела дамокловым мечом над головами. Всё уступить, лишь бы этого избежать: признать и демократичность и прогрессивность совет-

ского строя, и гнеиальность его вождя, иобязательство учиться у него гуманности, — все принять, лишь бы «они» делали свое дело.

Третья, наименее значительная группа — это те русские политические эмигранты, которые во время войны нашли свою тропинку к советской столбовой дороге. Группа эта сочетает в себе некоторые элементы первых двух: она и русская и иностранная. Измученная четвертью века эмигрантской жизни, многое растеряв из былой непримиримости, она сумела быстро свернуть свое знамя. В то же время она проникнута настроениями и интересами тех стран, в которых она давно живет; для нее тоже борьба Красной Армии была средством освобождения от германского кошмара без больших жертв. Реального ощущения России она уж давно не знает. О ее п о д л и н н ы х лишениях она и понятия не имеет.

Расслоение русской эмиграции прошло поэтому не по вертикальной линии (левые за Москву, правые — против), а по линии горизонтальной. Как будто острый нож рассек посередине каждую из эмигрантских групп. На стороне Москвы оказались крайне-правые церковные иерархи, прежние адмиралы, иные меньшевики к.-д и с.-р. Это была не столько политическая дифференциация, сколько индивидуально-психологическая. Кто потерял настойчивость в борьбе, готов был ныне проникнуться некритической лояльностью по отношению к власти и готов был, следовательно, восприять и всю философию о спасительном значении советской системы во второй мировой войне.

Обратный процесс идет тем временем внутри страны. Люди, на себе ощущавшие и своими глазами повидавшие, чем было ведение войны в советских условиях, проникаются глубокими сомнениями. Люди, наблюдающие жизнь в землянках, миллионы сирот, безысходную нужду и всеобщее разорение, начинают сомневаться в том, что «решающим фактором победы был наш общественный и политический строй». Они «преступно игнорируют» предписанную философию истории. Их заносят на черную доску. Но скоро черных досок не хватит, чтоб записать все их имена.

Д. Ю. Далин

ИЗ ВСТРЕЧ И РАЗГОВОРОВ

Почти год, с осени 1944 г. и до позднего лета 1945 г., я имел возможность, по роду своих тогдашних занятий, столкнуться в одиночку без свидетелей с несколькими десятками наших соотечественников из невдалеке расположенного лагеря, где они ожидали отправки на родину. С некоторыми из них даже завязалось некое подобие дружбы, с рядом повторных встреч и разговоров.

Мои собственные настроения в это время были смешанные, полные противоречий. Только что рушилась стена, отделявшая Францию от внешнего мира, и новые данные о происходившем и происходящем в нем не поддавались еще правильной оценке. В особенности все то, что касалось России. Хотелось полнее вникнуть в смысл событий, их объяснить, а заодно проверить правильность своих прежних, довоенных позиций, в первую голову, той информации о русской действительности, которой мы сами питались и через свои издания питали других. Это и определило мой подход к моим собеседникам: расспрашивать и слушать и ни в коем случае не сбиваться на линию политической дискуссии. И скажу кратко: ни разу не пришлось столкнуться с показаниями, опровергающими наше прежнее представление о внутрироссийской жизни и наши оценки. Наоборот, все эти разговоры их полностью подтвердили и укрепили свежим материалом. Лучшим показателем этого часто были изумленные вопросы собеседников: «да откуда вы это знаете? разве вы недавно из Союза?» в ответ на какую нибудь фактическую поправку или уточнение расспросов, смысл которых они не всегда умели сразу уловить. Одним словом, при всем своем желании (а таковое было), я не мог найти материала для покаяния в своих прошлых «политических заблуждениях».

Повторять слышанные мною описания жизни в колхозе, в фабриках, в совучрежденіях, в школе и т. д. не стоит: эмигрантская литература достаточно богата этим в своем прошлом. Постараюсь выделить то, что мне казалось новым или объясняющим недавние события или рисующим психологию населения во время войны.

Одна из первых встреч была с прирожденным москвичем, зашедшим за справкой в учреждение, где я работал. Он был

приятно изумлен, когда получил ее на чистом русском языке в ответ на свой невозможный французский. Разговорились. На предложение попить чайку и продолжать беседу он охотно согласился.

Сначала он много, с неподдельным восторгом и гордостью, описывал перемены и улучшения в своем родном городе. Дальше поведал свою биографию: до революции рабочий; участник гражданской войны в рядах Красной Гвардии, потом Красной Армии; сделал карьеру по советской линии и занимал видный пост в одном из отделов горсовета. Без образования, но говорит правильно, плавно, видна привычка к публичным выступлениям и лишь иногда с языка срываются перевранные иностранные слова или режущие ухо обороты речи. Зимой 1941 г., когда немцы были под самой Москвой, в столице было мобилизовано до 200 тысяч служащих и брошено затыкать бреши на фронте, в ожидании подхода сибирских подкреплений. Как бывший военный, он занимал командную должность в этом ополчении. Бои были жестокие и, по его словам, в них «погибла почти целиком вся московская интеллигенция». Сам он был тяжело ранен, но по какому то счастливому случаю подобран немцами, а не оставлен замерзать на поле сражения вместе с остальными ранеными.

Из слушаемого повествования у меня сложилось убеждение, что я имею дело с коммунистом, и мне показалось настолько странным, что немцы его пощадили, что я не удержался, чтобы его не спросить: «Но ведь вы — партиец?» На это последовал быстрый и решительный ответ: «Да это к делу не относится». И тотчас, очевидно поняв смысл моего вопроса, он добавил: «Все свои документы я еще перед боем заткнул за голенище сапога поглубже и так сохранил во всех передрягах до сегодняшнего дня. Хотите — поглядите, вот мой паспорт!»

Одним словом, ему повезло. На перевязочном пункте попал на врача — тайного коммуниста, тот пустил его по своей линии в определенный госпиталь, потом, когда там больше оставаться было невозможно, его переправили дальше для полного излечения в западную Германию, перевели в разряд гражданских рабочих и устроили на спокойные сельскохозяйственные работы в Лотарингии, где он был освобожден американцами.

Разговор скользил по поверхности, собеседник был очень осторожен в высказываниях и, чтобы разбить лед, я попросил его дать совет: возвращаться в Россию или оставаться в эмиграции. И это не было лицемерием: война еще не кончилась и в то же время усиленно распространялись слухи о проис-

шедших коренных переменах во внутренней политике, о примирении власти с народом, о взаимном доверии, об обещании свобод и т. д. С другой стороны — гордость русскими победами, грустная перспектива провести немногие еще оставшиеся работоспособные годы в эмиграции, когда там, в России, несомненно нужны люди для работы по восстановлению разрушенного, для заполнения страшных людских потерь до того момента, когда подрастут следующие поколения. Все это я ему и изложил. Он выслушал и промолчал.

Разговор коснулся военных неудач в первый период русской кампании.

Тут мой собеседник более четко определил концепцию, которые я слышал от всех без исключения советских людей: измена ген. Павлова и других представителей военной верхушки, причастных к конспирации Тухачевского, Якира и т. д. и уцелевших от разгрома. Все они были антисталинцами и держали связь с немцами. Как доказательство, приводилось поразительное совпадение: как раз накануне немецкого нападения высшее командование всех армий к северу от пинских болот отдало распоряжение произвести полную чистку технического оборудования: аэропланов, танков, орудий, грузовиков с разборкой механизмов. Было ли это сделано по указке Берлина или приказ был заранее сообщен в Берлин — неизвестно, но в момент нападения войска были совершенно парализованы в применении своих технических средств. Немцы не встретили здесь надлежащего сопротивления и опрокинули первую линию фронта без труда. Не то было на югозападном фронте, где чистки были более часты уже в связи с украинским «сепаратизмом» Скрыпника, Балицкого и др. Так что здесь был сосредоточен более проверенный комсостав: кроме того, тут командовали наверху люди сталинского 100%-го закала, как Буденный, сам Ворошилов... Потому так долго держался здесь фронт и отступление началось позже. В Ленинградском и Московском направлениях отступление происходило в беспорядке, без согласованности. «Изменники» сдавали свои части или в спешном отходе обнажали фланги «верных» войск, ставя их в тяжелое положение. Только с организацией второй линии фронта из войск, расквартированных в Европейской России, удалось несколько замедлить немецкий удар. Население вело себя очень двусмысленно...

— «Но как же партизаны?» вмешался я.

— «С партизанами особь-статья. Сначала это были исключительно застрявшие на местах в виду поспешного отхода партийцы, комсомольцы и евреи. Для них попасть в руки

немцев означало верную смерть. Выбора не было и они организовали ячейки сопротивления, к которым очень скоро стали присоединяться скрывавшиеся от плена красноармейцы, испуганные скотским обращением врага с нашими военнопленными, а затем громадная часть населения, разочаровавшегося в той «свободе», с которой пришли немцы.

«Ни Рузвельт, ни Черчиль так не помогли Сталину, как сам Гитлер. Глупее глупого повели себя «французы» с первого дня их пребывания на русской земле. Наша власть жесткая, но обращение с народом вежливое, каждое мероприятие истолковывается, как в интересах населения. А тут не только грабеж, но и такое презрительное отношение, точно мы и не люди совсем. Обидно становилось очень за жестокость, а еще больше за унижение во всем перед собой со стороны каждого паршивого немца. Этого никто не мог вытерпеть».

«Конечно, заслуга партии и тов. Сталина очень большая. Без него даже после перелома в настроении армии и населения ничего бы мы не поделали. Оправдались пятилетки: промышленность на Востоке, кадры военные сохранены в резерве наполовину, а не пущены в мясорубку, как в старую войну. Было к чему приставать народу, когда узнал, что за штука немцы, было довольно и оружия, чтобы драться...»

«Ну, а как же Власов? Ведь он перешел к немцам уже после отрезвления».

— «Насчет Власова вы так не говорите — возразил он мне с большим жаром. — Никто еще не знает, что за Власовым кроется и чья рука им двигала. Сами судите. Это верно, что каждый боец дает присягу не сдаваться, а последний патрон беречь для себя. Но уже слишком много народу оказалось в плену — не сотни тысяч, а миллионы. И все они обращением немцев были осуждены на гибель рано или поздно, от голода, болезней, незаслуженных наказаний. Хоть это как будто и справедливо за нарушение присяги, но с другой стороны, просто неэкономно с государственной точки зрения. Не такой Сталин человек, чтобы не знать этого. Так нельзя было это дело оставить и надо было спасти тех, кого можно еще спасать. Не Власов, так другой нашелся бы. Так лучше чтобы это было в организованном порядке, чтобы человек был свой. И как мне потом говорили многие, в Власовском деле много несообразного. Он ведь почти целым фронтом командовал на болотах, всю зиму наступал и бил немцев, как хотел. Отбил все их контрнаступления и свои позиции удержал. Весной, когда болота стали оттаивать, просил позволения отвести фронт на твердые места. Не разрешили, приказали

стоять на месте: вот он и оказался совсем отрезанным от тыла водой без сообщения. Так его немцы и взяли.

«Вот и говорят, что оставили его так умышленно в невозможном к сопротивлению положении, что было наперед ясно даже ребенку. Чтобы больше доверия у немцев было. Конечно, я с чужих слов говорю, но факт тот, что власовцы против своих не воевали. Пошалили немножко в Югославии и здесь, во Франции. Да ведь иначе немцы бы перестали доверять. Против союзников после высадки драться не хотели, сдавались при первом случае. Только это было очень трудно — перебегать к англичанам или американцам, такой огонь они перед своими позициями вели. Надо было ожидать, когда немцы отступать начнут, и остаться.

«Но от власовцев — бывших военнопленных — надо различать тех, кто к немцам пристал в самой России. Это действительно вредный элемент. Крымские татары помогли немцам первый раз захватить Крым... На Украине было много таких, кто с партизанами боролся, кто в карательных отрядах участвовал. Они попали в власовские формирования потом по немецкому приказу и настоянию. Между ними и красноармейцами всегда вражда была.

«Не думайте, что я Власова защищаю, потому что сам боюсь. Я уже вам сказал, что мое дело — чистое: я ничего не опасаюсь для себя после возвращения домой и потому нисколько в Власове н е заинтересован...»

(Не знаю, верна ли эта легенда, но не могу даже проверить ее сопоставлением хронологических данных, ибо живу в условиях, исключающих эту возможность за отсутствием старых газет, книг и т. д. Но она характерна для рассказов тоже поголовно всех встреченных мной людей. Все они защищали Власова и оправдывали его. Все называли своим спасителем. Некоторые из бывшего комсостава утверждали, что вербовщики в власовские формирования им доверительно говорили: «терять вам нечего, а при первой возможности перебежите к своим, а то перейдем целыми полками»)

Точно испугавшись, что сказал лишнее, партиец снова вернулся к описанию нынешней Москвы, а я стал его расспрашивать о Ленинграде.

— «А знаете, я там с 1925 года не был. Весь Союз за это время изъездил, в Сибири бывал, в Туркестане, на Кавказе, а в Ленинграде не был. И не раз мне выпадали туда командировки, да все мне перебивали мои начальники. Сами хотели туда ехать. Почему? Да очень просто. Дешевле и лучше всего можно одеться там. или материалу для костюма, пальто достать. Есть там много фабрик, вырабатывающих

сукно до-военного качества для экспорта. Вот по знакомству можно достать его, только надо съездить лично. А если не экспортное, там импортное — контрабанда из-за границы у моряков, наших и иностранных»...

Разговор заметно падал, перешел на мало интересные мелочи. Оба мы устали. На мои попытки коснуться обще-политических тем партнер отмалчивался. Только услышав мое предположение, что преемником Сталина в случае чего будет Жданов, он живо запротестовал: «Ни Жданов, ни Молотов, никто другой, кроме Лазаря Кагановича. Вот это — голова. Первый человек после Сталина. Им все держится...»

На мое недоумение он лишь загадочно улыбнулся.

А потом вдруг поднялся энергично: «Ну знаете, так мне пора! Спасибо за угощение и за интересный разговор. С самой Москвы ни с кем еще так по душам не говорил. А насчет вашего вопроса: ехать ли туда? — по совести скажу: нет не езжайте, не выдержите.

«Первое — работа. Интересной работы вам не дадут доверия не будет. И даже в том, что вам предоставят, вы должны будете быть всегда на чеку — подкопы всякие; в случае чего, на вас первого будут вину взваливать. Ведь «руки» у вас не будет, на кого вы можете там опереться? А без «руки» у нас нельзя. Вот я примерно, участник гражданской войны, без упрека в соцпроисхождении, со стажем, и то сколько раз попадал в истории. Вот у меня под началом больше сотни служащих, почти все женщины. А они не о работе думают. Как отвернешься, начинается болтовня бесконечная. К делу ни интереса, ни внимания. Такие ошибочки иногда закатят, то по недосмотру, а то и со-зла, что если недоглядеть, обязательно неприятность. Иной раз в спешке подмахнешь, не читая, пустую бумажку, или переписанных начисто цифр не проверишь, так если бы это не я, легко сказаться вредителем. Где же вам, человеку свежему, не привычному, во всем этом разобраться и в случае чего оправдаться...

«А потом — наша жизнь! Тут вы живете, и ни к чему не обязаны, чего вы не хотите. Никакой нагрузки, кроме заработка. Даже газеты читать или радио слушать от вас зависит. А у нас без этого нельзя, иначе в политический просак попадешь. А каждый день — скучно это. Все одна — пропаганда. Отдохнуть иной раз от всего хочется. Ну зачем, к примеру, меня пропагандировать. А вот отдохнуть то не на чем. Вот не поверите, а на заграничные фильмы у нас всегда очередь. Потому смотришь его и отдыхаешь. Я сам был три раза на одном таком фильме, из жизни австрийского композитора

(думаю, что речь шла о «Неоконченной Симфонии»). С раннего утра, в выходные дни, в очередь становишься. Нет, здесь вы привыкли к вольной жизни и вам там будет тяжело. Вот и сам я иногда думал, а что, если остаться здесь или в Америку попасть. Конечно — это шалые мысли. У меня там положение, семья... Ну а вы? Неизвестно, что там еще найдете, зато многое из здешнего, о чем сильно жалеть будете, наверняка потеряете... Нет, не езжайте! Ну, прощайте»...

Второй встречи с этим человеком у меня не было.

***

Таким же порядком познакомился я с бывшим рабочим, человеком лет 35-40, с той лишь разницей, что мой новый собеседник был под сильным градусом. Поэтому, как только его доверие было завоевано, мне уже не нужно было его подбадривать на те вопросы, которые меня интересовали.

В армии он не был, а был вывезен в качестве специалиста в Германию, потом с завода был командирован в ремонтные мастерские в тылу армии на севере Франции. При отступлении немцев остался и попал к американцам. От американских порядков в восторге и очень жалеет, что не словчился остаться в американском госпитале, где первые два месяца работал, до передачи в ведение советских властей. А возможность такая была, да человек растерялся, поддался стадному чувству и эта ошибка жестоко гложет его душу.

Меня в самом начале нашего знакомства поразил богатый запас французских слов, правда, исковерканных до неузнаваемости, который мой собеседник пустил в обращение, обратившись ко мне. Оказалось, что еще за несколько лет до войны, он решил бежать заграницу на иностранном пароходе и этой идеей только и жил. Он выбрал Францию своим предполагаемым местожительством и потому принялся изучать самоучкой, скрываясь от всех, даже от родных, французский язык, убивая на это все свое свободное время.

Но в этом он признался не сразу. Вначале он заявил себя клохозником и начал восхвалять до небес колхозную жизнь. Преувеличения были так грубы, что я начал спорить, внося поправки. Он остановился и с подозрением спросил: «А вы откуда это знаете? Сами недавно из России?» Я объяснил. «Ну тогда с вами можно говорить без фокусов. А то часто меня французы насчет колхозов расспрашивают. Сначала пробовал им все сказать по правде. Так морду воротят и сейчас обращение с тобой меняют. Не верят. Ну так я и решил в их дудку играть, хвалю, на чем свет стоит, хоть самого злость берет,

и хорошо вином угощают, по плечу хлопают. А я только думаю: вот, Бог даст загонят вас, сукиных сынов, в какой нибудь КОЛГОСП «Червона ОГЛОБЛЯ» да этой оглоблей по башке как хватят, тогда вы и без меня поймете, что такое коллективизация!»

История его такова. За год до коллективизации он поссорился с отцом-средняком — и ушел в соседний портовый город на Украине на завод. Стал слесарем, потом мастером. Жил хорошо. Как и все советские его возраста, он с восторгом вспоминал о временах НЭП'а, о временах сравнительной свободы и сказочного, материального благополучия. Но тут разразилась катастрофа — коллективизация. Отца и старшего брата сослали, оба исчезли бесследно. Мать с двумя малолетними братом и сестрой переселились к нему. В наступившие голодные годы приходилось содержать на свой заработок три лишних рта, а его даже с сверхурочными часто не хватало на хлеб. Пришлось отказаться от личной жизни, порвать с невестой, ибо надо было выбирать между нею и больной матерью с детишками. Работал, как вол. Был стахановцем — обратил на себя внимание парткома и неоднократно получал предложение вступить в партию. Но ненависть к режиму была так сильна, что от этой чести он неуклонно отказывался под следующим не внушающим подозрений предлогом (ибо отказ — тоже вещь опасная): «Хоть редко, люблю выпить, а как выпью, так сам себя не помню и могу такого натворить, что партийцу никак не полагается. А на мне, как на партийце, будет большая ответственность, а я за себя ручаться не могу». Слушали и соглашались.

— «Между тем, других способов выбиться нет. Кто сможет душой покривить, тот и выиграет. Новое поколение партии в большом проценте состоит теперь из детей бывших кулаков, лавочников, буржуев. У них в крови осталась наследственная энергия и настойчивость. Их тянет пробиться вверх, занять руководящее положение. Конечно не все. Большинство лиц неудобного социального происхождения в жизненной борьбе гибнут, но те, кто выбиваются — самые лихие коммунисты. Рецепт — простой. Надо уехать с родных мест на «производство» в Казакстан, на Караганду, в Кузнецкстрой, или еще куда нибудь подальше. Там о родителях не спрашивают. Дальше надо выдвинуться на производстве, завести связи в парторганизации, добиться командировки в техникум, а то и повыше. Как парня с головой, вас завербуют в Комсомол, в кандидаты партии, а дальше дорога открыта. Такой стреляный волк самый первый партиец — после всего

пережитого он ни в какой уклон от «генлинии» (а в чем она, сам чорт не ответит) не впадет, ни к какой оппозиции не пристанет. «Сталинец» чистейшей воды. Заведет связи в верхах и тогда уж ничего не боится. Есть такие смельчаки и нахалы, что даже на родные места возвращаются в качестве ответственных советских, производственных и даже партийных работников. И никто не осмеливается громко вспомнить, что это попов или кулацкий сын. Боятся. Такая у него «рука». Ну, уже конечно, если это приключится: сам ли проштрафится или «руке» какой нибудь уклон пришьют и до этого «корешка» доберутся, тогда пощады не жди — все припомнят вместе с родителями до седьмого поколения».

Так и остался он «беспартийным» со всеми невыгодами сего непривилегированного положения. Испытал всего, уходил летом в командировки, на работы в МТС, чтобы набрать на зиму запасов для семьи. Хорошо знает колхозные порядки. Картина удручающая. Всюду колхозники бедуют, живут со своей приусадебной «портянки». Преуспевающие колхозы, дающие своим членам какие то ощутительные выгоды, — редкое исключение. — «Все зависит от председателя: попадется хороший, честный и распорядительный, а главное, удержится на своем месте несколько лет подряд — колхоз идет в гору; нет — все обращается в толчение воды в ступе. А выбор председателя не от колхоза зависит — кандидаты намечаются сверху и чаще всего из людей со стороны, к колхозу никакого отношения не имеющих, его производством не интересующихся, смотрящих на свою должность, как на «кормление». Такой председатель власти наиболее удобен, послушен, ни с кем в защиту колхоза не спорит. А власти что нужно? Уродилось бы столько, чтобы полностью выкачать все поступающее государству, а сколько останется колхозникам за трудодни — об этом никто не беспокоится. У власти же постоянства нет. Сегодня ответственный работник здесь, завтра там. Все они хотят в центры пробраться: из села в район, из района в область, из области в республику, из республики в Москву. А хорошему председателю трудно удержаться, если он начнет интерес колхоза защищать, обязательно перессорится и с МТС и с районом и с парткомом. Надо очень изворотливым быть, чтобы всем угодить и колхоз в обиду не дать. А таких людей — много ли их найдешь?»

Дальше следовало описание жизни колхоза, нам в эмиграции давно известное; бестолковщина, бюрократизм, бесхозяйственность и т. д. Колхоз — предмет всеобщей ненависти.

Потом вдруг неожиданное заявление: «Только теперь,

после немцев, пожалуй, весь народ будет за колхозы». — Как так? — Да очень просто даже. Попробовали жить без колхоза при немцах — ничего не выходит. Увидели все, что в один день своего хозяйства не заведешь, а что тебе земля, когда ее нечем обработать. Вот когда немцы стали выделять землю в собственность из колхоза, самые заклятые враги колхоза стали затылки чесать: брать или не брать. Начались разговоры: в колхозе один заболел, на работу не вышел, дело не стоит — другие работают; а кто будет работать, когда единоличник на свою землю выйти в горячее время не может, или когда его забрали, когда только жена с ребятишками остались — работа стоит, хлеба не будет».

Так маялся он до 1936 года, когда наступил некоторый перелом и в общем положении, и в личном. Голодать перестали, появились и подешевели съестные припасы. Подросли брат с сестрой и начали из заработка вносить свою долю на покрытие семейных расходов. Но и при этом все заработки почти целиком шли на еду; на одежду, например, почти ничего не оставалось.

— «Вот интересно мне: оставят ли на наших или отберут по возвращении домой такие штаны, — сказал он, поглаживая рукой свои довольно поношенные брюки из американского обмундирования — или эти рубашки? Ведь там таких не найти. Наверняка отберут, чтобы не показывали, как американских солдат одевают!

— Как мы там одеваемся? Да так, что чистую спецовку, как выходной костюм, бережем. У нас в Союзе перед войной успели кое-как приодеть народ в Москве и в больших центрах, а до нас еще очередь не дошла. Раз в два месяца, случалось, прибывало что нибудь в распределитель, но, чтобы получить, надо по блату об этом заранее узнать и с вечера стать в «хвост», да еще невидимый, потому что видимые запрещены и милиция сейчас же разгонит. Делается это так. Идете вы к распределителю, а там на улице в темноте разгуливают два-три человека. Подходите и спрашиваете: «Какой номер?» — «Сто пятый. Вон там на углу сто шестой, а сзади нас сто седьмой. Вы, товарищ, будете сто восьмым. Так я ухожу». Вот и вы начинаете ходить с беззаботным видом, пока не подойдет сто одиннадцатый и вас не сменит. Но далеко уходить нельзя: надо каждый час справляться, в каком положении очередь. А то найдется «парень с инициативой» и вздумает новый хвост устраивать. Кто ему помешать может?! Вот нужно в новой очереди место захватить. Так целую ночь. А к открытию распределителя все на своих местах окажутся. Передовые

купят, а остальные будут еще одну ночь через два месяца в тайном «хвосте» гулять, может быть с таким же результатом»...

«Жизнь наша серая, мертвая, если посмотреть на заграничную. Суета на произведстве, шумиха одна, от нее только голова болит. Хорошие слова говорят, а сами только об одном думают, как бы поесть хватило да одеться. На это вся жизнь уходит. А для себя — ничего. Наши молодые здесь рот раскрывают, когда видят полно народу на улицах в любой час дня, бары и кафэ битком набитые. Все спрашивают: «Да когда же они работают? Чем живут? Как государство позволяет?» У нас бы сразу НКВД заинтересовался. А тут ничего, никто внимания не обращает. Свобода. Народ для себя живет: хочет — работает, не хочет — гуляет. А у нас прогулы: на 21 минуту опоздал к открытию завода или началу смены—вот тебе и прогул — три месяца тюрьмы, как правило. У меня сестренька на трамвае работала, так в 4 часа надо было бежать на утреннюю смену. Будильнику не доверяет, сама не спит, нам спать не дает. Так мамаша решила самой до ухода дочки не спать и будильник стеречь. Ну разве это жизнь?!

— «Перед войной нашего брата так зажали, что дышать стало невозможно. Все хотели перемены, прямо сказать, войны ждали, чтобы власть сменилась. Когда началась заваруха с Польшей, когда вдруг перестали Гитлера в газетах ругать и начали немцев, как первых друзей, хвалить, весь народ замер: понять в чем дело хочется, а поговорить боязно. Со мной такой случай вышел: как раз в тот день, когда в газетах о союзе с Гитлером напечатали, остался я после работы с другим мастером, чтобы станки проверить. Помещение большое и никого кроме нас двоих. Никак не могу утерпеть, чтобы не поговорить. И только начал: «А что ты, Петро, думаешь, насчет новой дружбы с немецкими фашистами? Как бы этот самый Адольф да нашего Иоську, по дружбе не... (дальше следовало нецензурное выражение)» как вдруг сзади: «Да вы, товарищ, собственно о чем говорите?» Оглянулся и обмер: секретарь завкома, такая стерва. Никогда в мастерских не бывает, а тут на мою беду зачем то забрел. Что я ему городил в объяснение, сам не помнил. Кое как отбрехался. «Смотрите, товарищ, чтобы это не повторилось! Еще раз «следующего раза» у вас больше не будет» сказал он многозначительно. Прошло! Но у меня уже всякая охота объяснить себе события пропала.

— «Вот посоветуйте мне, что делать. Как остаться тут? Все мечтал убежать из Союза во Францию, на большой риск

шел. А вот теперь нахожусь во Франции, а как остаться не знаю. Мне возвращаться нельзя. Первое преступление — отстал от эвакуации завода — не хотел мать бросить. Потом, когда немцы пришли, напился как свинья, и, мать рассказывала, стал душу изливать, все высказал, что за 20 лет накопилось, на всю улицу кричал, все соседи слышали. Не сдобровать мне, когда вернусь. Укажите, как быть, посоветуйте»...

Часто потом забегал он ко мне, чтобы поделиться своими планами остаться; извел меня этим окончательно, так как я никакого дельного совета ему дать не мог, как не мог и помочь чем бы то ни было в этом деле.

Несколько недель я его не видел. Как вдруг он явился снова в кампании какого то юнца. Оказывается, что не находя никакого выхода, он решил примириться с судьбой и отправился со своим эшелоном домой в Россию. Отправляли хорошо, с речами, со знаменами, на грузовиках, с музыкой... Довезли до лагеря приемного пункта в окрестностях Лейпцига и завезли за проволоку. И там их встретили уже без музыки, а с ручными пулеметами на изготовку. Приветственная речь состояла из ругани и угроз, а дальше пошли допросы. И уж это были не военные власти, а чины НКВД. При допросе надо было ответить на бесчисленное количество вопросов, а на каждый ответ допрашивающий кричал: «врешь!» Кормили ужасно. Разговоры между собой были самые неутешительные. Передавали страшные вещи о судьбе предыдущих партий возвращающихся. Говорили, что всех взятых на подозрение в былом сочувствии немцам и добросовестной у них работе и службе тут же отделяют и переводят в соседний лагерь для «власовцев», а там режим не мягче того, чем был у немцев для русских пленных. Говорили, что отправят дальше пешком до самой границы, что одну партию, которая по недосмотру не попала сюда сразу и не проделала всех формальностей, вернули с польской границы пешком на этот «приемный пункт».

Все это после свободной жизни во Франции было так трагично, что мой знакомый совсем упал духом. Не мог больше ничего слушать, не хотел ни с кем говорить. Поэтому он не мог вспомнить и рассказать мне ничего больше того, что сказано выше. Как вдруг, он сам не знает как, он очутился перед американскими камионами, на которых только что привезли новую партию. «Вскочил я как перышко внутрь и забился в глубине под лавку. Лежу и не дышу. А уже сумерки. Что будет — не знаю, и мне все равно». Через полчаса камион с шофером-американцем выехал из лагеря без осмотра. На

первой остановке шофер согнал своего пассажира, но это было уже в американской зоне, недалеко от станции. А дальше обратный путь во Францию без денег, без билета, без поверки документов. По дороге он подобрал, чтобы «веселее было», своего теперешнего спутника, тоже сбежавшего в пути из какого то эшелона возвращаемых.

Видел я беглеца еще раз мельком через месяц. А что дальше с ним сталось — не знаю.

В. Б.

РЫЦАРЬ СВОБОДЫ

(К столетию со дня смерти декабриста Лунина*)

5. Сильный духом

Жизнь Лунина была сопряжена с легендами. Ими молва расцветила и дни, потянувшиеся за 14 декабря. Вероятно, в. кн. Константин Павлович никогда не пытался содействовать побегу Лунина и не вручал ему заграничного паспорта, но он очень реально пытался защитить заговорщика после того, как получил от брата уведомление от 23 декабря, что «Лунин положительно из числа этой банды». В этом Николай Павлович видел «разгадку службы» Лунина в Польше и «всего рвения, которое он старался проявить — он стремился создать там партию». Новый император рекомендовал, не арестовывая Лунина, «стараться захватить его на месте преступления, к чему случай не замедлит представиться». Вот почему Лунин до апреля был на свободе. К «сволочи», затевающей заговоры, Константин относился так же отрицательно, как и брат, и ему хотелось, чтобы этой «сволочи» не оказалось в вверенном ему литовском корпусе. Но допускал он и того, чтобы к заговору мог быть причастен его любимец, который, видимо, не занимался «ничем иным, кроме службы и охоты». Возможно, что оказывало свое воздействие через гр. Грудзинскую, жену в. кн., и влияние католического духовенства. В письме к брату Константин Павлович всемерно старался доказать, что Лунина оговаривают «из злости», чтобы «запутать и очернить за то, что отстал от Тайного Общества».

Адвокату Лунина, быть может, и нравилась независимость его подзащитного, отсутствие в нем раболепия и лести, но он плохо разбирался в его благородном характере. Когда Лунин был арестован и ознакомился с предъявленными ему опросными пунктами, он «промолвил, — писал Константин Павлович 9 апреля военному министру Татищеву, — что, судя по предлагаемым вопросам, виновные могут остаться невинными, а невинные будут обвинены. Из таких слов я заключаю, что можно будет от него узнать о таких злоумыш-

---

*) См. 13-ую кн. «Нового Журнала».

ленниках, кои, может быть, еще высочайше утвержденному комитету неизвестны». Константин Павлович ошибся. Относительно собственных действий Лунин с первого допроса оказался откровенным, хотя осторожным и сдержанным, но он категорически отказался назвать имена ибо «это против моей совести и правил». На этом первом допросе, 16 апреля, Лунин «узнал, удостоверительно и несомненно, что как все лица, так и действия их уже совершенно известны высочайше утвержденному комитету», поэтому через день он перечислил известных ему членов Тайного Общества, не назвавши ни одного нового факта. Показания Лунина были одними из наиболее достойных — быть может, даже самыми достойными. Условия тюремного обихода и приемы следствия, столь ярко очерченные Луниным в правдивой истории «Тайного Общества», не могли сломить твердости Лунина и даже его полного внешнего спокойствия. На деле внутренние переживания были иными. В сибирский период он с волнением вспоминал одну бессонную ночь, неизгладимую по впечатлению: «Внезапно слух мой поражен был голосом, говорившим следующие стихи:

Задумчив, одинокий,
Я по земле пройду, незнаемый никем.
Лишь перед концом моим,
Внезапно озаренный,
Познает мир, кого лишился он.

Кто сочинил стихи? — спросил другой голос. — Сергей Муравьев-Апостол. Мне не суждено было уже видеть на земле этого славного товарища, приговоренного к смерти на эшафоте за его политические мнения. Это странное и последнее сообщение между нашими умами служит признаком того, что он вспомнил обо мне и хотел меня утешить предвещанием скорого соединения нашего в мире, где познание истины не требует более ни пожертвований, ни усилий».

Лунин, отнесенный ко 2-му разряду «государственных преступников», был осужден к «политической смерти», т. е. по силе указа 1753 г. голову его надлежало положить на плаху, а потом он должен был быть сослан на вечную каторгу. Первый год каторжных работ Лунину суждено было провести в Свеаборгской крепости. Затем его перевели в Выборгскую тюрьму. Последнее заключение физически было особенно тяжело — настолько тюрьма была неблагоустроенна: по рассказу Волконского, острослов Лунин не удержался от того, чтобы не сказать посетившему каземат финляндскому

ген.-губ. Закревскому, что он «вполне доволен всем и что ему недостает только зонтика». В отместку за дерзость или по сервильности своей Закревский не пропускал ни писем, ни книг, прибывавших от Уваровой. В апреле 28 г. Лунин, наконец, был отвезен в Сибирь. Прошли полтора года временного пребывания в Читинском остроге и затем пять лет в Петровском заводе. Лунин прожил эти годы несколько обособленно, не сливаясь с декабристской коммуной. Розен рассказывает, что в Петровском заводе Лунин жил — «оригинальнее всех». «Он занимал 1-ый нумер, совершенно темный, где невозможно было прорубить окно, потому что к наружной стене его кельи была пристроена унтер-офицерская караульня. Он не участвовал в нашей артели, пил кирпичный чай, постился по обряду католической церкви. Третья часть его кельи к задней стене была отделена завесою, за ней над помостом стояло большое распятие, присланное из Рима, где оно было освящено папой. В продолжении дня несколько раз слышны были латинские возгласы: «Dominus Vobiscum». Это Лунин молитвой, как он признавался, рассеивал «дьявольские навождения». «При всем том — замечает Розен, — он никогда не был ханжей: когда выйдет к нам на работу, то любо было смотреть на его красивый стан, на развязную походку, на опрятную одежду и любо было слушать его умный и живой разговор». Тенета мистицизма не могли опутать реалистического ума Лунина и «заключенный в казематах» он «десять лет не переставал размышлять о выгодах родины».

***

«В ссылке, как скоро переменились обстоятельства, я опять начал действия наступательные» — этими словами Лунина можно начать рассказ о последних годах его общественной деятельности. Эта героическая эпопея началась в конце 36 г., когда Лунин переведен был на поселение, и местожительством ему было назначено селение Урик в 17 верстах от Иркутска. Здесь же оказались его ближайшие друзья Никита Муравьев и Сергей Волконский, в семьях которых он находил нужный изгнаннику уют. Из Урика Лунин получил возможность сноситься с сестрой, проявлявшей нежную заботливость о судьбе ссыльного. С чужих слов Розен представляет Лунина в Урике каким то отшельником, жившим на поселении «совершенно уединенно»; «он окружил свой собственный домик частоколом, как острог, калитка была всегда заперта, слугой и сторожем имел бурята». Таким странным образом жизни, возбуждавшим подозрения у власти, Розен объясняет и все

последующие его злоключения. Таким анахоретом Лунин не был. Подводя итоги своих «агрономических занятий» в 37 г. и отмечая препятствия, встреченные со стороны «пугливой власти», он писал сестре: «правда, главным препятствием были учебные занятия: Платон, Геродот не ладят с сохой и бороной. Вместо наблюдений за полевыми работами, я перелистывал старинные книги. Что делать? Ум требует мысли, как тело пищи. Между тем в 8 месяцев много сделано: земля болотная, необработанная, тернистая осущена, огорожена, обращена в луга и пашни. Посредине английский садик с песчаными дорожками, беседкой, множество цветов, даже две левады, огород и, наконец, уютный домик с пристройками, где запоздалый спутник находит убежище, бедный — кусок хлеба, разбойник — отпор». И мрачный «бурят»-сторож под пером Лунина принимает иной образ. «Тебе известно мое домашнее устройство, познакомься теперь с моими домочадцами, их не много: Василич, его жена и четверо детей. Бедному Василичу 70 лет, но он силен, весел, исполнен рвения и деятельности». Двор наполняет не только крикливая детвора Василича, но и крестьянские ребятишки селения, которых урикский философ, откладывая в сторону «анализ болтовни доброго Сократа перед смертью», учит грамоте и родители которых приходят разбирать свои повседневные ссоры и тяжбы. Декабрист Вадковский, не любивший урикского «отшельника», должен признать, что он «приобрел какое то владычество нравственное над всеми почти жителями Урика». Жизненных сил у сибирского изгнанника еще так много, что он продолжает ходить с рогатиной на медведя, а вернувшись с охоты, принимается за углубленные научные занятия, далеко выходящие за диллетантские искания — восемь томов Платона «на греческом тексте» и творения Блаженного Августина в подлиннике последовательно сменялись русскими летописными хрониками, Сводом Законов и т. д.

Так проходит время «в тишине кабинета или в созерцании красоты сибирского леса». И всетаки трудно похоронить безвозвратное прошлое, образы которого властно врываются и нарушают монотонную жизнь в хижине заточения.

**
*

Болото обывательского мира не могло засосать Лунина слишком крупной индивидуальностью был этот человек, непохожий на других. Не мог найти он полного успокоения и в философской нирване религии, ибо обладал чрезвычайно горячим жизненным импульсом, заставлявшим его остро реа-

гировать на общественные вопросы. И почти незаметно письма, из которых каждое представляло собой «сжатую форму рассуждения философского характера»*) превращаются в мастерски написанные политические памфлеты — «бич сарказма так же сечет, как топор палача». Трудно, конечно, согласиться с утверждением Цетлина, что из декабристов один только Лунин «не слился с сибирскими буднями». «Духовное благородство» продолжало отличать и в Сибири многих былых соратников Лунина. Здесь были люди «высокого духа», но один только Лунин своими литературными выступлениями продолжал активную борьбу за «великое дело» Тайного Общества, раскрывая общественную правду и изобличая неправду правительственную. Он продолжал борьбу с самодержавной властью, и это был почти безпримерный подвиг со стороны бесправного ссыльного. Не все, находившиеся в изгнании, оценили этот подвиг. Даже такой близкий Лунину человек, как Мария Ник. Волконская, не нашла подходящих слов и ограничилась замечанием, что Лунин «забавлялся тем, что смеялся над правительством в письмах к своей сестре».

Своим обличительным словом Лунин отнюдь не устраивал только демонстрацию. Его психология гораздо сложнее. Обращаясь к сестре, он метил в другого читателя и из далекого изгнания подавал «советы» петербургскому правительству: «тем хуже для тех, которые от них уклоняются». Лунин не так далеко удалялся от истины, когда в своих показаниях 41 г. говорил, что единственной его целью было довести «до сведения правительства» свои политические сочинения «посредством официальной переписки с родственниками» — «я полагал, что посреди многих заблуждений, свойственных уму человеческому, они заключают некоторые небесполезные истины». Действительно, наивный Дон-Кихот, скажет скептик, прошедший старую революционную школу. Может быть, — но эта наивность психологически так понятна в моменты, когда революционные порывы рождаются в социальной среде правящего класса, когда люди, принадлежащие к «высшим сословиям состава общественного» впервые пытаются пробить «новые пути к совершенствованию настоящих поколений» и начинают сознавать, что «действия их есть обязанность... употреблением умственных способностей платить за выгоды,

*) Так определял уже в наши дни эту переписку потомок де-кабриста известный писатель кн. С. М. Волконский, сопоставивший экспромпты Лунина с высказываниями Вл Соловьева («О декабри-стах»).

которые доставляют им совокупные усилия низших сословий». Несмотря на тираноборческую фразеологию ранних русских якобинцев и карбонариев, между ними и властью не было той пропасти, которая вырыта была позднейшими поколениями революционной интеллигенции. Можно допустить, что Лунин находил известное удовлетворение и в самом процессе дразнения «белого медведя», как выразился Мих. Бестужев. Он сам как то признался сестре, что в «стужах сибирских» для полноты бытия ему «не достает ощущения опасности». Грозившую опасность, очевидно, Лунин предвидел — недаром ему принадлежат слова, вошедшие в состав русских политических пословиц: «в России два проводника: язык до Киева, перо до Шлиссельбурга». С фатализмом встречал он неизвестное будущее: «Не надо беспокоиться, если новые тучи собираются на горизонте, эти бури пройдут, как и другие, и только ускорят прибытие мое к пристани».

**
*

Лунин весьма отчетливо определял свою политическую позицию: «Мое прозвище изменялось во время тюремного заключения и ссылки и при каждой перемене становилось длиннее. Теперь меня прозвали в официальных бумагах: государственный преступник, находящийся на поселении, целая фраза при моем имени. В Англии сказали бы: Лунин — член оппозиции. Ведь таково, в сущности, мое политическое значение... Мое единственное оружие — мысль, то согласная, то в разладе с правительственным ходом». Лунин не принадлежал к числу политических реформаторов или социальных утопистов, мечтающих революционным путем перестроить весь мир и одним махом перевоспитать человечество, которое в своем культурном развитии идет вперед медленным поступательным путем.

В историческую эпоху, в которой он жил, по его мнению, «идея о верховной власти народа — пустая мечта в ряду других химер». Это не мешает признать, что «основа общественного порядка... заключается в народе, а не в правительстве». Истинная свобода состоит в повиновении законной власти и «порабощение есть подлежание незаконной власти»... «Система самодержавия уже не соответствует настоящему состоянию России» — законной властью «может быть лишь правительство, основанное на законе конституционном, проведшее в жизнь начала народной свободы». Когда политические идеи из книжных отвлечений переходят в «народную мысль и становятся народным чувством», тогда они требуют

— «непреложного удовлетворения » и «встречая сопротивление разрешаются революцией». «Из вздохов заключенных под соломенными кровлями рождаются бури, низвергающие дворцы» — предостерегающе говорит сибирский изгнанник.

От верховной власти зависит разрешение стоящей перед Россией дилеммы: вступит ли она безболезненно на путь, который свойствен «просвещенным народам» или пойдет по пути насилия, противного «справедливости и разуму». Попытка убеждать существующую верховную власть логична, ибо после неудачного «происшествия 14 декабря враждебная партия искусно воспользовалась ошибками». Эта партия «состояла из дворян, которые боялись лишиться своих прав и рабов, и из чиновников-иностранцев, которые боялись лишиться своего жалования. Водители партии поняли, что конституционный порядок есть новое вино, которое не держится в старых мехах; что с падением самодержавия они принуждены будут оставить места, сложить чины и ордена, как актеры после неудачной драмы. Ничего не упустили в отклонении удара. Правительство уверили, что целью Тайного Общества было цареубийство и безначалие»... Они «были вынуждены употребить силу, потому что не имели никаких средств для опровержения ...мыслей об общественном улучшении». В итоге «выдающиеся люди эпохи находятся в глубине ссылки в Сибири, посредственности — во главе управления»... «Ослаблять действие просветительных элементов действием ретроградных порядков — их единственная забота». Срывать личину сервильности — долг мыслящего гражданина. Среди печалей, которые «окружают отечественное пепелище, пусть будет услышан голос тех, кто «своей кровью» скрепил дело свободы. «Паскаль верил свидетельству идущих на смерть. Отрекшиеся от личной свободы, от всякого благосостояния, от всякого звания общества, кажется, заслуживают... некоторой доверенности».

Вот психология Лунина, изложенная его собственными словами из писем и записной книжки. Он пользуется всяким поводом для того, чтобы довести до сведения власти своего рода cahiers de doléance «бедного ссыльного», которого легче «изгнать, чем опровергнуть». 7 июля 37 года он пишет... «Вещи и книги, получаемые мною, пришли перепорченными по небрежности или тупоумию Почтового Департамента... Такое нарушение общественного доверия происходит от того, что эта важная отрасль управления превращена в синекуру и отдана на кормление царедворцу старой школы, который при нескольких государях занимал с большим или меньшим успехом должность шута». «Последнее время, — пишет он 28

апреля 38 г. — мои занятия обращены были на исторический обзор кодификации русских законов. В первой части этого труда встречаются замечательные признания... в 1826 г. русская земля находилась относительно законодательства точно в таком же положении, как в 1700 г. Так как правительство не умело в продолжение столетия с лишком удовлетворить самым безотлагательным нуждам народа, управляемые поневоле должны были прибегнуть к собственным средствам, чтобы достичь цели. Ни в каком случае нельзя их обвинять в нетерпении и поспешности. Правительство, делая такие признания, защищает косвенно дело Тайного Общества...»

В дальнейшем представляется повод для размышления о триединой формуле — православие, самодержавие, народность, — проповедуемой министром народного просвещения. По мнению Лунина, начала эти разнородны и противоречивы по своим результатам. «Вера православная не дает предпочтения ни самодержавию, ни иному образу правления. Она одинаково допускает все формы их, очищает их, проникая своим духом. Она стирает народности и всякое различие между людьми, ибо объемлет весь род человеческий, не различая рабов от свободных, иудеев от язычников»... «Перейдем к самодержавию... Не доказано еще, почему оно свойственнее русским, чем другое политическое устройство, и всегда ли они одинаково будут его предпочитать. Народы, которые нам предшествовали на поприще гражданском, начали также с самодержавия и кончили тем, что заменили его конституционным управлением, более свойственным развитию их сил и успехам просвещения. Принцип народности требует пояснения. Если подразумевать общность обычаев, нравов, законов, всего общественного устройства, то она изменялась сообразно различным эпохам нашей истории... Которой же из них дадут ход? Если последней («Эпоха Императоров»), то она скорее чужая, чем наша...» «Министерство народного просвещения верует в самодержавие, как догмат, и, располагая мощными средствами, двигает ими, для его укрепления... Наемные писатели сочиняют книги в пользу этого предположения, а полиция подкрепляет их своими рукоплесканиями. Но нужен иной язык, иное доказательство, а пуще всего иное управление, чтобы заставить 50 миллионов людей принять начала, которые нам выгодны. Ибо н а р о д м ы с л и т, несмотря на глубокое молчание. Доказательством, что он мыслит, служат миллионы, тратимые с целью подслушать мнения, которые ему мешают выразить».

Третье Отделение, конечно, с первых же писем Лунина обратило внимание на их особенность. Шеф жандармов Бен-

кендорф, 16 декабря 1837 года, препровождая Уваровой полученное из Сибири письмо, официально обращал внимание на то, «сколь мало» Лунин «исправился в отношении образа мыслей». Так как письма Лунина продолжали заключать «дерзкие мысли и суждения, несоответствующие его положению», Бенкендорф, в августе 38 г., распорядился «воспретить... переписку в продолжении одного года»... Год Лунин не писал. 15 сент. 39 года он обратился к Бенкендорфу с ходатайством о возобновлении переписки: «Прискорбно было для меня повеление прекратить переписку. Желая впредь избежать этого несчастия, я беру смелость обратиться к Вашему Превосходительству с просьбой, чтобы благоволили предписать начальствам, коим поручена передача моих писем, просматривать их предварительно и исправлять или уничтожать те из них, которые покажутся неправильными, несмотря на старание, с которым я их составляю. Таким образом я не подвергся бы тяжелой ответственности за невольные отклонения или за неуместную искренность. Кажется, я не уклоняюсь от справедливости и рассудка, испрашивая для родственной переписки не более того, что законом предоставляют письменам, предназначенным к печати». Одновременно он написал и сестре, не дожидаясь разрешения: «Пусть укажут мне закон, запрещающий излагать политические идеи в родственных письмах. Его нет в нашем Своде. Да он и не найдется ни в каком законодательстве, ибо политика заключается в глубине всех вопросов нравственных, ученых и литературных, и такой закон равнялся бы запрещению мыслить»...

За письмом к сестре, написанным одновременно с посланием к шефу жандармов о возобновлении переписки, последовало большое рассуждение, озаглавленное «Рабы». В нем заклеймение рабства и апофеоз личной свободы сопровождались исторической справкой о том, что институт, который «все просвещенные народы признали несообразным с законом Божеским и человеческим», в России утвердился «не прямым путем, но случайно» — в виде временной правительственной меры в половине 17 века, препятствовавшей свободному переходу крестьян из одного места в другое. «В Своде Законов нет начала, узаконяющего рабство. Если бы крепостные наши судебным порядком стали отыскивать свою свободу, мы не могли бы ничего противопоставить им»... Следующее большое письмо направлено было в защиту поляков — тех новых изгнанников и «страдальцев, обремененых цепями в безмолвии казематов», которыми наводнилась Сибирь после восстания 1830 г. Лунин исходит из положения, что «по закону справедливости рассудка можно, кажется, принять за правило,

что во всех революциях виновность падает поровну на двое: на власть, которая причинила или не умела предупредить оную, и на подвластных, которые прибегли к этому средству, чтобы искать удовлетворения за угнетения, существенные или мнимые». Мысли, выраженные в письме, потом были развиты в особой, недавно только опубликованной, статье «Взгляд на польские дела». Оценка польских дел чрезвычайно показательна для характеристики политической позиции Лунина. Нечего и говорить, что он резко осудил «ложный путь гонений», облеченных правительством «в форму законности». «Репрессивные меры отнюдь не находят поддержки в симпатиях русского народа» — утверждал сибирский изгнанник. «Русские никогда не помышляли о покорении своих братьев (странное заблуждение думать, что правительство может уничтожить польскую национальность)... Они предлагают им не благодеяние покровительства, но домогаются лишь объединения воли и усилий, направленных к одной цели. Это желание было высказано естественными представителями русского народа, которых правительство, под влиянием духа партии, обрекло на казнь от руки палача и рассеяло в изгнании... Верные велениям своей высокой миссии, они предсказывали полякам, что их изолированные попытки всегда будут обречены на неудачу, что их надежда на помощь западных государств всегда останется химеричной, что единственная надежда на успех заключается для них в союзном договоре с русскими»... «Только подав друг другу с открытым сердцем руки, они смогут овладеть... оружием взаимного влияния, которое народы оказывают друг на друга во имя всеобщего прогресса человечества»... Мы видим, как Лунин был далек от «государственной патриотической точки зрения Карамзина» упрек, который ему, как это ни странно, бросил Герцен.

Лунин сам составил сборник избранных писем, который пока только в списках и дошел до нас (один из этих списков был собственноручно вписан Луниным в тетрадку Волконского, другие переписаны занимавшимся у Лунина его сопроцессником Громницким). «Письма из Сибири» сопровождались предисловием, помеченным датой — 1839 г., августа 17, Иркутск. Вот некоторые выдержки из него: ...«Запрещение излагать свои мнения свидетельствует о важности их и о той робости, которые вообще люди ощущают при первом взгляде на истину, пока не узнают и не полюбят ее... Предприятие мое не бесполезно в эпоху прехождения, когда стихии рациональной оппозиции не существуют, когда печатание, немое для истины, служит только выражением механической лести... Заключенный в казематах десять лет, не пере-

ставал я размышлять о выгодах родины... Последнее желание мое в пустынях сибирских, чтобы мысли мои, по мере истины, в них заключающейся, распространялись и развивались в умах соотечественников».

Наряду с «Письмами из Сибири» политическим орудием на «защиту свободы» Лунин сделал и свои исторические обзоры — «Взгляд на русское Тайное Общество с 1816 до 1826 года» и «Разбор донесения, представленного Российскому императору Тайной Комиссией в 1826 году». Обе эти статьи (как и часть писем из Сибири), напечатанные Герценом в «Полярной Звезде»*) получили впоследствии широкое распространение и создали славу Лунину. Своими памфлетами Лунин показал, что люди, которых потомство назвало «декабристами», при всем своем высоком идеализме не были мечтателями, а глубокими реалистами, изучившими и знавшими современную им русскую действительность. Лунин положил начало той «либеральной легенде» о декабристах, подлинным литературным воплотителем которой был Герцен. Эта литературная традиция продолжает и в наши дни царить в русском общественном сознании, и она лучше и вернее передает психологию эпохи, чем все современные попытки расквалифицировать участников драмы, разыгравшейся 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади в Петербурге, по признакам «сословно-классовым». Лунин имел право сказать, что обломки политического здания, которое пытались воздвигнуть члены Тайного Общества «высятся над уровнем отечественных постановлений наподобие пирамиды для указания будущим поколениям стези на политическом поприще». «Желания нового поколения стремятся к сибирским пустыням, где славные изгнанники светят во мраке, которым стремятся их затмить!» Последующая история России представляет собой ничто иное, как «настоящее отступление самодержавной власти под прикрытием корпуса жандармов перед духом Тайного Общества, который охватил ее со всех сторон».

6. Заживо погребенный

Не «Письма из Сибири», с содержанием которых было знакомо Третье Отделение, послужили реальным поводом для жестокой расправы с непокорным политическим ссыльным. В феврале 41 г. Бенкендорф получил копию статьи Лунина

*) Не могу не отметить, что перевод был сделан одним из моих предков, небезизвестным писателем Н. А. Мельгуновым (Ливенским).

под заглавием «Взгляд на русское Тайное Общество». «По преступному содержанию сей рукописи — сообщал 24 февраля шеф жандармов министру военному и вн. дел — я всеподданнейше представил оную Государю Императору и Его Величество высочайше повелеть соизволил: сделать внезапный и самый строгий осмотр в квартире Лунина, отобрать у него с величайшим рачением все без исключения принадлежащие ему письма и разного рода бумаги, запечатать оные и доставить мне оные; его же, Лунина, отправить немедленно из настоящего места его поселения в Нерчинск, подвергнуть его там строгому заключению, так чтобы он не мог ни с кем иметь сношений, ни личных, ни письменных, впредь до повеления, и произвести строжайшее исследование о том, где и когда Лунин занимался сочинением означенной преступной записки, кто ее переписывал и в какие руки она поступила... с кем он имел тесную связь или близкое знакомство... Буде же получится удостоверение, что экземпляры помянутой записки были распространены в Сибири, то сделать самое деятельное распоряжение к отобранию оных и к доставлению всех таковых ко мне».

Ночью 25 марта жандармы, сопровождавшие прибывшего в Урик ген.-губернаторского чиновника Успенского, ворвались в обитель преступного ссыльного, произвели обыск, опечатали двери его дома и ранним утром увезли в Иркутск на допрос. Оказались, однако, свидетели отъезда. По словам Львова, когда Лунин уже был посажен на телегу, сбежались местные крестьяне, которые с плачем бежали за телегой и кричали: «За тебя молиться будем». Друзьям Лунина — Волконскому и др. — удалось перехватить эскорт Лунина в тридцати верстах от селения и перекинуться с ним несколькими словами. Никакой растерянности Лунин не проявил и, хотя был убежден, что «его повесят или расстреляют», по обыкновению смеялся и острил: «Странно, в России все непременно при ком либо состоят... Я — всегда при жандарме» (по другой современной записи Лунин сказал: «В Сибирь я ехал в сопровождении арх. Михаила, теперь меня сопровождает арх. Гавриил; повидимому, эта дорога ведет меня в рай»). Очевидно, не очень приходится доверять официальному донесению Успенского, утверждавшего, что Лунин «дрожал, как в лихорадке» и «потерялся до того, что не мог соединить порядочно двух идей и повторял бессвязно отдельные слова». Заместитель ген.-губернатора Копылов, в свою очередь, доносил в Петербург, что Лунин обнаружил «некоторые признаки помешательства рассудка»... В действительности показания Лунина 27 марта Копылову и позже 5 апреля енисейскому

губернатору сделаны с обычным, присущим ему спокойствием: он никого не замешал в свое дело и сослался лишь на покойного уже ген. Лепарского и также умершего члена бывшего Общества Соединенных Славян Иванова, которому дал копию для практики во французском языке. Лунин заявил, что мысли, изложенные во «Взгляде на Тайное Общество», набросаны были им еще в Петровском «с целью представить дело в благоприятном свете», что, по его убеждению, было в «соответствии с истиной»; сделано это было по просьбе коменданта, желавшгео иметь подробные сведения о деятельности Тайного Общества*). «Сам я никому не сообщал моих политических сочинений. Если кто читал или переписывал оные, то это без моего ведома»...

По предписанию из Петербурга Лунин был препровожден в Акатуевскую каторжную тюрьму с приказанием «подвергнуть его строжайшему заключению отдельно от других преступников», но «не употреблять... на работу». Здесь, на серебряных рудниках Нерчинских горных заводов, расположенных на китайской границе, в двухстах верстах восточнее Нерчинска, предполагалось одно время сосредоточить декабристов. Лунин оказался там первым политическим заключенным. Несмотря на всю «таинственность... заключения», на отсутствие бумаги и чернильного порошка, ему удалось, в конце концов, переправить несколько писем Волконским, которые дают представление, как протекли 4 тяжелые года заключения Лунина в полном одиночестве Акатуевского острога. Возможность снестись с друзьями осуществлена была, очевидно, при содействии «святого отца», ксендза Филипповича, получившего право навещать заключенного, — через него Лунин в сентябре 42 г., т. е. после полуторагодового пребывания в «акатуевской могиле» получил некоторые вещи и книги.

«Повидимому, я предназначен к медленной смерти в тюрьме, вместо моментальной на эшафоте. Я одинаково готов, как к той, так и к другой», — писал Лунин своим урикским друзьям. «Чтобы составить себе понятие о моем нынешнем положении, нужно прочесть «Тайны Удольфа» или какой нибудь другой роман мадам де Радклиф. Я погружен во мрак, лишен воздуха, пространства и пищи, окружен разбойниками, убийцами, фальшивомонетчиками. Мое единственное развле-

*) Возможно, что это так и было. Бенкендорф сделал проверку у Уваровой, сообщившей ту же версию на основании письма Лепарского, пересланного, в свое время, ее братом.

чение заключается в присутствии при наказаниях кнутом во дворе тюрьмы. Перед лицом этого драматического действия, рассчитанного на то, чтобы сократить мои дни, здоровье мое находится в поразительном состоянии и силы мои далеко не убывают, а наоборот, кажется, увеличиваются. Я подымаю без усилия девять пудов одной рукой. Все это меня совершенно убедило в том, что можно быть счастливым во всех житейских положениях и что в этом мире несчастны только дураки и глупцы».

Единственно на что жалуется заключенный, это на отсутствие часов: «для меня большое лишение не знать времени в продолжении долгих бесконечных ночей, проводимых в тюрьме»... С горечью он узнал о смерти своего «дорогого Никиты» (Муравьева), последовавшей в апреле 43 г. — «этот человек один стоил целой академии». Последнее письмо, дошедшее до нас, было написано более чем за год до смерти. Оно все посвящено заботам о других — о старом Василиче и его семье, которых он просит обеспечить деньгами, полученными от продажи урикского дома, о товарищах по заключению в акатуевском остроге: «пришлите средства от лихорадки, от простуды и от ран, причиняемых кнутом и шпицрутенами».

Невозможность продолжать научные занятия была главным несчастием акатуевского затворника: «занятия замирают потому, что книги и все необходимые принадлежности отсутствуют». Надо быть справедливым и сказать, что здесь нет вины главного лунинского тюремщика. Бенкендорф еще в 41 г. сообщил иркутскому генерал-губернатору, что книги Лунина можно переслать в новое место его заключения, но фактически это было выполнено уже незадолго до смерти узника — иркутское начальство не могло изыскать источника на расходы по пересылке, хотя Никита Муравьев тщетно предлагал свои деньги. Но в одном был упорен Бенкендорф — это в вопросе об изоляции непокорного политического преступника, ибо по воле верховного владыки он должен был умереть для всего мира... На бесконечные хлопоты Уваровой граф стереотипно приказывал своему новому помощнику Дубельту: «не отвечать»... После смерти Бенкендорфа, когда начальником Третьего Отделения сделался друг молодости Лунина граф А. Ф. Орлов, Уварова вновь умоляла вернуть брата и спасти «душу его от отчаяния», а «рассудок его от помешательства» — Третье Отделение цинично заявило, что ему даже неизвестно о нахождении Лунина в Акатуе. Не последовало ответа и на слезное припадание сестры «заживо

погребенного» к стопам самого Императора — мольбы именем Бога о милосердии и всепрощении не были услышаны.

**
*

Скоропостижная смерть избавила Лунина от медленного умирания в сыром каземате акатуевской каторжной тюрьмы — Третье Отделение не выполнило даже последней просьбы сестры о передаче ей на память чего нибудь из вещей покойного брата.

Окончились страдания для того, кого мы по праву можем назвать «великим изгнанников». Он тем самым делался и «великим революционером» — такую непреклонную волю, такое изумительное мужество сумел он проявить, защищая и в узилищах святое звание человека... «Могила его должна быть близка сердцу каждого доброго русского» — сказал Волконский. «Животворящий дух» изгнанника поистине озарил лучезарным светом путь последующим поколениям. Люди могут раскаиваться «в порыве, недостатке, слабости, а не в идее» — вот завет, начертанный на знамени Лунина нам эмигрантам, покинувшим родину во имя борьбы за те же идеалы.

С. Мельгунов

ЭПИЗОДЫ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

I.

ПРЕДРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ГОДЫ И ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В РЕВОЛЮЦИОННОЙ ПРОВИНЦИИ

1.

В губернском городе западной окраины, в Витебске, в городе «средней руки», пишущему эти строки привелось провести четыре года — 1914-17. Как и во всей стране, интерес к политическим вопросам среди местной интеллигенции был чрезвычайно высок. Он постоянно поддерживался частыми наездами из столицы именитых людей: А. Ф. Керенского, в честь которого, после прочитанного им доклада, был устроен ужин, организованный группой деятелей Союза торговых служащих (по случаю председательствования А. Ф. на 4-м, закрытом правительством, всероссийском съезде Союза); А. И. Шингарева, дважды приезжавшего к нам (мы давали ему материал для запросов о хищениях на интендантских поставках); В. Д. Набокова, читавшего лекцию о судебных ошибках, и П. Н. Милюкова, с которым мы после его лекции о национальном вопросе в интимной политической беседе провели всю ночь до первых петухов. Неменьшим событием был приезд и не-политиков — Д. Н. Овсянико-Куликовского, Н. М. Минского, Федора Сологуба. Обычно после лекции мы небольшой компанией засиживались в ресторане в затягивавшихся далеко за полночь разговорах. Над всем доминировали политические злобы дня. Как электрический ток, волна напряженного политического ожидания, докатываясь из столиц в провинцию, все пронизывала собой. С какой жадностью прислушивались в глубине России к драме, которая в годы войны разыгрывалась на политических верхах: там шел разрыв Государственной Думы с правительством, там шла борьба двух тактик — тактики левых и тактики прогрессивного блока, на фоне распада дворцовых и бюрократических сфер, отравленных ядом распутинщины.

Постепенно создалось положение, что для обсуждения всех волновавших нас вопросов, для непритязательного, ни-

кого необязывающего «обмена мнений» устраивались каждые две-три недели встречи и собеседования, на которые обычно приглашалось до 20 человек представителей русской, польской и еврейской интеллигенции. В этих совещаниях участвовали русские и польские кадеты, еврейские демократы и сионисты, социалисты всех партий и всех оттенков. Надо сознаться, что не только приходя на эти совещания, но, вероятно, и вне их, почти никто из участников совещаний не носил определенного партийного обличья. Кажется, это было характерно для всей провинции эпохи войны и кануна революции: были люди разных воззрений, но партийных людей почти не было. Связи с партийными центрами были оборваны или очень слабы, да и сами партийные центры фактически не существовали в это время. Это замечание относится к социалистическим партиям. Что касается кадетской партии, то в ней всегда преобладал сочувствующий, околопартийный элемент.

Несколько особняком стояло одно наше совещание, состоявшееся еще в первый период войны и посвященное тогда очень больному вопросу о польско-еврейских отношениях. Это было в полосу экономического бойкота в Польше, господства там погромных настроений и т. д. Приехал из Петербурга студент Федорович*), пепеэсовец, брат местного деятеля, адвоката и гласного Городской Думы. На его квартире и состоялся доклад о польско-еврейской проблеме. На этот доклад были приглашены по пять человек — представителей трёх национальных групп интеллигенции: польской, еврейской и — русской в качестве супер-арбитра. Это было своеобразное собрание и сделанная на нем попытка сблизить поляков и евреев привела впоследствии к положительным результатам в области местных дел. Воспроизводить содержание нашей беседы невозможно. Помню только, что докладчик заявил протест против Жаботинского, который как то написал, что с точки зрения русского еврейства Польше нужна не политическая независимость, а хороший русский губернатор. Местным сионистам пришлось дезавуировать незадачливую фразу Жаботинского. Но, повторяю, эта встреча стояла особняком.

2.

В каждом городе был такой человек, который сосредо-

*) Впоследствии он примкнул к военным отрядам Пилсудского, перешел на австрийскую сторону и был казнен при взятии в плен русскими войсками.

точивал на себе доверие сограждан. В Витебске таким был перводумец и выборжец, еще ранее — городской голова Алексей Онуфриевич Волкович. В Государственной Думе он входил в кадетскую фракцию и кадетом оставался и впредь — до революции. У него на дому обычно и собиралась местная интеллигенция. Без него ни одно политическое дело не обходилось. Столичные знаменитости в его адрес прежде всего и заявлялись. Естественно, что Волкович стал губернским комиссаром Временного Правительства.

Необычную картину представляло собой, помню, первое собрание граждан, созванное Городской Думой в первый день революции.

Член управы, серый, неполитический человек, восседал в президиуме в созвездии начальника военного округа, губернатора, каких то генералов, выступавших с речами и присягавших новому строю. Особенно запомнилась речь губернатора Хитрово, недавно назначенного в губернию и никому лично незнакомого. Весьма патетически, горячо жестикулируя, ударяя себя кулаком в грудь, губернатор восклицал: «верьте, господа, русскому человеку Хитрово!» В зале было очень оживленно. Это еще не был революционный митинг. Среди публики не было ни рабочих, ни солдат. Преобладал демократический обыватель; с раннего утра получив сведения о перевороте, он возжаждал революционных зрелищ. И узнав неведомым путем о собрании в Думе — об этом никаких оповещений не было, — сотни людей устремились сюда подышать воздухом свободы, послушать первые политические речи. Можно легко себе представить всеобщее недоумение, когда публику стали угощать речами старорежимных, мундирных ораторов. Неужели, в самом деле, эти господа всерьез думают, что на другой день после революции все останется попрежнему, что они то во всяком случае останутся на прежних своих правительственных постах?

Но вот слово получил Волкович. Десять слишком лет он вынужден был молчать, лишенный права занимать какой нибудь официальный, общественный пост: муниципальная, земская или государственная карьера была для него закрыта. И вот теперь революция открыла для него возможность вновь поднять свой голос во имя тех идеалов политического освобождения, которым он был верен всю жизнь. Ему было за 60. Он был высок, статен, с открытым выразительным лицом и глубоким голосом природного оратора. В краткой речи, в которой упоминалось о долгих годах ожидания политической свободы и о бесчисленных жертвах, принесенных на алтарь этой долгожданной свободы, Волкович не прибегал к

преувеличениям, ни к какой демагогии. Он говорил, что сейчас, когда идет война, перед действительными сторонниками революции лежит задача неизмеримой трудности и самой серьезной ответственности. Он призывал к единству воли и к энергичной работе, и речь его была покрыта аплодисментами.

Мне показались однако интересными не те или иные общие мысли в речи Волковича, а тот властный, знающий тон, который чувствовался за словами этой речи. Он говорил, как власть имущий, — и не потому, что он был человек твердого характера и непреклонной решимости. Напротив, в общем Волкович представлял собой нечто среднее между русским мягкотелым интеллигентом и либеральным барином. Если можно так выразиться, в нем давал себя знать тургеневский барин, оторвавшийся от родной усадьбы, и в то же время чеховский персонаж, еще не затянутый ряской обывательщины. Революция его всколыхнула, и Волкович должен был вновь держать экзамен на звание политического деятеля.

Повидимому, у него были сомнения и колебания. В тот же первый день революции, вечером, в помещении той же Городской Думы, но в существенно иной обстановке, было другое собрание делегатов от всех общественных организаций, и на этом собрании должен был быть избран первый орган революционной власти в губернии — Комитет Безопасности или Комитет Общественного Спасения. Кто иной, кроме Волковича, мог возглавить этот орган власти? Но в зале собрания, куда явились все, как раз Волковича не было. Произносились речи — от рабочих, от солдат, от офицеров, — другие речи, а Волковича нет как нет. Что же он, сбежал? Уклонился от ответственности? Я звоню ему домой по телефону, но его дома нет. Как обычно, он и в этот вечер играет в карты в дворянском общественном собрании. Телефонирую туда и с трудом добиваюсь Волковича. Коротко информирую его и настаиваю на том, чтобы он немедленно приехал в Городскую Думу. Он возражает. У него сомнения, смысл которых мне неясен. В сердцах я говорю ему: «Теперь или никогда!» и вешаю трубку. Через минут 20 в зале, приветствуемый аплодисментами, появляется Волкович, произносит большую политическую речь. Затем идут выборы Комитета Безопасности, и Волкович естественно избирается председателем.

Он оставался членом кадетской партии в последующие месяцы, занимая пост губернского комиссара Временного Правительства. Но мне хочется отметить, что довольно скоро начались коллизии между ним и партией. Помню, было это в один из кризисов коалиционного правительства. После июльских дней кадеты ушли из состава Временного Правительства.

Это был период кратковременного пребывания И. Г. Церетели на посту министра внутренних дел. Волкович обратился в эти дни ко мне и другим «советским» деятелям с предложением «поговорить по душам». Мы встретились, поговорили — и вот что мы услышали от Волковича: — Он во многом не согласен с Советами, и особенно его огорчает политика В. М. Чернова. Но программа, намеченная Церетели, его вполне устраивает, и, как губернский комиссар, он считает для себя вполне возможным работать в контакте с Церетели. Это одна сторона дела. Другая заключается в том, что кадеты,, его старые товарищи, покидают правительство, и в сущности это значит, что кадеты должны уйти по всей линии. Но он, Волкович, считает ошибкой уход кадет из правительства. И, взвесив все обстоятельства, он доводит до нашего сведения, что он решил остаться на посту губернского комиссара и оставить ряды кадетской партии. Конечно, к социалистам он не пойдет. Ему, 60-тилетнему старику, не пристало менять свои убеждения и перекочевывать в ряды левых. Но до тех пор, пока он может работать вместе с революционной демократией, — он считает нужным этот свой долг выполнять.

Насколько знаю, Волкович не входил ни в какую иную политическую группировку. Но на каждом этапе февральской революции — до самого октябрьского переворота — он был с нами, всегда оказывал нам поддержку и вместе с нами боролся за укрепление революционно-демократических позиций.

II.

КОНФЛИКТЫ С ВРЕМЕННЫМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ

1.

В течение первых дней революции 1917 г. особую остроту у нас получил вопрос о губернском комиссаре, о лице, которое должно представлять в губернии центральную, возникшую с революцией, власть. В Петербурге к этому времени было уже образовано Временное Правительство, во главе с князем Львовым — и с Керенским, в качестве единственного «заложника» революционной демократии, вошедшим в состав правительства с согласия Петербургского Совета Рабочих Депутатов. Имена первого состава Временного Правительства, переданные по телеграфу, как и первая его программа, звучали в провинции особенно эффектно и вызывали всеоб-

щее признание. Лучшего для того времени правительства и не могло быть, и нам казалось естественным и легким установить полный контакт революционной провинции со столицей. Совершенно неожиданно, однако, со стороны центрального правительства был сделан неосмотрительный шаг, который внес в эти дни некоторый диссонанс в наши взаимоотношения и очень осложнил наше положение.

Дело в том, что князь Львов тотчас по образовании Временного Правительства назначил по телеграфу своими представителями — комиссарами Временного Правительства по губерниям — председателей губернских земских управ. Это решение Временного Правительства было продиктовано довольно вескими соображениями. К февралю 1917 г. земства были центрами либеральной общественности. Князь Львов, как председатель Союза Земств, к тому же был лично знаком почти со всеми председателями губернских земств, и не сомневался в том, что в качестве временного модуса назначение их комиссарами Временного Правительства является целесообразным и отвечает духу времени. Однако, какие бы веские мотивы ни лежали в основе этого первого распоряжения Временного Правительства, они абсолютно не учитывали той обстановки, которая сложилась в Северо-Западном крае, где столыпинские националистические земства были построены без евреев и против поляков, где следовательно земства были почти целиком в руках черносотенцев из дворян, а председатели рекрутировались из среды в лучшем случае беспринципных и деляческих элементов, совершенно чуждых местной общественности.

Когда мы в Витбеске прочитали эту телеграмму Временного Правительства, мы считали, что она имеет лишь общий характер и что правительство поспешит сделать оговорку для губерний Северо-Западного края и, в частности, для Витебской губернии. Однако, правительство не спешило, и никакой телеграммы мы не получили из Петербурга, хотя по нашему поручению «выборжец» Волкович уже снесся с Временным Правительством и сообщил об образовании Комитета Безопасности. Временное Правительство не спешило разъяснить, что его распоряжение не относится к Витебской губернии, а поспешил председатель Витебского земства М. Л. Карташев, который в эти дни жил у себя в имении и, получив телеграмму князя Львова, тотчас обратился с небольшим воззванием к населению губернии, в котором заявил себя сторонником нового строя и подписался губернским комиссаром Временного Правительства. Правда, дипломатичности ради он это свое коротенькое воззвание отпечатал где то в уезде и рас-

пространял его через земские учреждения только в губернии, не решившись расклеивать его в городе Витебске. Но один экземпляр такого воззвания мы получили и тотчас вызвали М. Л. Карташева в Комитет Безопасности для объяснений.

Карташев был умный, культурный, воспитанный человек, красивой внешности. По образованию он был юрист и в течение ряда лет был председателем Окружного Суда. Политических воззрений, как и воззрений вообще, за ним как будто не водилось. Председателем губернского земства он был выбран не в силу активной националистической политики, а в силу хороших связей в Петербурге, среди членов Государственного Совета и пр. Антисемитом он также не был, напротив, он был постоянно окружен дельцами-евреями («жидами-факторами»), как это часто бывало среди нуждавшихся в деньгах русских помещиков. Автоматически в качестве председателя губернского земства он был и председателем губернского Земско-городского Комитета помощи беженцам, куда входили и представители общественных организаций. Помню, мы несколько колебались — это было до революции — следует ли с ним сотрудничать, но другого исхода тогда не нашли.

Но помимо вопросов земской деятельности, Карташева постоянно влекли к себе разные другие практические дела. Он состоял особо уполномоченным по передвижению продовольственных грузов; я думаю, что при тогдашнем состоянии транспорта и при чрезвычайной заинтересованности спекулянтов тыла в передвижении продовольственных грузов, эта должность не могла не дать Карташеву, хотя и безгрешные, но весьма значительные доходы. Однако, деляческая ипостась Карташева этим не удовлетворялась. В течение 1916 г. он занялся серьезным коммерческим делом совместно с членом Государственного Совета Офросимовым, и эта коммерция, давая огромные доходы Карташеву, была к тому же полита густым патриотическим соусом. По соглашению с военными властями Карташев и его друзья получили право на монопольную скупку на всем Западном фронте кож павших животных. Обычно эта скупка производилась местными торговцами кожей. Но Карташеву удалось устранить всех конкурентов под тем благовидным предлогом, что, — как это было сказано в докладной записке, поданной военным властям, — кожи скупаются евреями, которые прячут и закапывают их в землю в прифронтовых местностях и в пунктах ближайшего тыла, чтобы потом передать или продать их немцам, когда эти местности будут заняты немецкими войсками. Приправленная таким патриотическим и антисемитским соусом спеку-

ляция Карташева, Офросимова и др. встретила благосклонное отношение военных властей. Контракт был заключен. Тысячи и десятки тысяч кож павших животных поступали в распоряжение этой патриотической шайки, причем, если обычно частному покупателю приходилось платить за шкуру рубль или два, то для наших патриотов делалась скидка, и с них взимали только по 15-20 копеек. Таким образом и патриотическая политика делалась, и господа патриоты не оказывались в накладе. Совершенно естественно, что если земская работа Карташева не вызывала у нас никакого интереса, то внезапно открывшаяся его патриотическая спекуляция вызвала в нас живейшее возмущение. Когда приехал в Витебск депутат А. И. Шингарев, мы сообщили ему материал для запроса, который был кадетской фракцией внесен в Государственную Думу. Герои патриотической спекуляции, Офросимов, Карташев и др., были названы с трибуны Государственной Думы. Мне лично пришлось в столичной печати подробно расписывать всю эту кожевенную операцию Карташева, производимую на патриотической подкладке... И вот, этот господин оказался первым представителем Временного Правительства в губернии после революции!..

...Карташев явился в заседание Комитета Безопасности, как равный к равным. Он почти не испытывал смущения. Правда, и уверенности особой не проявлял. Когда Волкович и другие присутствовавшие выразили удивление, как он мог решиться принять на себя звание губернского комиссара Временного Правительства, Карташев заявил в ответ, что он только выполнил свой долг по совести и разумению. Если Временное Правительство найдет нужным назначить другое лицо, то он этому подчинится, но до тех пор считает нужным исполнять возложенные на него обязанности. Когда его спросили, как он мог решиться после того, что было сказано о нем в Государственной Думе, принять на себя звание губернского комиссара и затем выпустить воззвание к населению, не сделавши предварительно попытки столковаться с Комитетом Безопасности, об учреждении которого он не мог не знать, — Карташев сказал, что он имел намерение явиться к нам и вот сейчас пришел, — для установления контакта между представителем нового правительства и местными общественными силами. Нас взорвал его тон. Карташеву было определенно заявлено, что мы не можем примириться ни одного дня с тем, чтобы он оставался губернским комиссаром Временного Правительства и что в этом смысле мы в срочном порядке снесемся с Временным Правительством.

После ухода Карташева мы вновь телеграфировали в Пе-

тербург князю Львову, но там были заняты другими делами, ответом не спешили, и положение для нас создавалось безвыходное. Мы буквально попали в какой то заколдованный круг. Единственным кандидатом в губернские комиссары мог быть А. О. Волкович, и он сам это сознавал. Но возглавляя Комитет Безопасности, он считал абсолютно исключенным, чтобы от имени Комитета в той телеграмме, которая протестует против назначения Карташева, было одновременно указано на необходимость назначить его, Волковича. Между тем Временное Правительство, получая от нас только протесты и не имея известий, кого именно мы хотели бы видеть в роли губернского комиссара, не знало в сущности, что нам ответить. Круг все более суживался, надо было найти выход. Волкович видел этот выход в том, чтобы я с ним поехал немедленно в Петербург для установления непосредственного контакта с Временным Правительством. Но эту поездку можно было осуществить только через некоторое время.

Представители рабочих и солдат решили вмешаться в это дело и взять на себя решение вопроса о губернском комиссаре. В это время уже организовались каждый порознь Советы Рабочих и Солдатских Депутатов. Помню, — это, верно, было вечером 6-го марта — в городском театре при огромном стечении публики происходил один из первых революционных митингов. Кажется, это был солдатский митинг, на котором все выступали с большими политическими речами. Во время речи Волковича, в полумраке, за кулисами, мы устроили летучее совещание руководителей рабочего и солдатского Советов по вопросу о губернском комиссаре и приняли следующее решение: 1) немедленно арестовать Карташева, 2) в виду нежелания Волковича временно занять должность губернского комиссара, наметить таким временным комиссаром полковника Семевского, 3) сообщить обо всем этом Временному Правительству и просить его утвердить полковника Семевского в должности временного комиссара. Мы составили постановление, выработали текст телеграммы в Петербург, которую подписали председатели рабочего и солдатского Совета. Когда Волкович закончил свою речь, и слово получил следующий оратор, мы вызвали Волковича за кулисы и показали ему текст телеграммы. Он был поражен и, можно сказать, возмущен нашим решением арестовать Карташева. Но мысль временно заместить должность губернского комиссара, хотя бы мало известным, но довольно культурным и очень обходительным по внешности полковником Семевским, показалась ему удачной. Он несколько поколебался, но все же приписал к телеграмме Временному Правительству: присоеди-

няюсь к решению председателей Советов Рабочих и Солдатских депутатов. Арестовать Карташева мы поручили солдату А. Л. Лихницкому, будущему товарищу председателя солдатского Совета, который произвел этот первый революционный арест тихо и благородно. Он взял с собой двух солдат, отправился в имение к Карташеву и предъявил ему наше постановление об аресте. Лихницкий далее сообщил ему, что, если он, Карташев, не будет сопротивляться и будет благоразумно вести себя, то он его оставит только под домашним арестом. Он просил Карташева не покидать своего дома и для охраны оставил на кухне двух солдат, впредь до разрешения вопроса о губернском комиссаре.

Вопрос разрешился после этого довольно скоро. Полковнику Семевскому совершенно не пришлось вступать в исполнение своих обязанностей. Из Петербурга прибыла телеграмма о назначении губернским комиссаром Временного Правительства А. О. Волковича.

2.

В первые дни марта 1917 года старая цензовая Городская Дума предприняла несколько шагов для того, чтобы «овладеть» революцией. Получив отпор, она отказалась от этой затеи, а революционная демократия скоро забыла о существовании Городской Думы. Имелось в виду временно, впредь до издания нового закона о городах и земствах, реформировать состав Городской Думы и дать делу надлежащее направление. Но за недосугом и за революционными злобами дня эта задача осталась в тени. Пришлось однако вспомнить о существовании старой знакомой, которая не хотела сдаваться и склонна была проявлять признаки жизни. Мы получили в Совете Рабочих Депутатов неожиданное приглашение делегировать своих представителей на заседание комиссии, образованной цензовой Городской Думой, специально по вопросу о реформе городского самоуправления. Если бы Городская Дума не напомнила о своем существовании, — жить бы ей да поживать до того времени, когда будет избран новый муниципалитет на основе всеобщего голосования. Но так как наши дореволюционные «отцы города» сочли нужным напомнить о себе, пришлось этим делом заняться.

Это было примерно в мае месяце. Среди других вопросов пленума Совета в порядке вермишели был доложен и решен вопрос о Городской Думе. В результате этого решения председатели местных Рабочих и Солдатских Советов обратились с письмом к губернскому комиссару Временного Правитель-

ства, в котором изложили нехитрый проект создания на место цензовой и черносотенной Думы временного городского управления. Это открытое письмо было опубликовано в местных советских «Известиях». Мотивировка нашего предложения была совершенно ясна. В Витебске, как и в других городах Западного Края, революция застала совершенно архаическое учреждение, именовавшееся Городской Думой. В это учреждение выбирало только ничтожное меньшинство (примерно: 400) домовладельцев-христиан. Даже евреи-домовладельцы были лишены избирательных прав, — а их считалось до 7 тысяч, — не говоря уже о квартиронанимателях, демократической интеллигенции и рабочих. На другой день после революции существование такой Городской Думы, к тому же более или менее черносотенной, являлось совершенным анахронизмом. Надо было с первых же дней такое учреждение закрыть. К сожалению, Временное Правительство затягивает вопрос о реформе самоуправления. Неизвестно когда можно будет приступить к выборам демократической Городской Думы. Поэтому Советы Рабочих и Солдатских Депутатов считают необходимым сейчас же, не выжидая издания закона Временного Правительства, создать временное городское управление и требуют от губернского комиссара санкции этой мысли.

Мы выработали проект, согласно которому временное городское управление должно было состоять из ста гласных: 25 гласных должны быть делегированы Комитетом Общественной Безопасности (Городским Общественным Комитетом), откуда к тому времени уже вышли представители социалистов, рабочих и солдат и который объединял представителей почти всех существующих в городе буржуазных и демократических разнонациональных организаций; 15 представителей дореволюционной цензовой Городской Думы; 60 гласных, которые разверстываются между Советами Рабочих и Солдатских Депутатов, между отдельными профессиональными союзами и социалистическими партиями. Как видно из этого плана, соотношение сил во временной Городской Думе складывалось таким образом, что революционная демократия должна была располагать 60-ю мандатами, а цензовые элементы — 40.

Не долго пришлось уговаривать нашего губернского комиссара А. О. Волковича санкционировать советский план временной реформы. Он сам вполне сознавал, что существование дореволюционной цензовой думы абсолютно нестерпимо. И раз сами отцы города не догадались притаиться в тиши, а

вышли наружу, то не оставалось другого способа, как заставить их несколько потесниться.

Когда мы, не долго думая, в течение каких нибудь нескольких дней провели по всем организациям и учреждениям выборы гласных, заняли помещение Городской Думы и устроили торжественное открытие временного городского самоуправления, Волкович явился к нам на заседание и приветствовал новое учреждение, возникшее на основе революционного правотворчества. Заседание вышло, действительно, торжественное. Впервые в качестве представителей городского населения на местах гласных оказались вместо кучки домовладельцев и чиновников представители демократической интеллигенции, рабочие, солдаты, офицеры. Вместо истинно-русских людей, представителей одной великодержавной национальности, на этих местах появились поляки, евреи, русские, латыши, литовцы. Вместо закоренелых черносотенцев и членов Союза Русского Народа, к которым были подмешаны в небольшом числе «честные беспартийные», стоявшие на платформе самодержавного режима, — в здании Городской Думы появились социалисты разных мастей, кадеты, сионисты, еврейские и польские демократы и т. д. Впервые в этих стенах в официальном заседании раздались речи не только на русском, но и на других языках. Еврейская речь в этих стенах звучала как одно из убедительных доказательств действительной победы революции и политической свободы в стране.

Старая цензовая Городская Дума, которой по проекту было отведено 15 мест в составе временного городского управления, неожиданно проявила строптивость. Она отвергла наше предложение и не воспользовалась правом делегировать своих представителей в новый муниципалитет. Мы не особенно скорбели об этом. Мы приступили к конструированию руководящих учреждений Городской Думы и сообщили обо всей этой проведенной реформе Временному Правительству и в Совет Рабочих Депутатов в Петербурге. Постоянного председателя Городской Думы было решено не выбирать, ограничившись избранием председателя на каждое заседание. Кандидата на должность городского головы мы не могли найти (может быть, трудность заключалась в том, что пока действовало только временное городское управление). Был выбран состав Городской Управы. Секретарь Управы остался прежний, служивший при цензовой Городской Думе.

Окрылил ли их вольный воздух революции или они почувствовали себя со своим формальным правом как за каменной стеной, но наши «отцы города» неожиданно проявили

большое гражданское мужество: они устроили заседание старой цензовой Городской Думы и от ее имени заявили протест против закононарушений, допущенных революционными организациями. Свой протест они сообщили немедленно Временному Правительству. Любопытно отметить, как проявило себя в этом случае Временное Правительство. Не запрашивая своего представителя в губернии Волковича, не сделав попытки выяснить своеобразие ситуации на месте, министерство внутренних дел, не долго думая, за подписью товарища министра Авинова прислало телеграфное распоряжение о восстановлении старой цензовой Городской Думы. Эта телеграмма Временного Правительства была получена в адрес председателя цензовой Городской Думы, Ф. И. Григоровича. Это было, конечно, заведомо проигрышным делом. Новая власть в городе не допустила бы такого вопиющего скандала. Но весь интерес вопроса в этот момент уже передвинулся от притязаний старых «отцов города» к вопросу об оценке того шага, который был предпринят от имени Временного Правительства Возмущение было всеобщее. Нельзя было понять и объяснить поведение Временного Правительства. Товарищ министра Авинов, посылая свою телеграмму в Витебск, явно обнаружил, что он ничего не понимает в руководимой им области коммунальной политики. Он даже не подумал о том, насколько сохранение Городской Думы в руках кучки домовладельцев и чиновников старого режима, лишение 50% населения — евреев избирательных прав, отсутствие в Думе рабочих, солдат, демократической интеллигенции противоречит элементарным требованиям революционного правосознания. Когда этот скандал разыгрался, мы отправились к губернскому комиссару Волковичу, как бы говоря: это ваше правительство так наскандалило, теперь вы и расхлебывайте... Мы, со своей стороны, от имени Совета послали протест на действия Авинова «заложникам» революционной демократии во Временном Правительстве — Керенскому, Церетели, Чернову, описав в телеграмме подробно весь этот эпизод. Волкович вынужден был, для того, чтобы ликвидировать назревавший между нами и Временным Правительством конфликт, делегировать своего представителя в Петербург. По этому делу выезжал С. М. Писаревский, которому удалось убедить законников в сферах в ошибочности их поведения и привезти из Петербурга санкцию произведенного нами переворота.

Григорий Аронсон

АХИЛЛЕСОВА ПЯТА КОЛХОЗНОЙ СИСТЕМЫ

Советский Союз был официально провозглашен страной самого крупного земледелия в мире*), несмотря на наличность 18,8 миллионов карликовых хозяйств самих колхозников. Одновременно Союз был объявлен страной самого механизированного в мире земледелия, хотя превосходство его над всеми другими странами ограничивалось двумя операциями (пахота тракторами и уборка хлеба комбайнами), во всех же остальных операциях Союз далеко отставал от таких стран как С. Ш. А. и Канада, а в отношении многих операций — и от передовых европейских стран.

Однако, если оставить в стороне совершенно невероятные преувеличения, перемены в советском земледелии с 1928 г. были, конечно, огромны. Эти перемены должны были бы в частности привести к громадному увеличению производительности труда. Как и всякая иная механизация, механизация земледелия должна была бы сопровождаться очень большой экономией труда. Переход от мельчайших, обычно однолошадных и однокоровных, нередко безлошадных и бескоровных крестьянских хозяйств, к хозяйствам с сотнями гектаров пашни, специальными молочными, свиными и прочими фермами, должен был бы оказать большое влияние на размеры трудовых затрат — и помимо созданной этим возможности целесообразного использования тракторов и комбайнов. Производительность труда должна была, наконец, возрости и от внедрения искусственных удобрений, улучшенных семян и пород скота и т. д.

Официальная точка зрения та, что эти результаты в области производительности труда действительно достигнуты. Почти нет пределов восторгам по этому поводу. Так, по официальным расчетам**), затрата труда на тракторных работах, выполненных МТС (машинно-тракторными станциями) в 1937 г., была в 6,8 раз меньше, чем если бы те же работы

---

*) Сталин, «Вопросы ленинизма», изд. 11, стр. 582.
**) И. Меринов, «Производительность труда в колхозах», «Соц. сельск. хоз.», 1939, Июнь, стр. 14. См. также «Соц. сельск. хоз., 1938», стр. 50.

были выполнены единоличными крестьянскими хозяйствами. На одних только этих работах по этому расчету съэкономлено было в 1937 г. 1285 милл. рабочих дней или 10,9 милл. рабочих лет.

Если, однако, от восторгов и суммарных итогов от каких то неподдающихся проверке расчетов перейти к очевидным, неоспоримым фактам, то получается совершенно иная, гораздо менее благоприятная картина. Огромное укрупнение, тракторы, комбайны, удобрения, улучшенные семена и скот — все это увеличило чистое земледельческое производство на душу земледельческого населения, за десятилетие с 1928 по 1938 г., всего лишь процентов на 25-30. Из расчета же на затраченный час прирост был и совсем ничтожен или его даже не было вовсе. Но мало того — за период коллективизации доля неземледельческого труда чрезвычайно возросла в земледельческой продукции. В той или иной форме земледелие должно платить городу за тракторы, комбайны, миллионы тонн горючего, и даже за учебу и руководство. При этом неземледельческий труд и оплачивается в несколько раз выше земледельческого и, действительно, стоит много дороже последнего.

Это, казалось бы, невероятное утверждение о ничтожности роста производительности труда в земледелии за время коллективизации, социализации, механизации и пр. с железной логикой вытекает из следующего простого расчета. Чистое производство земледелия увеличилось с 1928 г. на 12-15%*) при сокращении числа трудоспособных в земледелии на 10-12%**). Годовая земледельческая продукция на

*) Чистое производство земледелия это то, что потребляется самими производителями в пищу, на одежду и т. п. или ими отчуждается для неземледельческого потребления. Увеличение в 12-15% составляется из увеличения чистой продукции растениеводства на 30-35% и сокращения продукции животноводства на 10%. Расчет сделан для средних климатических условий и с поправкой на потери при уборке. Термин «чистая продукция» употребляется здесь в ином смысле, чем в официальной русской статистике.

**) Население, занятое земледелием, сократилось приблизительно на 15%. Однако, число работоспособных в земледелии уменьшилось меньше, чем все земледельческое население. Специальных данных по земледельческому населению, к сожалению, нет, но данные переписей 1926 и 1939 г. дают основание сделать вышеуказанный вывод. С переписи 1926 г. до 1939 г. процент лиц в возрасте от 15 до 59 лет повысился для всего населения с 56,1% до 58% или на

работоспособного возросла, таким образом, с 1928 г. по 1938 г. процентов на 25-30.

Но мало этого. В огромном большинстве мелких и мельчайших крестьянских хозяйств не только недоедали и вообще жили скверно до коллективизации, но земли и скота было далеко недостаточно, чтобы сколько-нибудь полно использовать наличную рабочую силу. Возможность же работы на стороне имелась не везде и, тем более, не во все времена года. Происшедшее огромное укрупнение предприятий дало, конечно, возможность занять наличную рабочую силу более полно, после того, как чудовищная смертность в начале коллективизации и растущая бешеными темпами индустрия выкачали избыточное земледельческое население*).

А. Липкинд**), сравнивая бюджетные данные для индивидуальных крестьян в 1924-25 г. с отчетными данными по колхозам за 1937 г., пришел к выводу, что число рабочих дней на трудоспособного в год повысилось по Союзу с 92 до 213 дней, т. е. в два с лишним раза. Рабочий день, правда, сократился в колхозах по сравнению с индивидуальными хозяйствами. Но этим увеличением могла, конечно, быть компенсирована только часть высчитанного Липкиндом огромного увеличения числа рабочих дней в году.

Заставь дурака Богу молиться, он и лоб разобьет. Совершенно игнорируя, какой суровый приговор его вычисления обозначают для всей колхозной системы, Липкинд в упоении блестящими результатами по части уплотнения рабочего года, вероятно, перестарался. Число дней, проработанных в 1925 г. было, нужно думать, больше исчисленного им, но самый факт заметного уплотнения рабочего года не только днями, но и часами, по сравнению с до-коллективизационным временем, несомненен. Так как производство на трудоспособного возросло лишь приблизительно на 25-30 %, то производство на

3,4%; наибольший рост (на 25,4%) показывает группа в лучшем рабочем возрасте (30 до 39 лет). При состоянии советской статисти-ки немыслимо прийти к окончательным выводам в отношении рас-пределения населения по занятиям. См. Frank Lorimer, "The Population of the Soviet Union: History and Prospects", Leage of Nations, 1946, Appendix V.

*) По расчетам Госплана избыточное население составляло в 1926/27 г. около 8 милл. трудоспособных. См.: Липкинд, «Вопросы рационального использования трудовых рессурсов в колхозах», «Проблемы экономики», 1939, № 2, стр. 75.

**) Там же, стр. 77-78.

рабочий час не могло возрости сколько нибудь чувствительно.

Факт значительного уплотнения рабочего года не только известен, но, как это ни странно, не один только Липкинд этим чрезвычайно гордится; им гордятся, при том чуть ли не столько же, как гордятся будто бы достигнутым огромным ростом производительности земледельческого труда*).

В этих двух гордостях есть, конечно, очевидное противоречие: или огромный рост производительности труда или уплотнение, потому что продукция то возросла мало. Но в Союзе с противоречиями не очень считаются. К тому же в этом специальном случае там надеются, что потребители их информации поверят в неверные исчисления огромного роста земледельческой продукции в результате коллективизации и социализации.

Затраты труда в колхозах

Ничтожность роста производительности труда в земледелии, если таковой рост вообще был, конечно, не значит, что крестьянское хозяйство до коллективизации было более эффективным, чем обычно думают. Стандартная практика производства крестьянского хозяйства в Архангельском округе требовала около 80 человек-дней на десятину ржи, т. е. один человек, в лучшем случае, мог за весь теплый сезон справиться с одной десятиной. Пусть Архангельский округ крайность. Но производительность нашего в широкой степени однолошадного производства была очень низка везде, даже в районах сравнительного многоземелья. Машин было мало и до первой мировой войны, и часть их была унесена революционным взрывом и не восстановлена вплоть до начала сплошной коллективизации. Пахота одной-двумя маленькими лошадками, отчасти сохой; ручная культивация; ручная уборка, при том в значительной степени не косой, а 3000-4000-летним серпом; молотьба примитивным способом или даже в ручную и ручное провеивание — были преобладающими формами землеробства.

Производительность труда в карликовом примитивном хозяйстве среднего русского крестьянина была в действительности так низка, что никак нельзя ограничиться доказательством, что колхозное хозяйство имеет кое-какие преиму-

*) См. напр. И. Лаптев, «Исторические победы колхозного строя», «Соц. сельск. хоз.», 1939, Ноябрь, стр. 21, и «Колхозы во второй Сталинской пятилетке», Москва, 1939, стр. 8.

щества по сравнению с ним. Большого же превосходства нет. Вот и приходится изворачиваться. О существовании животноводства — наиболее слабой части колхозов — забывают. В анализе данных по растениеводству налегают на мелкие хлеба — культуры наиболее подходящие для механизации, делая и здесь насилия над цифрами. Фактически в с е затраты труда в прежнем крестьянском хозяйстве сравниваются с одними лишь п р я м ы м и затратами в колхозе, т. е. без затрат труда в МТС на администрацию колхоза, даже без затраты труда на уход за рабочим скотом. Из всего десятилетнего колхозного периода для сравнения с до-коллективизационным временем пользуются данными лишь по высокоурожайным годам (почти всегда 1937; очень редко 1935 г.).

К окончанию 2-ой сталинской пятилетки произведено было специальное обследование 430 колхозов в Калининской области, Белоруссии, Воронежской области, Азовско-Черноморском крае, Украине и в Западно-Сибирском крае. Результаты опубликованы, вместе с другими материалами, в 3-х юбилейных томах *in folio*. Все собранные там данные не оставляют сомнения в том, что в колхозах, на которые приходится львиная доля всей земледельческой продукции Союза, затраты труда на отдельные культуры и в особенности на отдельные категории скота в лучшем случае не малы, а в худшем баснословно велики.

Колхозное хозяйство относительно наиболее успешно в производстве колосовых хлебов. Это потому, что главные козыри коллективизации — трактор и комбайн — там находят или наибольшее (трактор) или почти исключительное (комбайн) применение. Однако, затраты в колхозах велики даже в производстве хлеба. Согласно данным упомянутого обследования*), средняя затрата на гектар озимых была в 1937 г. 11,71 рабочих дней, а на гектар ранних яровых 9,77 рабочих дней. Затраты труда были наименьшими в Азовско-Черноморском крае — 7,32 и 6,61 дня. На Украине, в среднем, затрачивалось 10,61 и 10,06 дня.

На гектар кукурузы и подсолнуха, производимых исключительно в районах с лучшими, относительно, показателями в отношении затрат труда, тратилось 15,48 и 13,38 рабочих дней. На такую чрезвычайно малоурожайную культуру, как просо, уходило 12,27 рабочих дней. А там идут совсем геометрические цыфры: лен долгунец 46,0 дней без первичной обработки и 79, 16 дней с первичной обработкой, картофель

*) «Производительность и использование труда в колхозах во второй пятилетке», Госпланиздат, 1939.

65,15 дней, хлопок (неполивной, малоурожайный) 81,76 дней. На гектар свеклы пошло 131,80 дней, т. е. один человек, незанятый ничем иным, не справился бы даже с одним гектаром. Затрата труда на центнер свеклы, ценностью (по ценам 1926-27 гг.) всего в 1 рубль 4 коп., в высокоурожайном 1937 г. равна была 0,73 дня, т. е. вся валовая продукция одного рабочего дня составила 1 рубль 44 коп.

Вершина неэффективности в затратах труда достигается, однако, в коллективизированном животноводстве. 46 дней затрачивалось в колхозах на малоудойную корову, 21 день на свинью, 11,2 дня на поросенка, 5,2 дня на овцу и т. д. Трудно было бы поверить этим фантастическим цифрам, если бы в официальном издании не приводился детальный расчет, показывающий, из чего они составляются.

Указанные затраты труда при том покрывают только труд, непосредственно израсходованный на указанную культуру или род скота. Административный персонал, заведующие складами, сторожа, даже уход за рабочим скотом, все это в официальном расчете не распределено по культурам и по родам скота. В 1937 г. во всех колхозах на полеводство и огородничество засчитано было лишь 52,0% всех отработанных дней, на продуктивное животноводство 16,3%, а всего непосредственно на растениеводство и продуктивное животноводство меньше 70% всех рабочих дней. На уход за рабочим скотом пошло отдельно 8,1%, на правление, контору и хозяйственную часть — 8,3% и т. д.*),

Правильный учет требовал бы, конечно, чтобы и время, потраченное персоналом МТС, было разложено на отдельные колхозные операции. Как в указанных юбилейных изданиях, так и в других, эти п р я м ы е затраты труда на отдельные культуры и роды скота, составляющие лишь 70% от общих трудовых затрат самого колхоза, сопоставляются с соответствующими затратами в индивидуальных крестьянских хозяйствах, которые почти исчерпывали в с е трудовые затраты этих хозяйств.

Колхоз и индивидуальный крестьянин

Казалось бы, крестьянин покрупнее, — упаси Боже, не кулак, — с двумя-тремя работниками в хозяйстве, работавший сеялкой и жнейкой-самоброской и молотивший свой хлеб в большинстве случаев на не принадлежавшей ему моторной

*) Там же, стр. 97.

молотилке, был бы не слишком высоким масштабом «для наиболее механизированного сельского хозяйства в мире», но сравнение это никогда не делается, потому что оно выставило бы колхозное хозяйство в неприглядном свете.

Такой хозяин не имел бóльших затрат труда, чем колхозы даже в производстве хлеба. В большинстве же остальных культур и в особенности в животноводстве он дал бы колхозу много очков вперед. Вот его примерные затраты труда на гектар яровой пшеницы в степных районах*):

Операции	Дни
Пахота	2
Боронование, посев и заделка	1
Жнивье	0,4
Вязка снопов и укладка	1,6
Возка снопов	1,5
Молотьба	0,5
Веянье	1
Подвоз к станции	0,5
Разное	0,5
Итого	8,0

Даже если такой крестьянин получше и тратил на хлеб немного больше времени, чем подсчитано в табличке, то уж, конечно, он не имел дополнительных затрат времени на уход за рабочим скотом, администрацию и т. д., и вся его затрата на гектар яровой пшеницы была вероятно ниже затрат в колхозе.

По всем почти нехлебным культурам такой крестьянин имел большое преимущество перед колхозом, и, конечно, уж никогда 46-ти дней на корову он не затрачивал. Все его хозяйство в целом несомненно превосходило колхозы по производительности труда, притом превосходило весьма значительно.

Колхоз и подсобное хозяйство

На первый взгляд кажется высоко нецелесообразным,

*) Составлено на основании официальных данных, как то «Урочное Положение на сельскохозяйственные работы в связи с техникой полеводства», ЦСУ СССР, Москва, 1927 и «Себестоимость продуктов сельского хозяйства», ред. Н. П. Макарова, Москва, 1929.

наряду с 250.000 крупными колхозными хозяйствами, при том «оснащенными самой передовой техникой», иметь 18,8 милл. мельчайших хозяйств самих колхозников, поневоле вынужденных работать самыми примитивными способами, в значительной степени просто лопатой и лейкой. Но это только на первый взгляд. В действительности производительность труда в колхозах так низка, что не только они уступают в этом отношении хозяйству до-колхозного крестьянина посолиднее, но и колхознику не приходится очень то стыдиться перед колхозом за свое карликовое хозяйство.

Использованное выше исследование производительности труда в колхозах в 1937 г. дает также данные о размерах труда, затраченного в подсобном хозяйстве. К сожалению, отсутствуют данные о размерах этих подсобных хозяйств в обследованных колхозах и приходится пользоваться соответственными данными по областям или краям в целом. Автором этой статьи был произведен нижеследующий расчет. С начала он высчитал, сколько времени потребовалось бы для посевных площадей и поголовья, имевшихся в 1937-1938 гг. в среднем на подсобное хозяйство в Белоруссии, если бы соответствующие затраты труда были равны прямым затратам на те же культуры и роды скота в обследованных колхозах той же Белоруссии. Затем высчитанная таким образом «теоретическая затрата» была сопоставлена с фактической затратой труда на подсобное хозяйство (в 1937 г.) в обследованных колхозах Белоруссии.

В результате этого сравнения, фактическая затрата труда в обследованных подсобных хозяйствах Белоруссии оказывалась не выше прямых затрат в колхозах. При этом нужно еще иметь в виду, что труд в приусадебном хозяйстве лишь на 13% состоял из мужского труда, в то время как в работе на колхоз мужской труд составлял почти 60%*). Конечно, в подсобном хозяйстве, для себя, колхозники работали много лучше, чем на колхоз.

Согласно данным, приводимыми Стеценко**), колхозники Украины затратили в 1938 г. на свое подсобное хозяйство в среднем 74,9 рабочих дней, в том числе 93,2% женского тру-

*) Колхозы оказывают кое-какую помощь колхозникам, напри-мер, работой пастуха для пастьбы скота колхозников. Однако, в об-следованных колхозах Белоруссии в 1937 г. («Производительность и т. д.» стр. 97) такого труда показано лишь 0,2821 дней в год на колхозный двор.

**) «Соц. сельское хозяйство», 1940, Июль.

да. Если к средним посевам и поголовью колхозников Украины приложить нормы затрат прямого труда в 1937 г. в обследованных колхозах Днепропетровской, Одесской и Киевской областей (простые средние по ним), то на подсобное хозяйство среднего украинского колхозника по тем же нормам потребовалось бы 79,0 дней, из коих 62,5 дней для животноводства и 16 дней в растениеводстве*). Затраты по нормам колхозов, при том одни только прямые затраты, таким образом выше фактических и, следовательно, подсобное хозяйство по производительности труда во всяком случае не уступает самим колхозам.

Этот кажущийся на первый взгляд совершенно диким результат объясняется отчасти тем, что приусадебное хозяйство главным образом состоит из отраслей, в которых колхозное хозяйство особенно неэффективно (скотоводство); почти же весь остаток — это отрасли, в которых колхозы менее эффективны чем в производстве хлеба (картофель, овощи). Конкурентоспособность колхозов была бы гораздо больше, если бы земледелие состояло из производства одних только мелких хлебов. Однако эти хлеба, как они ни важны для питания, поглощают далеко уже не такую большую часть всего земледельческого труда, как это хотели бы внушить читателям официальные энтузиасты.

СССР и другие страны

Хозяйство колхозов, которое не может показать огромного преимущества перед приусадебными платками колхозников, конечно, не чета хозяйству передовых стран. Лозунг «догнать и перегнать» — жестокая ирония, по крайней мере поскольку дело идет о производительности труда в колхозах и во всем сельском хозяйстве Союза. До настоящей войны, чистая продукция земледелия С. Ш. А. была приблизительно на 50% выше советской. Земледельческое же население С. Ш. А. было приблизительно в 3 раза меньше; производительность на душу земледельческого населения, следовательно, была приблизительно в 4½ раза больше, чем в СССР. При том производительная способность земледелия в С. Ш. А. не использовалась полностью до войны. Фермерам даже платили, чтобы они не производили всего, что могли. Во время войны земледельческ. производство С. Ш. А. увеличилось на 25% при одновременном сокращении земледельческого населения и рабочих рук

*) По некоторым культурам данных о затрате труда в источнике нет; действительные затраты возможно даже выше принятых здесь.

в земледелии. В Союзе же земледелие и до войны производило все, на что оно было только гораздо, а во время войны производство сократилось процентов на 25 даже на территории никогда неприятелем не занимавшейся*).

Огромное превосходство С. Ш. А. над Союзом по части затрат труда в земледелии наглядно выступает при сравнении затрат труда на те же культуры или роды скота в обоих странах. Из этого сравнения**) выясняется, что в Союзе тратится в несколько раз больше труда чем в С. Ш. А. даже в растениеводстве, включая хлопок, в значительной степени производимый в С. Ш. А. отсталыми способами и негритянским трудом. Какой нибудь Богом забытый луизианский share cropper головой выше советских колхозов по производительности труда. Еще больше, чем в растениеводстве, разница в производительности труда между С. Ш. А. и Союзом в животноводстве. Затраты труда на 100 английских фунтов молока в колхозах в шесть слишком раз больше, чем в С. Ш. А. В свиноводстве затраты труда в С. Ш. А. меньше одной десятой соответственных затрат в колхозах. Действительная разница еще больше во всех случаях, так как использованные для сравнения данные по Союзу учитывали только прямой труд.

Подобное же сопоставление затрат труда в земледелии в СССР и С. Ш. А., сделано было в Союзе М. Кубаниным***). Результаты, к которым он пришел, разнятся от наших только в деталях****).

*) Подробнее об этом в статье автора "Labor Productivity in Agriculture in U. S. S. R. and U. S. A.", в "Journal of Agricultural Economics", XXVII, 1945.

**) Подробности читатель найдет в цитированной статье автора.

***) «Проблемы экономики», 1941, № 1.

****) Вот неполный список терминов, которыми Кубанина за его изыскания почтили в «Большевике» (1941 г., № 6): «жульничество», «недоросовестный трюк», «фальсификация», «махинация», «клеветнические выводы», «жульническая махинация». Поведение редактора, с оговоркой напечатавшего статью Кубанина, квалифицировано было как «двурушничество». Какая при этом неблагодарность! Тот же Кубанин и в тех же «Проблемах экономики» (1939, № 5) подсчитал, что производство (Кубанин говорил о производительности) на трудоспособного в год возросло за первые две пятилетки на 89%, хотя действительный рост, как мы видели, составил лишь 25-30%. Кубанин тогда послушно сравнивал «биологический» урожай 1937 г. с «реальным» 1927 г., игнорируя при этом тот факт, что 1937 г. был высокоурожайным, а 1927 — посредственным.

Германия — страна со сравнительно умеренной механизацией земледелия; в Союзе на такие страны поглядывают свысока. Однако, и в Германии земледельческое производство на душу земледельческого населения перед войной было не меньше как в 3½ раза выше, чем в Союзе. Земледельческая продукция была никак не меньше половины продукции Союза, при населении, занятом земледелием (13 милл. в 1939 г.), примерно в семь раз меньше советского.

Причины низкой производительности труда

Основная причина низкой производительности труда в колхозах, и следовательно, во всем советском земледелии*) — в чрезвычайной низкой его оплате. Труд колхозника оплачивается в трудоднях. В последние довоенные годы на трудодень в среднем распределяли 2-2½ килограмма хлеба и немного картофеля и грубого корма, почти исключительно соломы. В среднем колхозник зарабатывал за рабочий день несколько меньше 1½ трудодня. Во время войны за трудодень приходилось, конечно, еще меньше. Эта нищенская оплата имеет огромное отрицательное значение, является, пожалуй, основной язвой коллективизации.

Очень низкая оплата труда всегда и везде неразрывно связана с очень низкой его эффективностью. Все усилия, делаемые в Союзе, оплатой по труду колхозников добиться его эффективности неизбежно оказываются безрезультатными. Даже самые высокие премии за эффективность, выраженные в трудоднях, мало привлекательны, да к тому же еще больше обесценивают самый трудодень. Премии же натурой дезорганизуют производство, так как, хотя они и очень жалки, все бросаются на такие работы и игнорируют остальные. Каковы же главные причины низкой оплаты труда?

1. Правительство забирает значительную часть колхозной продукции по очень низким ценам, хлеб и некоторые другие

---

*) Производительность труда в совхозах значительно выше, чем в колхозах, но и она не может выдержать сравнения с средней производительностью рядовых хозяйств в С. Ш. А. или Германии. К тому же на совхозы приходится только около 10% всей продукции; более высокая производительность труда в них не может чувствительно повысить средней для Союза. Производительность труда по необходимости очень низка в подсобных хозяйствах колхозников, рабочих и пр., на которые приходится гораздо больше продукции, чем на совхозы.

продукты даже по почти номинальным ценам. Забирает при том всегда в первую голову («первая заповедь») и совершенно независимо от урожая. По хлебу в этом порядке до войны отбиралось больше трети того, что оставалось колхозу за покрытием семенной и фуражной потребности и по оплате услуг принадлежащих государству МТС; во время войны доля государства возросла еще больше.

2. Тот факт, что колхоз в первую очередь служит государству, приводит к тому, что колхозник ни колхоз, ни его добро своим не считает и считать не может. Результат — хищения и огромная затрата труда на предотвращение последних. Все продукты многократно взвешиваются и перевешиваются. Вооруженная стража в поле, стража чуть не на каждой животноводческой ферме, стража везде — сотни тысяч, может быть больше миллиона одних только стражников.

3. Механизация внедряется дальше, чем это выгодно. Это делается из политических соображений — для усиления зависимости крестьян от государства и для обеспечения огромных изъятий земледельческой продукции. Тракторы используются там, где животная сила обходится дешевле. Тракторы работают, когда лошади стоят без дела. Комбайны применяются в районах, где хлеб в редкие годы достаточно сух для этого рода уборки. Убранный сырым хлеб или сушится с большой затратой труда, или же портится при хранении.

4. Вынуждается производство колхозами таких продуктов, в которых производительность труда еще гораздо ниже, чем в других отраслях, где она достаточно низка. В среднем по 1936-39 гг. урожай неполивного хлопка, взращиваемого на 600.000 гектарах на юге Европейской России, составил меньше 100 килограммов с гектара (в волокне) *). Почти целый рабочий день затрачен был на один килограмм волокна. Волокно при том малоценное: короткое, частью захваченное морозом. В 1937 г. в Алтае собрано было 4,1 тонны сахарной свеклы с гектара, при среднем для всего Союза сборе в том же году в 18,3 тонны. Алтайская свекла обходится по крайней мере вдвое производителю, а себестоимость сахара там по крайней мере в 3 раза больше чем в настоящих сахарных районах. Неполивной хлопок на юге России и сахарная свекла в Алтае только наиболее яркие примеры растраты колхозного труда на производство малоценной продукции — малоценной именно по сравнению с затратой труда.

То, что сказано об отдельных культурах, верно также в

*) «Легкая промышленность», 1940, № 5, стр. 4.

отношении отдельных операций. Землю приказано пахать глубоко везде, где это полезно, бесполезно или даже вредно. И пашут.

5. Весьма низкий общий доход огромного большинства колхозников (пригородные в лучшем положении) обусловливает очень низкий уровень их жизни, в частности питания. Часть того малого количества энергии, которую колхозники способны развивать, они используют для гораздо более выгодной для них работы на своих приусадебных участках; для колхозных работ энергии остается совершенно недостаточно. Так причина и следствие сливаются в одно.

6. Самая дешевизна труда ведет к его растрате. Опять же причина и следствие неразделимы. Труд колхозника — самое дешевое средство производства в колхозном хозяйстве. Не колхозная земля разбазаривалась, как утверждал один весьма известный декрет, разбазаривался и разбазаривается труд колхозника. Работая целый день, можно подобрать 5 килограммов зерна в колосьях. Вряд ли в какой либо другой европейской стране, даже из самых бедных, производитель найдет такую затрату труда выгодной. В колхозах же подбирают; иногда подбирают даже повторно. Ведь трудодень стоит всего каких нибудь 2 килограмма. Комбинация «наиболее механизированного сельского хозяйства в мире» с ручным подбиранием колосьев — явление нигде не повторяемое.

Просо-культура почти везде в Союзе может давать сносный урожай лишь при ручной прополке, требующей до 15 дней на гектар. В значительной степени в виду этого несоответствия между затратой труда и результатом, культура проса давным давно отмерла в передовых европейских странах, а в остальных весьма близка к отмиранию. В больших размерах просо сохранилось лишь в Китае и Индии. В «наиболее крупном, наиболее механизированном, оснащенном передовой техникой советском земледелии» просо играет бóльшую роль, чем в большей частью архаическом земледелии царских времен. Баснословная дешевизня трудодня — опять же одна из важнейших причин этого явления (другая причина это та, что за неимением лучшей еды, люди бросаются на кашу; гречиха — самая дефицитная хлебная культура в Союзе).

Трактор, жатка-самоброска, даже лобогрейка — все это большие ценности, только на человека цена очень маленькая. На тракторе очень часто едут два человека. На жатке-самоброске, вместо одного, также часто работают 2-3 человека. Больше того. Буквально толпы колхозников высылаются в поле на всякого рода вспомогательные работы, чтобы обеспечить бесперебойную работу «механизмов». Вряд ли где

либо принцип «человек для машины» так сильно выражен как в советской деревне.

7. ***Last but not least.*** Земледелие вообще мало приспособлено к крупному хозяйству. Во всем мире семейное хозяйство является далеко преобладающей или даже исключительной его формой, за ничтожными исключениями специализированных плантаций в тропических странах с весьма отсталым населением. Новые завоевания техники лишь увеличивают оптимальные размеры семейного хозяйства; добавочные преимущества крупного хозяйства, от них проистекающие, оказываются только временными.

Колхозы — особенно слабая форма крупного хозяйства. Чтобы кое как поддерживать в ходу колхозную машину, понадобилось создать огромный аппарат от РАЙЗО (Районные Земельные Отделы) через МТС с их огромными штатами, включая вездесущие политотделы, и председателей колхозов с их штатами, до бригадиров и звеньевых. Только часть звеньевых непосредственно работает. Миллионы людей не заняты ничем иным как руководством — для получения таких ничтожных результатов, как увеличение чистой земледельческой продукции за 10 лет на 12-15%, или для достижения роста продукции на затраченный час на несколько процентов (если таковой рост и вообще то был), и все это при том, что земледелие начало получать добавочно массы продуктов производства более дорогого неземледельческого труда. В той или иной форме, а колхозник платит за содержание этого чудовищного аппарата.

От роста производительности — к уплотнению

В начале механизации казалось самоочевидным, что она должна принести с собой и огромный настоящий рост производительности труда (конечно, на час) и такой же рост производства. Всем будет вдоволь и еды, и текстиля, и сапог, — и отдыха. Энтузиазм ожиданий в отношении роста производительности труда подымался так высоко, что вставал вопрос, что сделается с теми десятками миллионов людей, которые будут освобождены из земледелия. Очень скоро выяснилось, однако, что не только ожидавшийся огромный рост земледельческого производства оказался мифом и до-коллективизационные нормы потребления начали казаться чем то неимоверно отрадным, но не оправдались вовсе и ожидания по части роста производительности труда в земледелии. Высвобождение рабочих рук из деревни в действительности отставало от роста потребности города в добавочной рабочей силе. Это делало

неизбежным все большую концентрацию на более полном использовании рабочей силы в земледелии. В особенности после того, как механизация признана была в общем законченной, уплотнение рабочего года, уплотнение каждого рабочего дня и часа все более становилось важнейшей проблемой в деревне.

Нажим, имевший целью уплотнение рабочего года, поэтому с особенной силой проявился в самые последние довоенные годы, хотя запас неиспользованных дней в году сделался очень малым. По данным И. Стеценко*), в колхозах Украины среднее количество рабочих дней на одного трудоспособного, возраставшее непрерывно вплоть до 1938 г., должно было по плану увеличиться с 201,8 дней в 1938 г. до 206,1 дней в 1939 г. Согласно Меркову**), число дней, отработанных на колхоз, возросло во всем Союзе, по данным бюджетов колхозников, с 1939 г. по 1940 г.: для мущин с 211,8 до 219,8 и для женщин с 108,0 до 123,2 дней. Тот же Меринов дает расчет, по которому в обследованных колхозах весь труд в колхозном и подсобном хозяйстве и на стороне составил в 1939 г. для мужчин 275,6 дней и для женщин 191,8 дней, из них в подсобном личном хозяйстве для мужчин всего 18,8 рабочих дней; трудоспособные женщины затрачивали на эту работу в среднем 71,8 дней. Оставались неиспользованными или затраченными на бытовые нужды, т. е. на все домашнее хозяйство и уход за детьми, по расчетам Меринова, 12,4 мужских и 95,8 женских дней. Это ему кажется очень много и он восклицает: «В полном использовании этих огромных трудовых резервов колхозной деревни заключается неисчерпаемый источник дальнейшего расцвета колхозного строя и всего народного хозяйства страны». Меринов должен однако признать, что мужской год больше не уплотнишь. Он продолжает поэтому: «Проблема более полного использования труда колхозников в значительной степени сводится к максимальному вовлечению в общественное производство женского труда». Зарится он как на часть времени, затрачиваемого женщинами в подсобном хозяйстве, так и на время, идущее на бытовые нужды. Плохо колхозное дело и дело всего советского хозяйства, если залог их расцвета в тех 96 рабочих днях, которые крестьянская женщина имела в своем распоряжении на всю тяжелую домашнюю работу и уход за детьми!

---

*) «Социалист. сельское хозяйство», 1940, Июль, стр. 34.

**) «Трудовые рессурсы колхозов», «Соц. сельск. хоз., 1941, март, стр. 17.

Стеценко*) подсчитал для Украины, что в июле 1938 г. на колхозных работах использовано было 90% всего запаса мужской рабочей силы и 73% всего женского запаса. Казалось бы, использование весьма высокое. Стеценко же делает вывод, что колхозы УССР в 1938 г. могли выделить больше миллиона человек (из общего числа трудоспособных в 7,3 милл.) для работы в промышленности. Неизбежные потери времени из-за дождей для него не существуют. Бытовые нужды женщины — буржуазный предрассудок.

Недостаток места не позволяет подробно остановиться на усилиях уплотнить также рабочий день, как за счет перерывов, так и более простым способом, путем его удлинения. Рабочие в совхозах работали 8 часов. Колхозник, по уставу, должен был работать от восхода до захода солнца. Но и этого оказалось мало. Советские авторы с восторгом рассказывали о случаях, когда работа начинается в 3-4 часа утра и кончается в 9 часов вечера**) — в том числе специально для женщин***). «Заслуживает внимания», пишет один из цитируемых авторов****), «работа на сменных лошадях, дающая возможность произвольно использовать рабоч. время колхозника и сельско-хозяйствен. инвентарь». Распоряжение обеспечить уборку простыми машинами на с м е н н ы х л о ш а д я х не менее 16 час. в день можно, действительно, найти в постановлении Партии и Правительства об уборке и заготовках в 1940 г. О сменных людях там нет ни слова.

Направление, взятое в отношении колхозной рабочей силы, получило явное отражение в постановление Партии и Правительства от 27 мая 1939 г. «О мерах охраны общественной земли колхозов от разбазаривания», установившем минимумы дней, которые каждый трудоспособный должен отработать на колхоз. Еще, пожалуй, важнее косвенный подход того же постановления к той же цели заставить колхозника работать на колхоз чуть ли не задаром. Во всем мире арендная ценность ¼ гектара неорошаемой земли очень мала. Не так, однако, в Союзе. Приусадебные участки отмерены мудро. Картошка на них выращенная обеспечивает колхозника от голодной смерти и этим держит его в деревне. Но приусадебные

---

*) В цитированной выше статье, стр. 34-35.

**) Ф. Елисеев, «Использование рабочего времени на весенних работах в колхозах», «Соц. сельск. хоз., 1941, Март, стр. 30.

***) М. Горчаков, «Использование рабочего скота на вспашке», «Соц. сельское хоз., 1941, Сентябрь, стр. 16.

****) Елисеев, там же, стр. 35.

участки не дают и возможности просуществовать без работы на колхоз. ¼ гектара меньше — и колхозник убежит. ¼ гектара больше — и принуждение работать на колхоз будет недостаточно сильно. Постановлением от 27 мая 1939 г. строго запрещено малейшее превышение разрешенных размеров земли в частном пользовании колхозников. Излишки земли, выявленные и отобранные в порядке этого постановления, составили 1.992,8000 г.*) при общем количестве таких земель в 1938 г. всего в 8,5 мил. га.

Среди косвенных мероприятий, предназначенных для уплотнения колхозного рабочего года, большое значение имел также нажим посредством распределения кормов, хотя последний и мог быть прежде всего вызван тем, что кормовые рессурсы позволяли дальнейший рост коллективизированного поголовья, главным образом за счет личного скота колхозников. Так или иначе, но скот в личном владении колхозников с 1938 г. сокращался**), а этим освобождались не только корм, но и труд для использования в колхозе и, что главное, усиливалась необходимость для колхозника работать в колхозе.

За нажимами с целью уплотнить рабочий день колхозника днями, а дни часами, остановки, таким образом, не было. Приведенный выше материал не оставляет, однако, сомнения в том, что одного только не достигается: наполнить хорошо уплотненные рабочими днями годы и хорошо уплотненные часами официальные рабочие дни сколько нибудь эффективным трудом. И в этом ахиллесова пята всей колхозной системы.

Н. Ясный

---

*) «Соц. сельское хоз.», 1940, Февраль, стр. 8.

**) Сокращение скота в личном пользовании колхозников могло легко достигаться между прочим и тем, что крестьяне, вынужденные сократить свое поголовье в плохо урожайный год, как напр. 1938, не имели возможности приобрести его в последующий хороший год иначе как от совхозов и колхозов, которые продавали лишь с разрешения государства.

РУССКОЕ НАСЕЛЕНИЕ В ПОЛЬШЕ ВО ВРЕМЯ НЕМЕЦКОЙ ОККУПАЦИИ

Я прожил в Варшаве почти все время немецкой оккупации, так как был вывезен оттуда немцами в Германию только 19 августа 1944 г., во время варшавского восстания. Но прежде чем приступить к рассказу о том, как жилось в это время русскому населению, я считаю необходимым дать краткую характеристику русских общественных организаций в Варшаве перед приходом туда немцев.

Кроме Русского Благотворительного Общества в Польше, к этому моменту в Варшаве были еще две главных русских эмигрантских организации — Русский Попечительный об Эмигрантах в Польше Комитет и Российский Общественный Комитет в Польше. Первый из них был образован в 1921 г. и до 1927 г. его председателем был П. Э. Бутенко, состоявший в то же время уполномоченным в Польше Российского Земско-Городского Комитета. После него с 1927 г. по 1936 г. председателем был Н. А. Племянников, а с 1936 г. — пишущий настоящие строки. Все мы трое принадлежали к республиканско-демократическому течению русской эмиграции, но никогда не вносили никакого политического момента в работу Комитета, в которой вместе с нами принимали деятельное участие и представители всех других политических течений и группировок. Наш Комитет находился в постоянной деловой связи не только с Земгором, но и с организациями Лиги Наций по беженским делам и их делегациями в Варшаве, и в 1931 г. был избран в состав Совещательного Комитета организаций при Офисе Нансена в Женеве. Но часть монархически настроенных русских эмигрантов в Польше стремилась захватить исключительно в свои руки руководство жизнью русской эмиграции в Польше и с этой целью в 1930 г. образовала Российский Общественный Комитет в Польше. Душой этой организации был варшавский корреспондент «Возрождения» С. Л. Войцеховский и это наложило отпечаток на всю деятельность Комитета — он сразу же сделался проводником и глашатаем взглядов и политики «Возрождения». В частности это сказалось в отношении Комитета к вопросу о допу-

стимости и желательности иностранной интервенции в России с целью свержения советской власти; в этом отношении варшавский Комитет пошел дальше «Возрождения». Вскоре после своего образования, в своем официальном печатном листке, он в передовой статье высказался за такую интервенцию, добавив, что «в этом вопросе мы идем даже далее и охотно готовы признать, что свержение советской власти может быть куплено ценой территориальных жертв и не на востоке только». А председатель Комитета ген. П. Н. Симанский (скончавшийся в 1938 г.) тогда же, разбирая в своей статье, помещенной в виленской русской газете «Русское Слово», вопрос о возможной войне между Россией и Японией, закончил свою статью словами: «при правильном понимании русских национальных интересов в случае войны России с Японией русские эмигранты должны стать на сторону Японии». Должен оговориться: такие взгляды, к счастью, не встречали большого сочувствия среди варшавской русской колонии. Я печатно возражал ген. Симанскому в том же «Русском Слове» и выступил потом в «Русском Доме» в Варшаве с докладом на эту же тему. Во время прений по докладу выяснилось, что позиция Российского Общественного Комитета встречает очень мало сочувствия среди самых различных кругов русской колонии в Варшаве; а самое приятное было то, что после этого моего доклада представители русской молодежи попросили меня повторить этот доклад в их кружке; представители молодежи приняли там очень живое участие в обсуждении вопроса, при чем на позиции Российского Общественного Комитета оказалось только одно лицо. Вот этот то Российский Общественный Комитет после прихода немцев в Варшаву и стал источником и центром германофильских настроений среди варшавской русской колонии.

Немецкие войска вступили в Варшаву после капитуляции ее 1-го октября 1939 г. и в тот же день — «через четверть часа после этого вступления», как с наивной гордостью публично заявил потом один из членов правления Российского Комитета — организованная этим Комитетом делегация явилась к командовавшему немецкими войсками генералу с приветствием, якобы от имени всего русского населения Варшавы. Делегация эта состояла из трех членов правления Российского Общественного Комитета и трех русских, имевших польское гражданство и изображавших из себя представителей русского меньшинства в Польше; среди последних был и один варшавский православный священник. Делегация была совершенно самозванной и ее выступление было совершено

не только без какого бы то ни было полномочия со стороны варшавской русской колонии и ея организаций, но даже без всякого ведома колонии, которая узнала обо всем этом уже только после посещения немецкого генерала этой делегацией. Этот поступок Российского Общественного Комитета произвел отрицательное и чрезвычайно тягостное впечатление на большинство русского населения Варшавы, но, разумеется, ни о каком открытом протесте тогда не могло быть и речи.

После такого своего шага Российский Общественный Комитет, тщетно старавшийся раньше при поляках подчинить себе все русские эмигрантские организации в Польше, достиг этого теперь при немцах. Член правления этого Комитета С. Л. Войцеховский был назначен немцами начальником образованного ими русского Vertrauenstelle и всем русским организациям было предложено немецкими властями войти в подчинение этому Vertrauenstelle. При таком положении вещей почти все русские эмигрантские организации в Польше и даже организация русского меньшинства в Польше — Русское Благотворительное Общество (немецкие власти не делали никакого различия между русскими эмигрантами и русским меньшинством в Польше) вынуждены были принять теперь предложение Российского Общественного Комитета объединиться в своей деятельности с ним; а этот Комитет занял совершенно определенную германофильскую позицию и поддерживал самые дружественные отношения с немецкими властями. Не принял такого предложения только Русский Попечительный об Эмигрантах в Польше Комитет, который с приходом в Варшаву немцев предпочел совсем прекратить свою деятельность.

В июле 1940 г. немецкими властями был издан декрет о ликвидации всех организаций, существовавших в Польше до прихода туда немцев, в том числе и русских (а также и украинских). В то же время русское Vertrauenstelle было переименовано в Русский Комитет, председателем которого был немецкими властями назначен тот же С. Л. Войцеховский; кроме того немецкие власти назначили четырех лиц членами правления этого Комитета; почти все эти лица раньше не принимали никакого сколько нибудь видного участия в работе русских общественных организаций. Так же было поступлено и с украинскими организациями; кроме того немцами были созданы Белорусский и Кавказский Комитеты. Председатели и члены правлений этих Комитетов тоже были назначены немецкими властями.

С образованием такого Русского Комитета все русские

в Польше должны были обращаться к немецким властям только при посредстве этого Комитета; в этом мне пришлось убедиться лично. Единственно только Русский Комитет С. Л. Войцеховского был признан немецкими властями компетентным выдавать удостоверения о русском происхождении и только такие удостоверения признавались для русских имевшими силу доказательства личности, а все, выданные им раньше польскими властями документы, считались уже потерявшими силу. Я долгое время избегал какого бы то ни было сношения с этим немецким Русским Комитетом, но в конце концов пришлось и мне получить от него удостоверение о моем русском происхождении. В октябре 1942 года мои друзья (русские), жившие в Саксонии, исхлопотали от местного ландрата разрешение на мое посещение их. С этим разрешением я обратился в немецкую полицию в Варшаве за пропуском на поездку в Германию. Мне было сказано, что я могу получить такой пропуск, но только при условии представления мною удостоверения Русского Комитета С. Л. Войцеховского о моем русском происхождении. Напрасно я предъявлял имевшийся у меня нансеновский паспорт, выданный мне польскими властями, из которого было видно, что я — русский беженец; этот паспорт был уже трижды визирован немецкими властями — все русские эмигранты три раза должны были являться на регистрацию в различные немецкие учреждения, в том числе и в Гестапо; но немецкий чиновник даже не захотел и посмотреть на этот документ, заявив, что он уже не имеет значения. Пришлось получить от Русского Комитета удостоверение о моем русском происхождении и тогда пропуск на поездку в Германию сейчас же был мне выдан. В 1943 г. немецкие власти издали постановление об обязательном получении всеми жителями Генеральной Губернии (так официально называлась та часть Польши, которая не была немцами присоединена к Германии) т. н. «кеннкарт», которые с тех пор считались единственным документом личности. Полякам такие карты выдавались серого цвета, а русским, украинцам и белоруссам — голубого с соответствующими заглавными буквами (для русских — R немецкое). Так вот все русские обязаны были для получения такой карты непременно представить удостоверение немецкого Русского Комитета о своем русском происхождении.

В страстную пятницу 1940 г. помещение «Русского Дома» в Варшаве на Маршалковской ул. № 68 и помещение Русского Благотворительного Общества на Беднарской ул. № 23 совершенно неожиданно были опечатаны Гестапо. «Рус-

ский Дом» в это время имел характер русского общественного собрания — клуба: там была библиотека, ресторан, а по вечерам игра в карты, шахматы и т. п. Представители «Русского Дома» сейчас же отправились в Гестапо за выяснением происшедшего и там узнали следующее. Оказалось, что оба эти помещения опечатаны потому, что де они являлись помещениями враждебных немцам русских демократических организаций. Для пояснения нужно сказать, что помещение на Маршалковской ул. № 68 с 1921 г. являлось помещением Русского Попечительного Комитета, который однако в 1936 г. вследствие отсутствия средств для содержания этого помещения передал его «Русскому Дому», оставив за собой только одну комнату; в помещении же Русского Благотворительного Общества на Беднарской ул. № 23 кроме этого Общества помещалось еще и Русское Общество Взаимного Кредита «Кредрусс». Председателем этого «Кредрусса» состоял П. Э. Бутенко, а Председателем Русского Попечительного Комитета — пишущий эти строки. Так как оба мы принадлежали к республиканско-демократическим течениям русской эмиграции, то, очевидно, кто то и донес немцам о таких «демократических» организациях. Представителям «Русского Дома» не трудно было выяснить Гестапо настоящий характер «Русского Дома» и доказать, что Русский Попечительный Комитет с приходом немцев прекратил всякую деятельность, а «Кредрусс» является чисто коммерческим обществом взаимного кредита, не имеющим решительно никакого политического характера. Нелепость доноса была так очевидна, что Гестапо после таких разъяснений распорядилось об отмене опечатания помещений обеих русских организаций, но пожелало ознакомиться ближе с существовавшими тогда русскими организациями и пригласило в помещение Гестапо на совещание представителей всех этих организаций. Так как Гестапо убедилось, что Русский Попечительный Комитет прекратил свою деятельность, то он и не был представлен на этом совещании. На совещании присутствовал и начальник учрежденного немцами русского Vertrauenstelle С. Л. Войцеховский. Выслушав сообщения представителей русских организаций о характере и предмете их работы, представитель Гестапо заявил, что все эти организации обязаны подчиниться русскому Vertrauenstelle. Возражать было невозможно и П. Э. Бутенко сложил с себя обязанности Председателя «Кредрусса»; последовал его примеру и пишущий эти строки, бывший председателем наблюдательного совета «Кредрусса».

При поляках в Польше не было русских воинских орга-

низаций (кроме Союза русских военных инвалидов, правление которого находилось в Вильно), так как польское правительство не разрешало ни образования в Польше отдела Русского Обще-Воинского Союза, ни самостоятельного Воинского Союза. Теперь же, с приходом немцев, такой Союз был образован, как отдел Берлинского Русского Воинского Союза, во главе которого находился ген. Лампе. Этот варшавский Воинский Союз сразу же стал центром германофильских настроений и это о нем писали потом в «Парижский Вестник» ехавшие из Парижа в немецкую армию русские добровольцы: «Колония русская в Варшаве качеством выше берлинской. Здесь хорошее офицерское собрание, где атмосфера отличная. Уже при входе портрет Гитлера указывает на их разумное направление. Все здесь отлично понимают, что главная наша задача — это сотрудничество с Германией; это большое для нас утешение».

В 1940 и 1941 годах я состоял библиотекарем «Русского Дома» в Варшаве; библиотека эта была самой большой русской библиотекой в Польше и насчитывала до 10 тысяч томов. Поэтому мне приходилось в эти годы ежедневно встречаться и разговаривать с очень большим количеством русских людей. Конечно, очень трудно определить число «германофилов» среди русской варшавской колонии и процентное отношение их к общей численности этой колонии; могу только сказать на основании своих наблюдений, что они являлись меньшинством. Но они одни только могли проявлять себя открыто и поэтому у посторонних наблюдателей, особенно среди польского населения, могло создаться ошибочное представление об их многочисленности. К этому нужно еще добавить, что наши «германофилы» вели себя в Варшаве очень бестактно. Русский Комитет С. Л. Войцеховского учредил особые значки для русских, ношение которых, однако, этот Комитет не делал обязательным. Но все «германофилы» сейчас же обзавелись такими значками и носили их даже на верхнем платье. Значки эти имели монархический характер: на трехцветный русский национальный флажок был наложен черный двуглавый орел на желтом щите, т. е. императорский штандарт. Ношение таких значков только подчеркивало желание отделиться от польского населения, что, несомненно, болезненно воспринималось этим последним. Помещение клуба русского Воинского Союза в Варшаве сначала посещали и некоторые поляки; но затем немецкие офицеры, тоже приходившие туда, потребовали, чтобы полякам вход туда был воспрещен, что правлением Союза сейчас же и было исполнено. А некоторые

«германофилы» дошли даже до того, что устроили в одном из ресторанов встречу Нового Года совместно с чинами Гестапо, на глазах поляков. На одном публичном собрании Российского Общественного Комитета было сделано резкое выступление со стороны одного из самых влиятельных членов правления этого Комитета против поляков и польского государства, при чем оратор позволил себе выступать якобы от имени всей русской колонии в Польше. Оставить без протеста такое самозванное выступление было невозможно. У меня еще при польских властях установились добрые отношения с представителями Главного Правления Польского Красного Креста, которому в то время после ликвидации в Польше Делегации женевского Нансеновского Офиса были поручены некоторые из функций этой Делегации. Продолжал я посещать этих представителей и при немцах, когда Польский Красный Крест был единственным уцелевшим польским учреждением. Я воспользовался этими своими отношениями, чтобы протестовать перед Польским Красным Крестом, как представителем польской государственности и польской общественности, против такого самозванного выступления Российского Общественного Комитета, прося не делать всю русскую колонию в Польше ответственной за такое выступление и подчеркнул, что в данном случае я выступаю не лично только, а и как бывший председатель ликвидированного немцами Русского Попечительного Комитета. Мой протест был принят и мои польские собеседники заверили меня, что они хорошо знают, что варшавские «германофилы» не характеризуют собой всего русского населения Польши и что за выступления и поведение их нельзя делать ответственным всех русских.

Но, разумеется, широкие массы польского населения не делали такой разницы и свое возмущение поступками и поведением русских «германофилов» переносили на всех русских вообще. «Вот подождите» — не раз слышал я — «уйдут немцы, так деревьев не хватит, чтобы вешать вас, русских».

Во время немецкой оккупации русскому населению Польши в материальном отношении жилось так же тяжело, как и коренному польскому населению; никакими привиллегиями в этом отношении русские не пользовались. Карточки на нормированные продукты русские получали такие же, как и польское население; только небольшое число сотрудников Русского Комитета С. Л. Войцеховского и наиболее близких к этому Комитету лиц получали дополнительный паек. Но тем преследованиям, арестам и ссылкам, которые в таком ужа-

сающем размере выпали на долю польского населеняя, русские (и украинцы) не подвергались. В Варшаве очень часто устраивались немцами на улицах города дикие облавы на людей, как на собак; обыкновенно целые кварталы неожиданно окружались немецкими войсками и полицией и все, попавшие в такую западню, арестовывались и сейчас же увозились в Германию на работы. Но если при проверке документов у таких захваченных оказывалось, что данное лицо является не поляком, а русским (или украинцем), то их обыкновенно освобождали и в Германию не вывозили.

Были среди русского населения и погибшие в концентрационных лагерях и расстрелянные в Варшаве, но это были единичные факты. Так весной 1940 г. были арестованы и потом высланы в Германию в концентрационные лагеря б. секретарь Св. Синода православной церкви в Польше Ю. Г. Рощицкий и б. личный секретарь митрополита Дионисия С. П. Юденко; оба они погибли в концентрационных лагерях. Точная причина этих арестов осталась невыясненной; говорили тогда, что немцы обвиняли их в содействии попытке устраненного немцами митрополита Дионисия вернуться к управлению делами церкви. Спустя полгода после этого немцы сами вернули митрополита Дионисия, но С. П. Юденко умер еще раньше этого, а Ю. Г. Рощицкий к этому времени находился уже в таком состоянии здоровья, что митрополит Дионисий не успел добиться возвращения его из лагеря и он скончался там спустя три недели после возвращения митрополита Дионисия в Варшаву.

Когда в 1943 г. усилились убийства немцев в Варшаве польскими тайными организациями, немцы ответили на это расстрелами заложников. Не проходило недели, чтобы не было расстреляно 100-200 человек; расстрелы эти производились публично на улицах и площадях города. Обыкновенно вывешивались большие списки заложников, при чем указывалось, что все это «агенты англо-американской плутократии и коммунистического большевизма», которые приговорены к расстрелу, но будут помилованы, если в течение трех месяцев не будет ни одного покушения на немцев. Так как такие покушения не прекращались, то через несколько дней публиковался этот же список, но с указанием, что все эти лица публично расстреляны; затем публиковался новый список заложников и т. д. Разумеется, все эти заявления, что эти лица были какими то «агентами» и были за это судимы, являлись сплошной ложью; немцы просто помещали в списки лиц, находившихся в данный момент в тюрьме, а иногда и

лиц, только что захваченных при очередной облаве на улицах города; в эти же облавы попадали совершенно мирные случайные прохожие; производились эти облавы с целью набрать людей на работы в Германии.

В число таких «агентов» попали и некоторые русские, в том числе б. редактор газет «Наше Время» и «Русское Слово» Ф. А. Котляревский и его брат. На квартире Ф. А. Котляревского был арестован его родственник — поляк, у которого были найдены нелегальные польские издания. Этого было достаточно, чтобы все жившие в этой квартире лица были арестованы, а на другой день Ф. А. Котляревский и его родственник-поляк попали в число «агентов», подлежащих расстрелу. Все усилия председателя Русского Комитета С. Л. Войцеховского спасти Ф. А. Котляревского не имели успеха и через несколько дней мы прочли фамилию Ф. А. Котляревского еще раз — в списке расстрелянных. Брат же его погиб по собственной неосторожности: в момент ареста всех живших в этой квартире он не был дома; чины Гестапо заперли пустую квартиру и взяли с собою ключи. На другой день, узнав об этих арестах, Е. А. Котляревский, не смотря на предостережения друзей, имел неосторожность отправиться в Гестапо за ключами от квартиры. Оттуда он уже не вернулся, а через несколько дней и он фигурировал в списке расстрелянных «агентов». Оба брата Котляревских были хорошо известны в нашей варшавской русской колонии и, конечно, не были никакими «агентами» и не принимали никакого участия в деятельности польских антинемецких организаций.

Была еще одна жертва, если не среди русского населения, то среди православных — профессор богословского православного факультета варшавского университета, архимандрит Григорий Перадзе — грузин по национальности. Это был скромный и очень добрый человек, весь погруженный в науку; при немцах он находился в большой нужде, так как университет был немцами закрыт. С большим удивлением узнали мы в 1943 г., что он арестован немцами; точная причина этого ареста так и осталась невыясненной; передавали, что причиной было то, что он оказал помощь деньгами и бельем одному несчастному русскому военнопленному, бежавшему из плена (за такую помощь пленным немцы обыкновенно расстреливали). После нескольких месяцев заключения в варшавской тюрьме архим. Григорий Перадзе был выслан в один из концентрационных лагерей, где вскоре и погиб.

Отношение варшавской русской колонии к объявлению

Гитлером войны России было такое же, как и в других местах русского рассеяния. Лишь часть русских наивно поверила, что Гитлер идет спасать Россию от коммунистической власти и решила, что их долг поэтому быть с немцами. Особенно такое настроение было в среде варшавского воинского союза, некоторые из членов которого даже подали заявление о своей готовности принять личное участие в вооруженной борьбе с «коммунистической властью»; однако немцы этим предложением не воспользовались. Они только завербовали ряд молодых людей в качестве переводчиков и отправили их на фронт к разным немецким частям.

Действительность вскоре разбила эти наивные мечты варшавских «германофилов»; они начали прозревать и число немецких сторонников среди варшавской русской колонии начало быстро уменьшаться, даже среди членов воинского союза. Любопытно и приятно было наблюдать при встречах с такими бывшими «германофилами», как настоящее патриотическое чувство брало у них верх и они начинали радоваться и гордиться победами русской армии. Многие из переводчиков, побывав в России, начали возвращаться в Варшаву совершенно излеченными от своих прежних германофильских настроений и принимали всяческие меры, чтобы больше этой деятельностью не заниматься.

Такая перемена настроений среди варшавских «германофилов», очевидно, не ускользнула от немецких властей и они в конце 1943 г. закрыли бывший центр этих германофилов — варшавский воинский союз.

В середине июля 1944 г., когда немцы начали подготовлять эвакуацию Варшавы, Русский Комитет С. Л. Войцеховского также приступил к эвакуации русских из Варшавы в Германию. Но тогда этим воспользовалось только меньшинство русского населения Варшавы: в Комитете было зарегистрировано около 10 тысяч русских (после занятия восточных провинций Польши советскими войсками в сентябре 1939 г. в Варшаву бежало оттуда очень много русских и число русских в Варшаве очень возросло), но выехало из Варшавы при этой эвакуации не более 2-3 тысяч человек. Большинство русских решили оставаться в Варшаве при всяких обстоятельствах; но все они потом вынуждены были покинуть Варшаву во время и после варшавского восстания, когда все население города было вывезено немцами. Большинство этого населения было вывезено немцами в Германию на работы, при чем очень многим пришлось попасть и в концентрационные лагеря. Среди них было много и русских, так

как немцы уже не делали теперь никакой разницы между русскими и поляками. Так, пришлось побывать в концентрационном лагере в Маутгаузене (возле Линца на Дунае) и мне; со мной там было около 40 человек русских, в том числе и бывший варшавский корреспондент «Руля» и «Сегодня», известный варшавский русский книжный торговец и издатель С. М. Кельнич. Мы были вывезены из Варшавы еще в начале восстания — 23 августа 1944 г. и, к счастью, всего одну неделю оставались в концентрационном лагере и были затем оттуда отправлены в Линц уже в обыкновенный лагерь Арбейтсамта, высылавшего нас на работу на разные фабрики. Но тем русским, которые оказались в занятых повстанцами районах Варшавы и были вывезены из нее немцами уже после окончания восстания, пришлось просидеть в концентрационных лагерях около полугода, несмотря на то, что они решительно не принимали никакого участия в восстании.

Во время 2-х месячного восстания в Варшаве погибло из гражданского населения около 200 тысяч человек; среди погибших были и русские. Скончался от разрыва сердца в тот момент, когда немцы начали поджигать дом, в котором он жил (по приказу Гитлера немцы сожгли в Варшаве решительно все дома), Н. А. Племянников, один из старейших и самых уважаемых членов варшавской русской колонии, бывший многолетний председатель Русского Попечительного об эмигрантах в Польше Комитета и Русского Благотворительного Общества в Польше. Погиб ряд лиц, в течение многих лет принимавших самое деятельное участие в работе русских организаций: Е. Г. Гловацкая, супруги П. Н. и Н. Н. Беляевы, Ю. А. Липеровский. Большие потери понесло и православное духовенство Варшавы. Православная церковь на ул. Подвале в центре Варшавы была разрушена при воздушной бомбардировке города немцами в первые дни восстания, при чем погиб со всей своей семьей протоиерей Георгий Лотоцкий. Ужасная трагедия постигла притч церкви на Вольском православном кладбище в Варшаве. В этом районе города никаких боев не было, но, спасаясь от обстрела города, настоятель церкви архимандрит Феофан (Протасевич), его помощник протоиерей Антоний Калишевич и ряд других лиц, в том числе 70-летняя вдова протопресвитера Терентия Теодоровича (погибшего от аэропланной бомбы при осаде Варшавы 25 сентября 1939 г.), с дочерью — художницей Е. Т. Теодорович-Карпович, — собрались в нижнем (подвальном) храме кладбища. Само кладбище в это время было переполнено жителями соседних домов — поляками. Кто-то из них убил не-

мецкого жандарма; тогда отряд немецких жандармов ворвался в нижнюю церковь, вывел оттуда всех находившихся там и всех их тут же расстрелял, в том числе и 6-летнего племянника о. Феофана. Все были убиты сразу, кроме архимандр. Феофана, который был только тяжело ранен. Несколько дней после этого он находился в своей квартире, но, когда немцы подожгли и этот дом, его уже умиравшего вынесли в сад при доме, где он и скончался.

Предместье Варшавы, Прага, в первое время восстания еще находилось в руках немцев; там в помещении интерната для студентов православного богословского факультета варшавского университета (возле православного митрополичьего собора) скопилось много русских и украинских беженцев; оставались там и несколько молодых семинаристов (там в последнее время была организована православная семинария). В первые дни восстания кто-то выстрелил из этого здания, или, быть может, это только показалось немцам; но этого было достаточно, чтобы немцы ворвались в здание интерната, вывели оттуда всех мужчин и, отобрав из них 18 более молодых, всех их тут же расстреляли. В числе расстрелянных было несколько мальчиков-семинаристов, а также совершенно случайно зашедший в это время в интернат церковный староста собора Панов.

Хотя православная церковь в Польше не была только русской — среди членов ее были и лица других народностей — украинцы, белоруссы, чехи, поляки, но картина жизни русского населения Польши во время немецкой оккупации была бы неполной, если не коснуться и положения в это время православной церкви.

Сейчас же по приходе немцев в Варшаву православной церкви в Польше пришлось пережить тяжелые потрясения; причиной их были — тяжело это писать — действия некоторых русских кругов, получивших влияние у немцев, открывших кампанию против митрополита Дионисия и не остановившихся даже перед тем, чтобы обвинить его перед немецкими властями в полонофильстве. Немцы поверили этому доносу и принудили митрополита Дионисия передать управление церковью приехавшему из Берлина архиепископу Серафиму (Ляде — немцу по национальности); было это в ноябре 1939 г.

С этим не могли примириться украинцы, так как архиепископ Серафим занял непримиримую по отношению к ним позицию. Украинцы, гораздо лучше организованные, чем русские и пользовавшиеся у немцев гораздо большим влия-

нием, стали действовать в Кракове у генерал-губернатора Франка. Когда почва там была подготовлена, они вступили в переговоры с митрополитом Дионисием; результатом всего этого было то, что в сентябре 1940 г. Франк принял в Кракове митрополита Дионисия и украинскую делегацию и восстановил митрополита Дионисия в управлении церковью. Помогло этому еще то, что к этому времени немцы уже убедились в ложности доноса на митрополита Дионисия: они нашли в архиве польского министерства исповеданий копию секретного доклада правительству директора департамента исповеданий, в котором тот всю неудачу полонизации православной церкви в Польше приписывал, главным образом, «саботажу» со стороны митрополита Дионисия: по словам доклада он на словах соглашался с предложениями правительства в этом вопросе, на деле же делал все, чтобы помешать их осуществлению.

Но теперь, получив только при содействии украинцев возможность снова вступить в управление церковью, митрополит Дионисий вынужден был в своей речи Франку заявить, что «подавляющее большинство православного населения Польши является по своей национальности украинским и что поэтому благо церкви требует разделения ее на три епархии: украинскую Холмско-Подляшскую, украинскую Краковско-Лемковскую и украинско-русскую Варшавскую» и согласиться на хиротонию на Холмско-Подляшскую кафедру известного украинского политического деятеля проф. И. И. Огиенко; спустя некоторое время последний, принявший при пострижении имя Иллариона, по требованию украинцев был возведен в сан митрополита. На другую украинскую кафедру был хиротонисан другой украинец — архимандрит Палладий (Выбида-Руденко), сейчас же возведенный в сан архиепископа. Таким образом управление православной церковью в Польше перешло в руки украинцев: в Св. Синоде, в состав которого входил и митрополит Дионисий и два украинца — архиепископы Илларион и Палладий, они имели большинство; это сказывалось во всем. Ярким примером этого явилось то, что митрополит Дионисий, несмотря на полную поддержку в этом отношении немецких властей, никак не мог добиться согласия Св. Синода на хиротонию архимандрита Феофана (Протасевича) на кафедру викарного епископа варшавской епархии только потому, что он считался русским, а не украинцем.

Украинцы потребовали, чтобы им были переданы для богослужения на украинском языке не только митрополичий собор на Праге с обоими храмами его — верхним и нижним,

но и церковь на ул. Подвале, утверждая, что русских в Варшаве так мало, что им достаточно для богослужения на церковно-славянском языке третьей церкви на Вольском православном кладбище. Митрополиту Дионисию стоило больших усилий убедить немецкие власти, что для украинцев достаточно одного верхнего храма собора на Праге и что в остальных храмах — нижнем собора на Праге, церкви на ул. Подвале и церкви на Вольском кладбище, богослужение должно по прежнему совершаться на церковно-славянском языке.

Действительность скоро показала всю неосновательность требований украинцев. Предоставленный им храм посещался мало; внизу же где служили на церковно-славянском языке, всегда было полно. В этой нижней церкви почти всегда совершал богослужение сам митрополит Дионисий; в верхнем соборе он служил (на украинском языке) чрезвычайно редко.

Сейчас же после своего прихода в Варшаву немцы запретили колокольный звон в костелах, а затем и вывезли колокола; эта же мера была применена ими и к православным храмам Варшавы.

Во время эвакуации Варшавы в июле 1944 г. из нее выехало только высшее духовенство — митрополит Дионисий и архиепископ Палладий; все же приходское духовенство осталось в городе. После восстания уцелевшее православное духовенство Варшавы было вывезено немцами в западную часть Польши. Долгое время была неизвестна участь настоятеля митрополичьего собора на Праге, протопресвитера Иоанна Коваленко, который решил ни при каких обстоятельствах не покидать своего храма; ходили слухи, что он убит. К счастью, эти слухи не оправдались. Уже будучи в Париже, я от одного знакомого русского, побывавшего в Варшаве перед своим выездом из Польши во Францию в августе 1945 года, узнал что о. Коваленко жив и по прежнему продолжает быть настоятелем собора на Праге. Митрополит Дионисий возвратился в Варшаву и совершает богослужения в этом соборе, но от управления церковью его польские власти, как говорили тогда моему собеседнику его знакомые, устранили. Конечно, с уходом из Варшавы немцев ушло и украинское господство в церкви: богослужения в соборе на Праге стали снова совершаться на церковно-славянском языке.

Подавляющее большинство русского (и украинского) населения Польши жило на восточных ее окраинах, т. н. восточных кресах. Эта часть Польши в сентябре 1939 г. совершенно неожиданно для населения ее была занята советскими войска-

ми, а с июля-августа 1941 г. была занята немцами и эта немецкая оккупация продолжалась там около 3 лет. Того, как жилось там за это время русскому населению, мне лично наблюдать не пришлось, но я слышал потом рассказы живших там в это время моих друзей и знакомых. Судя по этим рассказам, жилось там во время немецкой оккупации русскому населению в общем так же, как и в Варшаве. Новым было то, что немцы во многом сохранили те изменения, которые внесли в хозяйственную жизнь советские власти; так, напр., помещичьи имения не были возвращены, за редкими исключениями, собственникам, а взяты в казенное немецкое управление; крестьянское население так же, как и при советских властях, было обложено высоким продовольственным налогом в натуре и т. п.

Большие потрясения пришлось пережить в то время православной церкви в этих б. восточных провинциях Польши. С приходом туда советских войск все иерархи этой части православной церкви перешли в каноническое подчинение московской патриархии, причем архиепископ Волынский Алексей (Громадский) был возведен в сан митрополита и назначен экзархом московской патриархии. После прихода сюда немцев эта часть православной церкви управлялась собором епископов, собиравшимся в Почаевской Лавре под председательством митрополита Алексея. Этот собор епископов, после продвижения немецких войск дальше на восток, посвятил ряд новых епископов и послал их на епископские кафедры в Киев, Житомир, Виницу, Чернигов, Екатеринослав. Но так же, как и в Варшаве, с приходом немцев подняли голову и украинцы. Проживавший в Луцке викарный епископ Волынской епархии, украинец Поликарп (Сикорский) объявил себя «администратором автокефальной украинской церкви» в сане митрополита и вместе с архиепископом Пинским Александром (Иноземцевым), великороссом по национальности, но примкнувшим к этой «автокефальной украинской церкви» и тоже принявшим сан митрополита, посвятил целый ряд новых епископов-украинцев; в числе этих новопосвященных епископов был и известный на Волыни своими антирусскими выступлениями б. украинский депутат польского сейма Скрипник, принадлежавший к тем украинцам, которые были ставленниками польского т. н. Беспартийного Блока совместной работы с правительством. Этот епископ Скрипник, принявший при пострижении в монашество имя Максима, сделался одним из главных деятелей «автокефальной украинской церкви».

Эта церковь тоже послала в Киев и все другие города, занятые немцами, своих епископов-украинцев, так что всюду оказалось по два епископа. Но, по общим отзывам, эти украинцы-епископы популярностью среди местного населения не пользовались и большинство верующих принадлежало к пастве присланных из Почаева епископов, совершавших богослужение на церковно-славянском языке.

Все попытки, предпринятые митрополитом Алексеем к устранению этого разделения и к объединению, не увенчались успехом. Сам митрополит Алексей погиб летом 1943 г. При проезде из Дубна в Кремнец на его автомобиль было сделано нападение и митрополит и все спутники его были убиты. Убийцы обнаружены не были.

А. П. Вельмин

КАНУНЪ РЕВОЛЮЦІИ *)

Извѣстно, что б л и ж а й ш и м ъ п о в о д о м ъ къ возстанію въ Петербургѣ былъ продовольственный кризисъ; въ булочныхъ не хватало хлѣба и потому народъ вышелъ на улицу. Потомъ было установлено, что недостатка въ мукѣ не было вовсе, но что подъ вліяніемъ слуховъ, которымъ всѣ тогда вѣрили, началась паника среди хозяекъ, которыя торопились дѣлать запасы для кухни, раскупали и прятали продо-

---

*) Происхожденіе этого отрывка таково. Б. Персъ просилъ меня написать для «Slavonic Review» рецензію на его книгу «The Fall of Russian Monarchy». Это я и исполнилъ. На стр. 440 этой книги авторъ разсказывалъ, будто наканунѣ Революціи, 24 Февра- ля, «Кабинетъ Министровъ рѣшилъ въ продовольственномъ дѣлѣ добиться сотрудничества съ Думой; двое изъ его членовъ, которые Думѣ могли внушать уваженіе, Покровскій и Риттихъ, поѣхали въ Думу и имѣли разговоръ съ В. Маклаковымъ и другими. Предста-вители Думы имъ объяснили, что они не могутъ поддерживать кабинетъ, члены котораго не были бы отвѣтственны передъ его предсѣдателемъ за единство политики и этотъ отвѣтъ былъ доло- женъ Кабинету Министровъ».

Такъ пишетъ Персъ; этотъ разсказъ совершенно неточенъ. Онъ повидимому имѣетъ въ виду эпизодъ, дѣйствительно имѣвшій мѣсто, но нигдѣ въ печати не изложенный, хотя его отчасти каса-лись и «Воспоминанія» Палеолога, и особенно «Дни» Шульгина. Я думалъ воспользоваться рецензіей на книгу Перса, гдѣ на него есть н а м е к ъ, чтобы спасти этотъ эпизодъ отъ забвенія. Б. Персъ однако нашелъ и, конечно, былъ правъ, что этому раз-сказу не мѣсто въ рецензіи на его книгу. Онъ предложилъ мнѣ его напечатать отдѣльно; но я не хотѣлъ впервые спеціально о немъ говорить въ и н о с т р а н н о м ъ журналѣ и потому отдалъ его «Современнымъ Запискамъ». Это было въ августѣ 39 года и война помѣшала его помѣстить. Копію его я случайно нашелъ. Не хочу его передѣлывать и отдаю безъ исправленій, какъ историческій матеріалъ, въ «Новый Журналъ».

Мнѣ приходилось для иностранной публики начать нѣсколько издали.

В. М.

вольствіе и создали видимость голода. Все это было искусственно. Но в ъ с т р а н ѣ продовольственный кризисъ все-таки былъ. Опытные люди, которые умѣли опредѣлять урожай по количеству хлѣбныхъ баржъ проходившихъ по Волгѣ, съ тревогой давно стали указывать, что подвозъ хлѣба остановился. Они предсказывали его недостаток и для столицъ и для фронта. На внутреннее прокормленіе шелъ хлѣбъ только изъ помѣщичьих хозяйствъ, крестьяне с в о е г о продавать не хотѣли и на базаръ не везли. Причины этого явленія были очень различны, изъ которыхъ главныя съ политикой ничего общаго не имѣли. Крестьянинъ меньше нуждался, сталъ лучше питаться; водка была запрещена, кабаки закрыты, деньги все становились дешевле, и крестьянину не было надобности торопиться свой хлѣбъ продавать. А главное, подъ прямымъ вліяніемъ нашей общественности, правительство приняло мѣру, отъ которой зло только росло. Это было не злымъ умысломъ съ его стороны, а неумѣлостью. Оно покупало хлѣбъ и одновременно, чтобы вести борьбу противъ спекуляціи, прибѣгло къ простѣйшему средству — н а з н а ч е н і ю т в е р д ы х ъ ц ѣ н ъ. Эта обоюдоострая мѣра была принята очень неловко; одинаковыя твердыя цѣны были установлены для всѣхъ м ѣ с т ъ, г д ѣ хлѣбъ п р и н и м а л с я, т. е. на станціи или на пристани. Не принимались въ разсчетъ расходы по привозу на эти мѣста, что создавало яркое неравенство между сдатчиками. Случилось то, что въ такихъ случаяхъ постоянно бываетъ: хлѣбъ съ рынка исчезъ. Узнавая про цѣну, крестьяне уѣзжали съ базара. Предложеніе отмѣнить или повысить твердыя цѣны встречало сопротивленіе уже нашей общественности; въ немъ усматривали интриги п о м ѣ щ и к о в ъ. Обструкцію же крестьянъ одни искренно, а другіе тенденціозно объясняли тѣмъ, будто они не вѣрятъ э т о м у правительству. Уже послѣ отреченія Государя Милюковъ на митингѣ въ Таврическомъ Дворцѣ въ рѣчи, въ которой онъ представлялъ новыхъ Министровъ, сказалъ*): «народъ, который не давалъ хлѣба при Протопоповѣ, повезетъ его Шингареву». Можно добавить, что черезъ нѣсколько дней Шингаревъ удвоилъ, если не утроилъ, твердыя цѣны.

Когда в началѣ ноября 1916 г. Прогрессивный Блокъ сталъ бороться съ правительствомъ, онъ не отказался отъ борьбы съ нимъ и на этой почвѣ. Завѣдующимъ продоволь-

*) Въ газетныхъ отчетахъ эти его слова, какъ много другихъ, повидимому были опущены.

ствіемъ назначенъ былъ Риттихъ; онъ не разъ просилъ Думу, авторитетъ которой въ странѣ тогда былъ очень великъ, ему своимъ авторитетомъ помочь. Но Дума, клеймя и обличая неумѣлость власти, помогать ей не хотѣла; она считала правительство совершенно бездарнымъ и однако возлагала на него труднѣйшую операцію, при низкихъ твердыхъ цѣнахъ извлечь хлѣбъ изъ крестьянскихъ амбаровъ. Крестьяне добровольно хлѣба не отдавали; а отобрать его у нихъ силой можно было бы только большевистскими способами, о чемъ тогда никто не могъ и помыслить.

Въ Думѣ была особая крестьянская группа; въ ней объединялись по своимъ крестьянскимъ вопросамъ депутаты отъ крестьянъ, входившіе политически въ разнообразныя партіи. У нихъ были общіе интересы и особая психологія. Мнѣ пришлось по другому поводу войти въ близкія отношенія съ этой группой. Въ Маѣ 1916 года мнѣ былъ порученъ докладъ по крестьянскому закону 5 окт. 1906 г., о равноправіи, въ который я вводилъ много новыхъ поправокъ. Многіе съ ними не соглашались. Мнѣ пришло въ голову объяснить смыслъ закона и поправокъ этой крестьянской группѣ; я провелъ съ ними не одинъ вечеръ, старался растолковать мой докладъ и привлечь къ нему ихъ сочувствіе. Онъ ближе всего касался именно ихъ. Мой починъ оказался для доклада очень полезенъ; крестьяне его усвоили и на засѣданіи Думы голосовали со мной. Этимъ они вліяли и на тѣ политическія группы, къ которымъ принадлежали. Въ результатѣ это установило между мною и ими особыя отношенія. Не только послѣ принятія Думой закона они преподнесли мнѣ благодарственный адресъ, но стали иногда приглашать меня на засѣданія своей группы, чтобы разъяснять имъ то, чего они не понимали. У нихъ возникла даже мысль, которую они мнѣ изложили, выйти изъ своихъ политическихъ партій и образовать особую крестьянскую партію, въ которой предлагали мнѣ быть предсѣдателемъ — мысль, всего болѣе свидѣтельствующая о политической ихъ наивности. Естественно, что когда всталъ острый вопросъ о причинахъ крестьянской обструкціи со сдачею хлѣба, мнѣ пришло въ голову объ этомъ поговорить с ъ н и м и; почему крестьяне не даютъ хлѣба и какъ помочь этой бѣдѣ. Они назначили собраніе группы, и я цѣлый вечеръ съ ними бесѣдовалъ; выслушалъ отъ нихъ массу мелкихъ, но дѣловыхъ и практическихъ замѣчаній; убѣдился, что дѣло не въ томъ, что крестьяне не вѣрятъ правительству, какъ настаивала Дума, а въ томъ, что кромѣ главной причины — невыгодной, низкой и несправедливой цѣны — мѣстныя

власти, какъ полагается, дѣлали глупости вполнѣ устранимыя. Многія указанія ихъ показались мнѣ такъ интересны, что я имъ предложилъ сообщить ихъ непосредственно Риттиху; они сначала стѣснялись, потомъ согласились. Риттихъ по моему посредничеству назначилъ совѣщаніе съ ними на субботу (24 февраля) рано утромъ. Я присутствовать на немъ н е хотѣлъ. Прибавлю, какъ курьезъ, характерный для настроенія этого времени, что когда группа вывѣсила въ залѣ приглашеніе своимъ членамъ на это собраніе, то Предсѣдатель Думы Родзянко, узнавъ о цѣли собранія, усмотрѣлъ въ этомъ интригу Министра, желаніе входить въ соглашеніе съ партіями за спиной Предсѣдателя и т. д. Онъ призывалъ представителей группы и настаивалъ, чтобы совѣщаніе было отмѣнено. Къ счастью, узнавъ отъ крестьянъ, что и я былъ въ этомъ дѣлѣ замѣшанъ, онъ обратился ко мнѣ. Мнѣ было нетрудно его успокоить.

Въ эти дни уже происходили безпорядки на улицахъ и стрѣльба по толпѣ; все началось на почвѣ продовольственныхъ затрудненій въ одномъ Петербургѣ, заслонившихъ своей остротой о б щ і й кризисъ. Чтобы разрѣшить частный вопросъ Петербурга, правительство приняло постановленіе передать его продовольствіе — городскому самоуправленію, т. е. приняло по старымъ понятіямъ либеральную мѣру, которой мѣстныя самоуправленія давно добивались. Придя въ Думу въ субботу, я узналъ отъ крестьянъ, что ихъ совѣщаніе съ Риттихомъ состоялось и что о н и имъ остались очень довольны. Засѣданіе Думы уже началось. Риттихъ докладывалъ Думѣ о принятомъ наканунѣ правительствомъ постановленіи, но вмѣсто ожидаемого одобренія, выслушалъ рѣчи исполненныя негодованія на правительство, которое испортивъ положеніе, хочетъ теперь отвѣтственность свалить на общественность и т. д. Онъ такой позиціи не ожидалъ. Послѣ озлобленныхъ рѣчей, вызванныхъ не столько самимъ предложеніемъ Риттиха, сколько общимъ ходомъ событій, засѣданіе было прервано д о в т о р н и к а.

Я пошелъ въ Министерскій павильонъ, узнать и отъ Риттиха, какъ прошло его совѣщаніе съ крестьянской группой; онъ выразилъ свое удовольствіе, благодарилъ меня, что я это устроилъ, но вдругъ неожиданно зарыдалъ, какъ ребенокъ. «Я не могу больше, всхлипывалъ онъ; мы вчера съ трудомъ добились отъ кабинета всего, что Дума желаетъ. А она за это насъ же ругаетъ. Такъ нельзя управлять... Чего добивается Дума, и т. д.». Я сталъ его успокаивать. Дума не противъ него, тѣмъ болѣе не противъ Россіи; но можетъ ли она вѣ-

рить правительству, пока въ немъ сидитъ Протопоповъ и т. п. Это были банальныя фазы, но Риттихъ понемногу успокоился, и мы на этомъ разстались.

Вечеромъ событія стали еще болѣе серьезны. Беспорядки увеличивались. Оказались случаи, когда войска не стрѣляли, а братались съ толпой. Движеніе возрастало и крѣпло. Въ воскресенье утромъ рядъ повѣстокъ и телефонныхъ звонковъ звали меня въ Думу на засѣданіе фракцій и группъ; на повѣсткахъ стоялъ вопросъ объ экстренномъ созывѣ Думы вмѣсто вторника на понедѣльникъ въ виду грозныхъ событій. Тутъ же неожиданно послѣдовалъ телефонный звонокъ отъ Покровскаго, Министра Иностранныхъ Дѣлъ; онъ просилъ меня заѣхать поговорить съ нимъ, и самому выбрать для этого часъ. Я выбралъ 12 ч. Не помню, успѣлъ ли я вызвать кого-либо или, какъ вспоминаетъ Шульгинъ въ своихъ «Дняхъ», они пришли сами, но ко мнѣ до этого пришли П. Б. Струве и Шульгинъ. Я поэтому успѣлъ съ ними обмѣняться мнѣніями о томъ, что говорить Покровскому. Потомъ неожиданно безъ приглашенія заѣхалъ Терещенко и довезъ меня до Покровскаго. Входя къ нему, я встрѣтилъ пословъ Палеолога и Карлотти, которые отъ него выходили. «Вы зачѣмъ здѣсь?» — «Не знаю, я вызванъ Министромъ». — Ah, il est grandement temps — помню отвѣтилъ Палеологъ*).

У Покровскаго въ кабинетѣ сидѣлъ Риттихъ; Покровскій спросилъ, не возражаю ли я противъ его присутствія при нашемъ разговорѣ. Мнѣ тогда стало ясно, ч е м у я обязанъ былъ приглашеніемъ. Покровскій началъ издалека: «Видите, каково положеніе. Ни Дума одна, ни правительство одно другъ безъ друга ничего сдѣлать не могутъ. А между тѣмъ и т. д.». Я его перебилъ: «Не тратьте времени понапрасну. Я понимаю, ч т о вам интересно; на какихъ условіяхъ вамъ Дума сможетъ помочь?» — «Да». — «Не уполномоченъ никѣмъ, говорю свое личное мнѣніе и развѣ еще самыхъ близкихъ друзей. Да и оно годно только с е й ч а с ъ; завтра для него можетъ стать поздно. Сейчасъ въ Думѣ идутъ совѣщанія, чтобы собраться н а з а в т р а. Завтра сама Дума вамъ поставитъ д р у г і я условія. Вы должны ее предупредить. Берите на себя иниціативу. Поставьте завтра же Думу передъ такимъ совершившимся фактомъ, который она сможетъ принять». — «Что же по вашему нуж-

*) Объ этой встрѣчѣ въ квартирѣ Министра Палеологъ говоритъ въ своей книгѣ «La Russie des Tzars».

но сдѣлать?» — «Прежде всего отставка всего кабинета; не отдѣльныхъ министровъ, а всего кабинета, чтобы было ясно, что хотятъ идти новымъ путемъ. Дальше сейчасъ же пусть будетъ назначенъ новый премьеръ, которому страна можетъ вѣрить. И пусть онъ получитъ порученіе составить кабинетъ по своему усмотрѣнію. На это дайте ему срокъ самый короткій: три дня. А на эти три дня прекратите засѣданія Думы; въ данной обстановкѣ собранія Думы принесутъ только вредъ. Черезъ три дня пусть новый кабинетъ явится передъ Думой и изложитъ программу», Они слушали не возражая. «Но кого же вы намѣчаете въ премьеры? Общественнаго дѣятеля или парламентарія?» Они очень удивились, когда я отвѣтилъ: «Нѣтъ, не общественнаго дѣятеля. Среди нихъ подходящих людей я не вижу. И тогда весь кабинетъ будетъ изъ новыхъ людей. Но нельзя звать и бюрократа. Это поставитъ вопросъ: почему не зовутъ парламентарія. Берите человѣка, который будетъ символомъ этого новаго Министерства. Это должно быть Министерство войны, войны до конца. Назначьте премьеромъ популярнаго генерала. Такой у васъ есть — Алексѣевъ. Ему повѣритъ и Дума, и страна. Пусть беретъ въ министры тѣхъ представителей бюрократіи, къ которымъ можетъ быть хорошее отношеніе. Это всѣ тѣ, кого въ послѣдніе мѣсяцы выгнали изъ за Распутина. Возвратите Коковцева, Поливанова, Сазонова, Наумова, Самарина и др. Пусть они явятся въ Думу съ краткой, но опредѣленной программой: все для войны, но все, что нужно, безъ исключенія. Пусть при этомъ заявятъ, что въ своей дѣятельности будутъ опираться на Думу; пусть объявятъ суровую программу всякихъ сокращеній, лишеній, жертвъ — но только все для войны. Такому правительству и такой программѣ Дума ни въ чемъ не откажетъ. Но торопитесь; это уже послѣдняя ставка».

Они съ удивленіемъ переглядывались между собой: «И только?» Я говорю: «И только, но это должно быть вашей программой, вашимъ починомъ. Вы должны сами эти принести отъ себя. Если спрашивать Думу, и общество, они потребуютъ гораздо большаго». Они стали говорить вполголоса между собой; къ кому надо ѣхать, кому можно телеграфировать, съ кѣмъ слѣдуетъ поговорить. Разговаривали долго. Наконецъ Покровскій сказалъ: «Для насъ эта программа пріемлема; мы надѣемся получить на нее согласіе и Государя. Но какъ ни стараться, въ одинъ день этого сдѣлать нельзя. Завтра такіе указы появиться

не могутъ». Я спросилъ: «но успѣете ли вы съ этимъ ко вторнику — къ дню собранія Думы?» — «Да, ко вторнику можно надѣяться». — «Тогда не теряйте времени; я же буду стараться, чтобы засѣданіе на завтра назначено н е было; если мнѣ это удастся, то и вы съ своей стороны дѣлайте в с е».

Мы разстались на этомъ. Казалось этотъ планъ можетъ быть принятъ. Я пошелъ въ Думу; тамъ былъ полный развалъ. Спорили объ экстренномъ созывѣ Думы на завтра, на понедѣльникъ. Образовалось два направленія: за и противъ. Въ Прогрессивномъ Блокѣ голоса раскололись. Кадеты были з а созывъ, октябристы имъ возражали. Прогрессисты, которые до тѣхъ поръ взрывали Прогрессивный Блокъ изнутри, стараясь быть во всемъ лѣвѣе кадетъ, и недавно изъ блока торжественно вышли, въ видѣ протеста противъ правительства, теперь вернулись назадъ и настаивали на созывѣ Думы. Мое положеніе было трудно. Я не могъ сдѣлать даже намека на разговоръ мой съ Покровскимъ и Риттихомъ; разглашеніе его весь планъ погубило бы. Пришлось возражать противъ созыва Думы и н а ч е. Я доказывалъ, что мы не готовы, что у Думы не составилось еще общаго мнѣнія, что надо время, чтобы его подготовить, что отъ экстреннаго созыва Думы страна будетъ ждать очень многаго, чего дать мы завтра не сможемъ и т. д. Мои выступленія раздражали кадетъ; меня пригласили во фракцію, чтобы я объяснился: «чего я хочу?» Но и имъ я не могъ сказать больше; «на завтра однихъ рѣчей мало, а у насъ готоваго нѣтъ ничего». Нѣкоторые колебались; другіе сердились. Помню, какъ одинъ депутатъ, потомъ бывшій Министромъ, который отъ Революціи могъ только все потерять и дѣйствительно потерялъ, отозвалъ меня въ сторону и съ упрекомъ мнѣ говорилъ: «Что вы дѣлаете? На фабрикахъ сейчасъ происходятъ выборы депутатовъ. Мы наканунѣ Революціи, а вы ее хотите с о р в а т ь». Таково было тогда настроеніе.

Въ этихъ разговорахъ и спорахъ время прошло. Всѣ утомились. Дѣйствительно у Думы ничего готоваго не было; созвать ее съ пустыми руками для одного краснорѣчія моменту не соотвѣтствовало бы. Было больше 8 час. вечера, когда Предсѣдатель Думы вопросъ рѣшилъ своей властью. «Созвать Думу на завтра я у ж е н е у с п ѣ ю. Время прошло. Значитъ все остается по-прежнему». Я вернулся домой и позвонилъ Покровскому. Къ телефону подошла его жена; самъ онъ ушелъ на засѣданіе Совѣта Министровъ. Я просилъ немедленно ему передать, что Думы завтра не бу-

детъ; пусть теперь онъ, Покровскій, с в о е обѣщаніе держитъ. Просилъ его позвонить мнѣ, какъ только вернется изъ засѣданія Совѣта Министровъ. Онъ долго не звонилъ и я легъ спать. Рано утромъ меня разбудилъ телефонъ. У аппарата былъ Товарищъ Предсѣдателя Думы Некрасовъ. «Идите сейчасъ же въ Думу». — «Что случилось?» — «Дума распущена». Я думалъ, что началось осуществленіе плана: «Кто же премьеръ?» Некрасовъ не понималъ: «Какой премьеръ? Почему?» — «Развѣ министерство не получило отставки!» — «Нисколько». — «Насколько же распущена Дума?» — «Безъ обозначенія срока. Но идите скорѣе; Волынскій полкъ взбунтовался, убилъ офицеровъ и вышелъ на улицу».

Я пришелъ въ Думу. Всѣ собирались. Родзянко разсылалъ свои послѣднія телеграммы. Я позвонилъ изъ Думы Покровскому: что все это значитъ? Онъ отвѣтилъ успокоительнымъ тономъ:« о д н о желаніе Ваше исполнено, занятія Думы прерваны. А объ остальномъ мы будемъ имѣть сужденіе въ среду». Я не понималъ, не шутитъ ли онъ: «Вы знаете, что теперь происходитъ?» — «Что же?» — «Войска взбунтовались». — «Ничего не слыхалъ». — «Тогда съ вами больше не о чемъ говорить», и я трубку повѣсилъ. Началась уже оффиціальная Революція.

Потомъ уже в эмиграціи я вспоминалъ про эту исторію съ Покровскимъ и Риттихомъ. Они мнѣ тогда разсказали, что въ Совѣтѣ Министровъ нашлось только 4 человѣка, которые съ этимъ планомъ были согласны. Остальные его не хотѣли. Покровскій разсказывалъ также, что говорилъ въ тотъ день не только со мной, но и съ другими, между прочимъ съ Н. Савичемъ. Совѣты были различны. Теперь это дѣло прошлаго. Думаю, что если вообще можно было еще Россію спасти отъ Революціи, то если не этимъ, то только п о д о б н ы м ъ этому планомъ. Гибель Россіи оттого и вышла, что д л я т ѣ х ъ, кто тогда еще правилъ Россіей, и онъ былъ невозможенъ. Если бы онъ для нихъ былъ возможенъ, Россія до Революціи вообще могла не дойти. Я совсѣмъ не увѣренъ, что если бы правительство планъ этотъ приняло, и во вторникъ былъ бы объявленъ кабинетъ Алексѣева, то Дума этимъ удовольствовалась бы; возможно что нѣтъ; въ 1906 г. первая Дума не хотѣла же Министерства Шипова. Однако вспоминая существованіе Прогрессивнаго Блока, благоразуміе тогдашнихъ кадетъ, опасность войны и патріотическое настроеніе Думы, такую карту надо было сыграть. Она давала бо́льшія надежды, чѣмъ Революція, полное паденіе исторической власти, а для борьбы съ «большевизмомъ» и «нѣмцами» идеали-

стическій кабинетъ кн. Львова. Но характерно, что въ этотъ послѣдній часъ «стараго строя», планъ избѣжать Революціи былъ сорванъ не крайними лѣвыми, не кадетской общественностью, а самою властью. Всю отвѣтственность за Революцію она какъ будто хотѣла сохранить за собой. Такъ кончилась старая тяжба власти с общественностью.

В. Маклаков

БИБЛИОГРАФИЯ

VICTOR KRAVCHENKO — *I Chose Freedom: The Personal and Political Life of a Soviet Official.* Charles Scribner's Sons, New York, 1946. $3.50.

4 апреля 1944 года в «Нью Йорк Таймс» появилось сообщение, что один из служащих советской закупочной комиссии в Вашингтоне, Виктор Кравченко, прибывший в Соединенные Штаты из Советского Союза в августе 1943 г., оставил советскую службу и заявил о своем нежелании вернуться в Советский Союз. Вслед за этим в американской прессе было напечатана его обширное заявление с изложением руководящих им мотивов. В нем В. Кравченко подверг резкой критике внутреннюю и внешнюю политику советского правительства, обличал сталинский режим в нежелании дать народу свободу и гражданские права и отдавал себя под защиту американского общественного мнения; одновременно он заявлял, что по патриотическим мотивам отказывается высказываться по вопросам военного характера и даже по экономическим вопросам, связанным с ведением войны.

Как реагировали советские власти на уход Кравченко? Сначала советская закупочная комиссия, в ответ на запросы, заявила, что она Кравченко не знает и что человека с такой фамилией в составе ее служащих не имеется — в этом сказалась очевидная растерянность, свидетельствовавшая о том, что факт ухода Кравченко был для нее полной неожиданностью. Затем, очевидно, инструкции из Москвы пришли: Кравченко был объявлен «дезертиром Красной Армии», в которой раньше служил капитаном, и на этом основании советское правительство требовало его выдачи для возвращения в Советский Союз и суда по законам военного времени. В ответ на это Кравченко сообщил, что еще два года тому назад был снят с военной службы и работал в Советском Союзе на правительственной службе в качестве инженера, занимал пост директора одного из трубопрокатных заводов и в Америку был командирован советским правительством по гражданской, а не по военной линии. Обвинение в дезертирстве отпало. Тогда в его жизни началась новая глава: советские агенты начали его выслеживать с очевидной целью схватить и вывезти в Советский Союз, а может быть и ликвидировать на месте — вспомним соответствующие прецеденты из практики советской власти в Европе.

Из рассказа Кравченко мы знаем теперь драматические подробности этого периода его жизни: происходило все, что полагается в полицейских романах и фильмах. Но, повидимому, Кравченко родился под счастливой звездой — каждый раз ему удавалось от своих преследователей скрыться.

Как встречен был уход Кравченко с советской службы американской прессой? Печать — особенно первое время — случаем этим очень заинтересовалась, хотя никак не могла понять, в чем, собственно говоря, заключалось «преступление» Кравченко и почему служащий хотя бы и советской власти не имеет права по собственному решению эту службу покинуть. Интерес к этому самому по себе с американской точки зрения незначительному происшествию объяснялся тем, как реагировала на него американская коммунистическая печать. Там на Кравченко лили ушаты грязи и клеветы и объясняли его уход самыми низменными мотивами. «Дэйли Уоркер» грозил, что Кравченко скрыться не удастся и что в конце концов «руки мстителей доберутся» до него и «сотрут в порошок».

К удивлению, недоброжелательно встретила уход Кравченко и его заявления не одна коммунистическая пресса. Почему, спрашивали в некоторых не-советских русских кругах, Кравченко счел нужным выступить со своими заявлениями против политики советского правительства, не дождавшись окончания войны? Откуда это внезапное «просияние ума» после семи месяцев пребывания в Соединенных Штатах? Почему до этого он считал для себя возможным оставаться на советской службе и работать по указаниям советского правительства и «разочаровался» в своей работе, лишь очутившись за пределами Советского Союза? А одна русская газета (анти-советская) даже сообщала, что Кравченко связан с враждебными России польскими кругами, при помощи которых, будто бы, и предполагает в ближайшем будущем издать книгу, направленную против Советского Союза... Этот эпизод для русских настроений того времени характерен еще и потому, что, по признанию руководителей этой газеты, информация о связи Кравченко с польскими кругами была получена ею из правых кругов — газета не допускала и мысли о том, что эта инсинуация была намеренно пущена коммунистами именно через правых. Позднее она сама должна была признать, что эта инфромация была ошибочной.

Политическая и моральная атмосфера, в которой Кравченко пришлось жить после Вашингтона, была очень тяжелой: без языка, без средств, без друзей, даже без знакомства. Он, тем не менее, нашел в себе силы приняться за то, что считал своим долгом — громко сказать всем, почему он ушел с советской службы и почему не хочет вернуться в Советский Союз. В течение двух лет он писал

свою книгу, не считаясь ни с угрозами, ни с нападками, ни даже с клеветой. И теперь эта книга лежит перед нами.

Думаю, что пересказывать ее содержание читателям «Нового Журнала» излишне — они или уже прочитали книгу Кравченко или несомненно ее прочтут. Но несколько слов о самом авторе сказать надо: у книги имеется подзаголовок — «личная и политическая жизнь советского служащего» — это, собственно говоря, автобиография или воспоминания, но вместе с тем это и описание жизни в Советском Союзе. Виктор Кравченко родился в 1905 году в Екатеринославе (теперешнем Днепропетровске) — ему, значит, сейчас 42-ой год. Его отец — рабочий железнодорожных мастерских, участник революционного движения 1905 года, побывавший в тюрьмах и ссылке, но ни к какой политической партии того времени не принадлежавший. Об отце и матери Кравченко говорит с любовью и уважением — им он обязан тем гуманистическим воспитанием, которое они в него заложили. С 12 до 16 лет Кравченко работал в созданной екатеринославскими рабочими сельско-хозяйственной коммуне (жил там с семьей), пережил годы гражданской войны, учился в земледельчсеком училище, потом после одного из митингов, на котором всех желающих приглашали записываться на угольные работы в Донбасс, начал работать в угольных копях, в Алговеровке. Там в 1922 году вступил (вопреки желанию отца) в Комсомол. В 1924 г. перешел на работу в Петровско-Ленинский металлургический завод в Екатеринославе, на котором работали его отец и младший брат, и оставался на нем в течение трех лет, пока в возрасте 21 года не был призван в Красную Армию (в 1926 году). Военную службу отбывал на границе Персии, участвовал в стычках с басмачами; в 1927 году вернулся на завод в Днепропетровск. Принимал активное участие в заводской работе, посещал митинги, писал в местных газетах — сделался «активистом». Дальнейшим логическим шагом было вхождение в партию, о чем он с некоторым смущением сообщил отцу. «Прежде всего — будь всегда с народом, — напутствовал его отец. — Думай не о месте, которое будешь занимать в партии. а о пользе, которую будешь приносить народу — старайся, чтобы народу жилось лучше и **свободнее**». Это было в середине 1929 года.

В 1930 году Днепропетровск посетил Орджоникидзе и побывал на заводе, на котором работал Кравченко. Директор завода представил ему Кравченко. Комиссар, очевидно, уже слышал о молодом активисте, ласково обошелся с ним и посоветовал позаботиться о продолжении образования. С тех пор и до самой смерти Орджоникидзе (в 1937 году), Кравченко чувствовал в нем опору и поддержку — решающую роль сыграл Орджоникидзе и в дальнейшей его деловой карьере. Весной 1931 года (25 лет от роду) Кравченко был принят студентом в харьковский Технологический Институт, оттуда

перешел в Металлургический Институт в Днепропетровске, который и кончил дипломированным инженером-металлургом. Но еще в студенческие годы — в первый раз в 1931 году, во второй раз в 1933 г. — по постановлению областного комитета партии был командирован его уполномоченным по проведению коллективизации и обеспечению уборки урожая. Две главы в книге Кравченко о деревне одни из самых сильных — здесь, в деревне, он впервые увидал на практике крестьянскую советскую политику и тогда же впервые зародились в нем сомнения в истине «советского гуманизма». К этим годам следует отнести начало того морально-политического надлома Кравченко, который через десять лет привел его к официальному разрыву с советским правительством. Карьера инженера началась для Кравченко в начале 1935 года с Никополя, куда он был назначен в новый металлургический комбинат. В 1936 году был вызван Орджоникидзе в Москву — в это время Орджоникидзе был комиссаром тяжелой промышленности; он дал Кравченко специальное задание по выработке труб для бакинской нефтяной промышленности. Это задание успешно было им выполнено. После трех лет работы в Никополе Кравченко был переведен на трубочный завод в Таганрог, оттуда по распоряжению Кагановича, нового комиссара тяжелой промышленности, отправлен на Ново-Трубный завод в Первоуральске — это было уже в 1938 году; в конце февраля 1939 г. назначен директором новостроющегося металлургического завода в Сталинске (бывший Кузнецк, в Западной Сибири), оттуда переведен в другой крупный промышленный центр Западной Сибири Кемерово (в 160 милях от Сталинска, на р. Томи) в качестве начальника цеха и начальника технического отдела завода. Затем из Кемерова был назначен в Москву на Трубопрокатный завод заместителем главного инженера этого завода. Здесь его и застала война. Он был мобилизован в сентябре 1941 года и отправлен в Болшево, в 20 милях от Москвы, в Военно-Инженерное училище для переквалификации; там он работал в качестве секретаря партийной организации Военно-Инженерного училища. По прежней своей военной службе он уже имел чин капитана. В октябре началась эвакуация Москвы, эвакуировано было на восток (в Мензелинск на Каме) и болшевское Военно-Инженерное училище. В Менезелинске Кравченко тяжело захворал и был помещен в военный лазарет, оттуда отослан обратно в Москву. Затем он получил назначение на фронт, но, по новому распоряжению военного комиссариата, как инженер был снят с военной службы для использования в качестве квалифицированного специалиста (для нужд войны). Вскоре Кравченко с благословения ЦК партии и НКВД был назначен на должность начальника военно-инженерного отдела Совнаркома РСФСР (т. е. у самых источников власти), где и работал до июля 1943 года, когда был командирован

в Соединенные Штаты для работы в советской закупочной комиссии Вашингтона.

Таковы биография и служебная карьера Кравченко, рассказанные здесь для того, чтобы показать, насколько обширно и разнообразно было его поле наблюдений. Передавать подробно эти наблюдения я не буду. Сюда входит описание чисток (он и сам прошел через это тяжкое испытание — с допросами, издевательствами и побоями), нескольких процессов (шахтинский процесс, суд над Пятаковым, Бухариным и пр.), страшные картины трудовых лагерей в Первоуральске и Кемерове и многое другое. Рассказать эту книгу трудно — она так густо насыщена фактами и касается стольких частностей, что ее легче просто прочитать. Мне хочется остановиться на другом — на том, как эта книга была принята американской печатью и американским читателем.

Можно себе представить, как встречена была книга Кравченко коммунистической и про-советской прессой. «Дезертир», «предатель», «бандит», «поджигатель войны», «пятая колонна», «ренегат», «прихвостень капиталистов» и пр. и пр. — все возможное из богатого ругательного лексикона коммунистов. А «Дэйли Уоркер» даже нашел, что книга Кравченко... «порнографична»! В таком же духе были и письма, посыпавшиеся от коммунистов на голову автора — они были полны грубейших ругательств и исступленных чувств. Но гораздо больше было положительных отзывов о книге — как в прессе, так и в письмах. Отозвались на книгу решительно все крупнейшие газеты и журналы — приводить выдержки или даже перечислять их нет никакой возможности. И на 90% — если не больше — отзывы были хвалебные. Особенно отмечались всеми жизненность и правдивость книги, искренность и убедительность автора. Издательство было завалено письмами с выражением благодарности и восхищения — одни выражали желание познакомиться с автором, другие предоставить в распоряжение автора квартиру, средства. И это не были пустые слова — некоторые из прошедших через всю прессу больших объявлений, занимавшие полную страницу «Нью Иорк Таймса» и «Нью Иорк Херальд Трибюн», были оплачены этими доброжелателями, передавшими для этого издателю специальные средства (тысячи долларов). Кравченко и его книга сделались популярными в самых широких кругах. Этому имеются и объективные доказательства. Очень скоро она оказалась на шестом месте в списках наиболее покупаемых книг. Затем передвинулась на пятое место, на четвертое — и вот уже свыше трех месяцев не сходит с третьего. Она сделалась сейчас тем, что американцы называют «the national best-seller» — мечта каждого американского писателя. Когда «The book of the Month Club» устроил публичное собеседование с Кравченко об его книге, переданное по радио (такие публич-

ные собеседования критиков и публики с авторами под названием «Встреча писателя с читателем» происходят в этом клубе каждый четверг), на собрание едва можно было пробиться и билетов добивались, как в театр на популярную пьесу — аудитория отнеслась к Кравченко с горячим сочувствием. Несколько глав из его книги были дважды (!) перепечатаны в «Ридерс Дайджест» (тираж около 9 миллионов), газетный синдикат «Кинг Фючер Синдикат» перепечатал треть книги в 46 американских, канадских и мексиканских газетах; отрывки печатались в итальянских и парижских газетах и журналах. Заключены контракты на издание книги в Англии (книга должна выйти на Рождестве), во Франции, Испании, Швеции, Португалии, Голландии; получены предложения из других стран, отрывки будут напечатаны на датском, японском и арабском языках. Предполагается издание и на русском языке — на украинском вся книга была перепечатана в одной украинской газете в Канаде. Не будет преувеличением сказать, что аудитория Кравченко уже достигла нескольких десятков миллионов человек.

О чем свидетельствуют эти факты? Они говорят об огромном интересе во всем мире к России и о том, что читатель почувствовал правду книги Кравченко. «Книга Кравченко, — писал мне на днях знакомый из Китая, которому, по его просьбе, я книгу выслал, — производит исключительное впечатление. Это, конечно, лучшее, что написано кем-либо из невозвращенцев и, несомненно, останется в истории русской революции. Книга эта поразительно сильная своей основной правдой».

Огромный интерес к книге Кравченко можно только горячо приветствовать. Как не вспомнить старые слова Золя, сказанные им в дни дела Дрейфуса: «La verité est en marche et rien ne l'arrêtera» («правда постоит за себя — и ничто ее движения не остановит»). А правду о России должен узнать весь мир — тогда и будет за ней победа.

Книга Кравченко — это рассказ о жизни честного русского человека, вышедшего из рабочей семьи, своими дарованиями и трудом сделавшего большую служебную карьеру в советском аппарате и в результате своего жизненного жестокого опыта разочаровавшегося в коммунистическом опыте, но не разочаровавшегося ни в людях, ни в своих идеях. В этом рассказе отразилась и жизнь России. И как хотелось бы, чтобы миру были рассказаны также и жизни других — крестьянина-колхозника, рядового рабочего, красноармейца, сосланного на принудительные работы в один из трудлагерей. Надо думать, и это будет сделано.

В. Зензинов

КНИГИ О СОВЕТСКОЙ РОССИИ

S. N. PROKOPOWICZ—*Russlands Volkswirtschaft unter den Sowjets.* Europa Verlag, Zurich, New York, 1944.

ALEXANDER BAYKOV—*The Development of the Soviet Economic System.* Cambridge at the University Press, 1946.

MAX M. LASERSON—*Russia and the Western World*: The Place of the Soviet Union in the Comity of Nations. MacMillan, New York, 1945.

Среди русских ученых за рубежом никто не поработал больше С. Н. Прокоповича над познанием советского хозяйства. В течение многих лет издававшиеся им в Праге бюллетени (на русском языке) давали твердо обоснованные и тщательно продуманные сводки данных, появлявшихся в общих и специальных органах советской печати. После занятия Праги немцами проф. Прокопович перенес свою деятельность в Женеву и там выпустил новую серию бюллетеней (на английском языке).

Настоящий труд его, появившийся в Швейцарии на немецком языке, дает как бы синтез его 25-летних наблюдений. Труд построен не в хронологическом, а в предметном порядке: перед читателем последовательно проходят очерки, посвященные населению, сельскому хозяйству, промышленности, розничной торговле, внешней торговле и народному доходу; к ним приложен очерк о государственном строе, управлении, политических и хозяйственных правах граждан. Внутри отдельных очерков изложение ведется по периодам, но подчас специальные вопросы выделены для особой трактовки вне общих хронологических рамок.

Автор явно не задавался целью дать популярное произведение. Он систематически оперирует с первичными, преимущественно цифровыми, данными, показывая всю трудность научного их истолкования, в виду общеизвестных свойств советской статистики. Со своей задачей он справился мастерски; особенно блестящи главы о заработной плате, внешней торговле и народном доходе. Из более описательных частей наиболее удачной представляется глава об организации (вернее, дезорганизации) промышленности в период военного коммунизма, тогда как глава о плановом хозяйстве под пятилетками удалась автору гораздо меньше; несмотря на массу приводимых в ней данных, общей картины планового хозяйства не получилось.

Этот упрек можно повторить и относительно труда в его целом. Отчасти в виду избранного автором метода изложения, отчасти в виду отсутствия очерков, посвященных таким важным вопросам, как денежное обращение, транспорт и оптовая торговля, равно как подлинно обобщающего заключения, целостного взгляда на совет-

ское хозяйство в его постоянных и переменных факторах читателю не предлагается. По необходимости поверхностными оказывается очерк о государственном строе, который в значительной части сводится к цитатам из Ленина (хотя и мастерски подобранным) и воспроизведению статей из конституций 1918, 1923 и 1936 гг.

Несмотря на фактическую обоснованность и глубокую продуманность труда, с некоторыми утверждениями автора трудно согласиться. Говоря о приросте населения в 1924-32 гг., автор называет весь этот период временем хозяйственного благосостояния, но в дальнейших главах признает, что годы первой пятилетки сопровождались тяжкими хозяйственными жертвами. Этому не противоречит факт, что быстрый прирост населения продолжался по 1932 г., ибо современная демография отнюдь не ожидает параллелизма между динамикой населения и хозяйственной динамикой. Говоря о первой аграрной революции (1917-8 гг.), автор утверждает, что она окончательно освободила крестьян от зависимости от дворянского землевладения и феодальных прерогатив. На самом деле, в 1917 г. зависимость крестьян от землевладельцев была уже чисто экономической, а не сословной; есть много оснований полагать, что хозяйственная эксплоатация крестьянства была особенно невыносима там, где произошла смена родового дворянства землевладельцами капиталистического типа. Вряд ли обосновано утверждение С. Н. Прокоповича, будто желание восстановить торговлю с капиталистическими странами послужило главной причиной поворота к Новой Экономической Политике: крестьянские восстания с добавлением кронштадтского восстания по всей вероятности сыграли решающую роль.

В заключении, очень кратком и логически не вытекающем из изложения, «великие хозяйственные успехи советской власти» противопоставляются хозяйственным и культурным условиям старой России, безотносительно к динамике последних, и как-то неожиданно утверждается, что хозяйственное обновление России требовало сильной руки. В общем превосходная книга несомненно выиграла бы, если бы этого заключения в ней не было.

Вышедшая значительно позже, по английски, книга Александра Байкова, б. сотрудника проф. Прокоповича по Экономическому Кабинету, по своему плану отлично дополняет книгу последнего, так как в ней изложение ведется не по предметам, а по периодам. При этом в заслугу автору нужно поставить, что он усмотрел в советской экономической политике не три, как то обычно делают, а четыре периода — военный коммунизм, НЭП, период «экстенсивной индустриализации и коллективизации» и период «интенсивных улучшений в экономической системе», который он начинает с отмены хлебных карточек (декабрь 1934 г.). По каждому периоду покры-

ваются приблизительно те же отрасли народного хозяйства, как и у Прокоповича; отсутствует, однако, обзор населения, зато подробно рассматриваются финансы, кредит и денежная система.

К сожалению, отдельные главы труда, основанного на изучении огромного материала, заключающегося в советской экономической печати, написаны по трафарету, приводящему к господству деталей над целостной картиной: в таком-то году, в такой-то отрасли хозяйства, советское правительство наметило такие-то цели (следуют пункты, составленные преимущественно по резолюциям разных органов власти); чтобы их достигнуть, были приняты такие-то меры — следуют пункты; однако, результаты отклонились от заданий — следуют пункты; чтобы исправить положение, были приняты такие-то меры — следуют пункты, и так на протяжении почти 500 страниц. В нарушение схемы, в большинстве глав последней части (посвященной 1934-1941 гг.), имеются «заключения», в которых автор пытается несколько обобщить приведенный им материал и дать общую оценку экономической политики советов. Во многих случаях он признается, что свои прежние отрицательные оценки он сменил на положительные, и он подчеркивает достигнутые в СССР успехи. Но А. Байков как будто не замечает, что успехи эти скорее формального, нежели материального характера: к 1941 г. советская экономическая машина действительно работала без тех перебоев, которые, в более ранние годы, грозили ее остановить или даже опрокинуть; но он даже не пытается доказать, что эта система начала обеспечивать сколько-нибудь сносные условия существования для обслуживаемого ею народа.

Последняя глава книги, посвященная общему планированию, правильно противопоставляет планирование, как систему приказов, «управлению хозяйством», которое работает путем косвенного поощрения одних и торможения других хозяйственных решений. Глава дает отчетливое представление о механике планирования и вскрывает всю его потрясающую сложность. Увлеченный советскими «достижениями», автор как будто не замечает, что его описание с почти логической необходимостью влечет к вынесению отрицательного приговора хозяйственному планированию в его мертвящем, монопольно-бюрократическом варианте, осуществленном в СССР.

Несмотря на недостатки в системе изложения и на сомнительность многих оценок, книга представляет большую ценность в качестве сводки трудно доступных материалов. Она полна ссылок на первоисточники, читать которые (по-русски) автор по какому-то недоразумению усиленно рекомендует своим английским и американским читателям почти в каждом подстрочном примечании.

Книга проф. М. Лазерсона посвящена тем изменениям в советском режиме, которые, накопившись, сделали Россию наших дней существенно отличной от России времен наибольшего ее приближения к коммунистическому идеалу. Установление и объяснение этих изменений принадлежит к числу настоятельных задач, и за постановку проблемы проф. Лазерсона можно только приветствовать.

Выполняя свою задачу, автор с первых же слов выдвигает два принципа, которые, по его мнению, решают ее. Первый — это тенденция сближения советского строя с политическим (?) строем западных союзников. Второй — это принцип полярности советской внешней политики, или колебания ее между догматом мировой революции и практической необходимостью обеспечить безопасность советского государства. Заключается ли в этих формулах ключ к проблеме?

Конечно, Россия сейчас ближе к западному миру, нежели она была лет 15 тому назад. Но почему? Потому что она во многом вернулась к своей национально-исторической традиции, от которой коммунистические вожди так решительно отреклись в 1917 г. Дореволюционная русская культура была, хотя и своеобразной, но все же частью общей культуры западного, в основе христианского мира. Поскольку оживают черты старой русской культуры, сглаживается и расхождение после-революционной России с западом. Но это — производное явление. Формулировка же проф. Лазерсона, опускающая основной факт, как будто намекает на непосредственное подражание западу, которое в действительности имеет место только в технической сфере («догнать и перегнать Америку»).

Что касается колебания между полосами, то как раз применительно ко внешней политике такая формула неточна. Верно, что советскую внешнюю политику можно рассматривать, как равнодействующую двух факторов, отмеченных автором, при чем, однако, второй сильно осложнен тем возрождением имперской традиции, которое в книге оттеснено на второй план. Это сочетание двух факторов, приводит к тем зигзагам и непоследовательностям, которые так поражают поверхностных наблюдателей. Но маятникообразного колебания между полюсами не происходит. Точнее было бы говорить о прерываемом зигзагами движении прочь от догматического интернационализма к политике осуществления интересов определенного политического тела (Советского Союза), как бы ни неправильно эти интересы подчас понимались.

А как раз там, где принцип маятникообразного колебания проступает с большой ясностью, проф. Лазерсон его не подчеркивает. Я имею в виду область права, которой в книге посвящен обстоятельный очерк. Колебания в праве соответствуют колебаниям в хо-

зяйственной сфере, которая в книге вообще не рассматривается, очевидно потому, что в хозяйственной жизни признаков сближения с западом найти нельзя.

Можно посетовать на автора и за расположение материала. Не считая введения и заключения, книга состоит из шести глав, посвященных «некоторым факторам сближения», «некоторым конституционным проблемам», движению от централизма к федерализму, реабилитации права, реабилитации национальной истории и внешней политики, но в дейтвительности каждая глава состоит из множества небольших очерков, в отдельности подчас превосходных, но в совокупности оставляющих смутное впечатление в виду склонности автора скакать на столетия вперед и назад и смешивать хронологический и предметный порядок изложения. Так, напр. в главе о факторах сближения последовательно говорится об изначальном интернационализме большевиков, заговоре декабристов, спорах между марксистами и народниками, роспуске Учредительного Собрания, предреволюционных лозунгах большевиков, земской реформе 1864 года, реформе местного самоуправления при Временном Правительстве, колхозах, отмене дореволюционного права в 1918 г., опубликовании гражданского кодекса, указе 1944 г. о разводе, более раннем указе о разводе, росте просвещения при советской власти, интеллигенции в старой России, расположении общественных сил при Временном Правительстве, «Коммунистическом Манифесте», опять о колхозах, восстановлении государственных лозунгов за последние годы, германо-советском пакте 1939 года, присяге красноармейца в редакциях 1918 и 1939 гг., аннексии Грузии в 1921 г., германском вторжении, патриотических лозунгах пропаганды за военные годы, все-славянском движении и братстве по оружию с западными союзниками. При всем желании, никакой руководящей нити в таком изложении не найти. Изредка попадаются неточности в датировке событий и ошибки в английском начертании русских имен.

Предисловие к книге датировано июлем 1945 г. Это в значительной мере объясняет проявляемый проф. Лазерсоном оптимизм по вопросу о сотрудничестве советского правительства с западными союзниками, которое рисуется ему в виде непреложного вывода из его теории западнического перерождения советов. На самом деле, такого перерождения не произошло, а сложившийся в предвоенные и военные годы национал-коммунизм может пойти и по пути сотрудничества, но и по пути соперничества с западом. Большинство симптомов, к сожалению, говорят о том, что советским правительством избрана вторая из возможностей.

Н. С. Тимашев

From A Political Diary: Russia, the Ukraine, and America (1905-1945). By ARNOLD D. MARGOLIN (Columbia University Press, 1946). Pp. 250.

Новая книга А. Д. Марголина — не по форме, но по содержанию — вполне оправдывает данное ей автором заглавие. Как подлинный «дневник», книга дает непосредственные отражения событий, свидетелем и участником которых был автор. Как дневник «политический», она дискретно обходит материал чисто мемуарного характера.

Книга, как и самая жизнь автора, распадается на две части — русско-украинскую и американскую. Водоразделом служит 1922 год — год переселения А. Д. Марголина в Соед. Штаты. На первых семидесяти страницах «Дневника» автор разсказывает о своем участии в освободительном движении 1905 г. и в эфемерном украинском национальном ренессансе 1917-1920 гг. Особенно интересны его воспоминания о 1919 и 1920 гг. В качестве члена украинских делегаций, которые добивались признания для своей страны со стороны «великой четверки» той эпохи, г. Марголину довелось встречаться и вести переговоры с Клемансо, Ллойд-Джорджем, Вильсоном, Лансингом, Асквитом, Венизелосом, Шалойя, Луцатти, Вальтером Ратенау и многими другими историческими фигурами. Его рассказ о свиданиях с этими людьми и о настроениях и тревогах того времени читается с живейшим интересом.

В беседах с министрами и дипломатами держав Антанты А. Марголин и его коллеги по украинской делегации пытались убедить их в том, что «при создавшихся условиях, единственный путь к добровольному воссоединению прежней Российской Империи на федеративных началах лежал чрез предварительное установление и консолидацию демократических правительств на всех территориях, находившихся вне контроля Советского правительства» (стр. 29). Поэтому они хлопотали о признании и поддержке местных правительств и тех национальных партий, которые стремились таковые создавать, — в надежде на то, что после ожидаемого падения советской власти в Москве эти новые национальные правительства пожелают объединиться и стать членами всероссийской федерации. Однако, А. Марголин не скрывает, что этот план не встретил сочувствия ни среди иностранных дипломатов, ни со стороны представителей русских демократических партий.

Вторую часть своей книги г. Марголин называет отчетом о своей «волонтерской работе и неформальных письменных обращениях в Государственный Департамент за годы 1933-1943» (стр. VII). Ряд его докладных записок по вопросам внешней политики, поданных государственному секретарю Холлю и его ближайшим сотрудникам, перепечатан в виде приложения к книге. В отзывах

американской прессы о книге А. Марголина эта часть вызвала всеобщие похвалы. «Г. Марголин, — пишет напр. рецензент «Washington Post», — правильно предсказал многое в дальнейшем развитии русско-американских отношений». «Г. Марголин, — читаем мы в отзыве «New York Times», — рано понял опасность американского изоляционизма и нейтралитета... Когда, уже после Мюнхена, Холл снова рекомендовал торговые договоры как единственный путь к обеспечению всеобщего мира, г. Марголин настойчиво предостерегал против этой слишком упрощенной и слишком оптимистической программы».

В 1930-ых годах А. Марголин пропагандировал необходимость широкой экономической помощи России, с целью превратить ее «в мощный противовес фашистским державам» (стр. 103). Он указывал, что Англия должна помочь индустриализации России, а Америка — развитию ее железно-дорожной сети и торгового флота. Однако, его идеи, хотя и встреченные сочувственно, не получили практического осуществления. Сначала Госуд. Департамент стал на точку зрения, что России нельзя давать новых кредитов пока не будет урегулирован вопрос о «старых долгах», (т. е. об обязательствах императорского правительства и об убытках американских граждан во время революции) (стр. 102). А в конце концов предложения А. Марголина были отвергнуты с ссылкой на «конфиденциальные мотивы» — г. Марголин высказывает предположение, что его план был окончательно похоронен в Англии, так как тогдашний премьер Невиль Чемберлен отнесся к нему отрицательно (стр. 108).

В марте 1938 г., вскоре после заключения между Германией, Италией и Японией пакта о борьбе с Коминтерном, А. Марголин писал Статс-Секретарю Холлю:

> «Главным объектом экспансионистских планов Германии является Россия. Так-называемый анти-коммунистический союз Германии, Японии и Италии является, в действительности, союзом против России. В случае поражения, Россия станет добычей этих трех государств и их сателлитов.
>
> Даже англо-франко-русский союз не может послужить гарантией против экспансионистских планов этой мощной коалиции в отношении Восточной Европы, Сибири и бассейнов Средиземного и Черного морей. Единственное, что может предотвратить грядущую войну, это — всеобщее убеждение, что Америка не оставит Францию и Англию без поддержки в случае новых завоевательных войн в Европе и Сибири» (стр. 109).

Недалекое будущее доказало правильность этих предвидений и предостережений.

А. А. Г-ер

The Great Retreat: The Growth and Decline of Communism in Russia. By NICHOLAS S. TIMASHEFF. E. P. Dutton & Company, New York, 1946.

Вероятно, многим еще памятен вспыхнувший во время войны спор между двумя группами русской левой политической эмиграции: «непримиримыми» пессимистами и «выжидающими» оптимистами. Сейчас на улице «непримиримых», как будто, праздник. Их пессимизм оказался еще раз оправданным. За год, истекший со времени окончания войны, сталинское правительство никаких политических уступок не сделало. «Так было — так будет».

И все же основное положение «непримиримых» — о том, что уступки н е в о з м о ж н ы — остается недоказанным. Более того: внимательное изучение фактов приводит к выводу, что неосуществившиеся надежды не были только бессмысленными мечтаниями. Тезис о том, что диктатура «по самой своей сущности» не может итти на уступки (из этого тезиса есть только два вывода: революция или капитуляция), и теперь еще остается такой же лже-аксиомой, какой во времена Государственной Думы была мысль о н е в о з м о ж н о с т и для России выйти на конституционно-парламентские пути без революции (или какой является весьма распространенная не только среди коммунистов, но и среди многих их социалистических и несоциалистических противников, мысль о н е и з б е ж н о с т и «последней схватки между капиталистическим миром и СССР»).

Недавно вышедшая превосходная книга проф. Н. С. Тимашева представляет большую ценность именно потому, что она вся насыщена фактами, показывающими, как в самых разнообразных областях жизни СССР происходит «Великое Отступление» ВКП. Не стоит еще раз поднимать старый спор о том, есть ли это та самая «эволюция», одно упоминание о которой вызывает раздражение в некоторых кругах эмиграции. Сам Н. С. Тимашев предпочитает говорить о «развитии». В противоположность несколько упрощенным представлениям тех авторов (сэр Бернард Пэрс, проф. Питирим Сорокин, некоторые публицисты из меньшевистского лагеря), для которых диграмма развития СССР состоит из двух только линий; «революционного» — и поэтому ненавистного одним и приветствуемого другими — ленинизма и «реакционного» — и потому приветствуемого первыми и ненавистного вторым — сталинизма, автор «Великого Отступления» доказывает — и показывает, — что в различных областях жизни СССР процесс отхода от ленинизма проходил разные фазы, число которых было притом неодинаково. Лишь в немногих областях большевизм пока прошел только одну фазу, могущую быть изображенной, как прямая линия (пример: процесс орга-

низации и усиления диктатуры). В других областях (семья, школа) развитие началось, как восходящая фаза — в направлении цели, поставленной себе с самого начала коммунизмом, — и затем перешло в нисходящую фазу (частичное уничтожение того, что было сделано в период восходящей фазы). В области экономической развитие прошло четыре фазы (военный коммунизм, Нэп, второе «социалистическое» наступление, отход от коммунизма). Наиболее сложный процесс — шесть фаз — имел место в области религиозной. Здесь «процесс начался восходящей фазой, которая была сильно подчеркнута в 1922-23 годах; затем началась нисходящая фаза, за которой последовала вторая восходящая фаза 1929-1930 годов, вторая нисходящая фаза, третья восходящая фаза 1937-1938 годов и третья нисходящая фаза, начавшаяся в 1939 году и непрерывно расширявшаяся вплоть до нынешнего времени».

При этом, как напоминает Н. С. Тимашев, не только отдельные процессы развивались не в одном и том же направлении, но сплошь и рядом восходящая фаза (наступление) в одной области сопровождалась нисходящей (отступлением) в другой. Так, например, первая атака на религию совпала с началом Нэпа, а атака 1937-38 годов — с периодом «смягчения коммунистических принципов в экономике» и «первых шагов лжедемократии под знаком сталинской конституции». Точно также коммунистическое давление на школу было усилено во время Нэпа и ослаблено после отказа от него. А колебания внешней политики СССР происходили одинаково и в периоды восходящей и в периоды нисходящей фазы в экономической области.

При всем том, суммируя все эти разнообразные и часто противоречивые процессы, Н. С. Тимашев приходит к выводу, что «коммунистическая революция прошла четыре фазы — две восходящих и две нисходящих». Начало последней фазы он относит к 1934 году. Это и есть то «великое отступление», которое послужило заглавием книги. Оно «не уничтожило диктаториальной организации власти, но дало населению слабое удовлетворение в виде словесного признания демократических принципов. В действительности, сосредоточение власти в руках одного — вне сомнения. Процессы 1936-1938 годов, чистка партии и вождей красной армии были наиболее яркими проявлениями этого процесса. В экономической жизни страны были сделаны некоторые весьма показательные уступки желаниям населения — уступки, которые существенно повысили производительность труда. Интернационализм был выброшен за борт и национальные ценности приобрели, с разрешения власти, основное значение. Весьма существенные изменения произошли в социальной структуре, подготовляя возрождение классового общества. Экспериментированию в школе и в семейном праве был положен конец, и старые

методы были восстановлены. В области религии последняя атака была сделана одновременно с большой политической чисткой, после чего началось полное отступление».

В отличие от «непримиримых» пессимистов, для которых невозможность каких либо реальных изменений нынешнего режима без и вне новой революции становится все более символом веры, Н. С. Тимашев не только допускает возможность таких изменений, но и считает их весьма вероятными. Он даже пытается определить — конечно, в самых общих чертах, — в чем будут заключаться требования, которые будут предъявлены народом правительству. Это, во первых, предоставление русскому народу «участия в принятии политических решений». Как совершенно правильно указывает Н. С. Тимашев, о наличии такого стремления у русских народных масс свидетельствует прежде всего «сталинская» конституция 1936 года. Она «не дала народу участия в принятии политических решений», но при этом «все было сделано, чтобы народ поверил, что он участвует в осуществлении власти».

Россия «не стала демократией», но демократическая фразеология конституции лучшее доказательство того, что русскому народу и сейчас дороги те идеалы, за которые боролись поколения русских людей до октябрьской катастрофы. Конечно, «участие в принятии политических решений» понятие весьма расплывчатое — тем более, что автор не решается даже указать, мыслит ли он это «участие», как результат введения в действие видоизмененной (ст. 126 и 145) конституции 1936 года или как результат замены этой конституции новой. Но, с другой стороны, самая эта расплывчатость свидетельствует об односторонности, с которой он подходит к этому вопросу. Среди основных требований Н. С. Тимашев указывает также на требование об установлении в СССР свободы веры «в американском понимании этого слова». Не подлежит никакому сомнению, что он совершенно прав, когда он ссылается на «великолепное сопротивление верующих» и на «далеко-идущие уступки, действительно сделанные правительством в этой области», как на доказательство того, что русский народ понимеат все значение религиозной свободы и стремится к ней. В области экономической Н. С. Тимашев не ожидает сколько нибудь серьезного давления на правящие круги в направлении денационализации крупных промышленных и торговых предприятий. Он полагает, что стремление к хозяйственной свободе ограничится требованием восстановления частной инициативы только для мелких предприятий. Не ожидает он и серьезного движения в пользу ликвидации колхозов. «Разумные требования» крестьян, по его предложению, сведутся: 1) к предоставлению каждой деревне свободы в выборе форм землепользования и 2) к демократизации колхозов.

Таковы те основные «тенденции», наличие которых Н. С. Тимашев предполагает в населении СССР. Но как будет реагировать на эти требования правительство? Конечно, оно будет противиться им «всеми имеющимися в его распоряжении средствами». Будут ли эти средства достаточными для того, чтобы «остановить ход естественного развития»? На этот вопрос, «имеющиеся ныне данные ответа не дают».

Более определенным является ответ автора «Великого Отступления» на другой вопрос: не попытается ли правительство еще раз осуществить тот первоначальный план, под знаком которого большевики пришли к власти? Иными словами, не повторится ли опять та картина, которая имело место, когда Нэп был сменен «вторым социалистическим наступлением»? Н. С. Тимашев считает это мало вероятным. Во-первых, по его мнению есть основание полагать, что и в правящих кругах вера в коммунистическую догму поколеблена. А во вторых — и мне думается, что этот аргумент гораздо сильнее первого — «не все уступки, сделанные в период Великого Отступления, были сделаны для умиротворения народных масс». По справедливому указанию Н. С. Тимашева, такие уступки могли бы быть легко взяты назад «после окончания опасности — иными словами, после победы». На самом деле, в «Великом Отступлении» играл роль и другой момент — признание неосуществимости тех или иных целей и губительных результатов тех или иных мероприятий. Поэтому — заключает эту часть своих рассуждений автор — «скорее вероятно предположение, что русская революция останется четырехфазным процессом, т. е. что за Великим Отступлением не последует Третье Социалистическое Наступление».

Это заключение, как и вся книга проф. Н. С. Тимашева, проникнутая положительной оценкой «Великого Отступления», несомненно, вызовет большое недовольство в самых различных кругах. Коммунисты и попутчики будут кричать (и уже кричат) о «клевете». Для той части левой эмиграции, которая видит в «Великом Отступлении» «реакцию», конечно, неприемлемо положительное отношение автора к этой «реакции». Одновременно «непримиримая» часть эмиграции (вторая и третья группа частично, как известно, совпадают) вероятно усмотрит в концепции Н. С. Тимашева еще один «соблазн». Что касается автора настоящей рецензии, то он считает «Великое Отступление» большим и ценным вкладом в литературу об СССР.

С. Соловейчик

«О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА»

Human Rights and Fundamental Freedoms in the Charter of the United Nations—A commentary by JACOB ROBINSON, Institute of Jewish Affairs of the American Jewish Congress and World Jewish Congress. New York, 1946.

Toward Peace and Equity—Recommendation of the American Jewish Committee. New York, 1946.

Human Rights in the Peace Treaties—Proposals of the American Jewish Committee. New York, 1946.

«Содействие и поощрение уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии», значится среди «целей и принципов», которые сан-франциская Хартия наметила для организации ОН. Причастные к выработке этой Хартии, равно как и восторженные ее энтузиасты, считают этот § 3-ий ст. 1-ой Хартии и семикратное упоминание о правах человека чрезвычайно крупным морально-политическим достижением. В самом включении этого принципа в международную Хартию усматривается громадный прогресс — по сравнению, в частности, с Лигой Наций и ее попыткой поставить под международную охрану меньшинства расы, религии, языка.

Не будем сейчас возвращаться к существу этой проблемы: мы подробно писали об этом в 9-ой — отчасти в 11-ой и 12-ой — книге «Нов. Журнала». Отметим только, что опыт ОН — ход работ в Совете Безопасности, прения о правах человека в Экономическом и Социальном Совете и, наконец, совещания министров иностранных дел в Париже, — повидимому, еще не разубедили тех, кто рассчитывали, что сан-франциская Хартия с ее «целями и принципами» лучше женевского Ковенанта обеспечит права человека безотносительно к тому, принадлежит ли он к большинству населения или к меньшинствам расы, языка, исповедания.

Соответственно этой установке, и еврейские учреждения продолжают сосредоточивать свой — и общественный — интерес на проблеме международного признания прав человека и гражданина.

Из названных выше трех работ первая говорит не столько о том, что желательно, сколько о том, что было достигнуто и как оно было достигнуто. Я. Д. Робинзон проделал большую — и малоблагодарную — работу: дал как бы резюмэ и некоторый комментарий к прошлому. Это резюмэ оттеснило на второй план собственную оценку и взгляды автора и все же оказалось неполным: одни документы — и часто общедоступные, как предложения Домбартон Окс или сан-франциcтская Хартия, — воспроизведены, тогда как другие только упомянуты или вовсе опущены.

Автора нельзя причислить к энтузиастам или чрезмерным оптимистам относительно Хартии или ОН. Тем не менее заключения, к которым он приходит, гораздо более утешительны и много обещающи, чем серая действительность. Призывы «содействовать Объединенным Нациям, как целому, без специального предрасположения в пользу той или другой ее функции», никак не гармонируют с тем положением, которое сам же автор рисует. Нельзя вместе с тем не отметить совершенно непосильной задачи, поставленной себе Я. Д. Робинзоном, — избежать политического подхода к публично-правовой проблеме, пересекающейся с политикой дважды: не только вовне, в международных отношениях, но и внутри. «Многочисленные скрытые возможности для положительного развития», которые видятся Я. Робинзону, представляются нам совершенно мнимыми и практически нереализуемыми.

Две другие работы, изданные Еврейским Американским Комитетом, тоже не лишены интереса, исторического, политического и даже научного. Но практически они натыкаются на те же непреодолимые затруднения. Даже будучи включенными в будущие международные договоры, права человека и основные свободы остаются провозглашенными, но не осуществленными в жизни, как они оказались включенными в сан-францискую Хартию без того, чтобы хоть в чем-либо и как-нибудь изменилось положение к лучшему. Да и как могут быть осуществлены эти права и свободы в отношении к меньшинствам расы, исповедания, языка, если в государствах тоталитарного и полу-тоталитарнгоо типа — а они занимают сейчас не только Азию, но и всю восточную Европу — отрицание прав человека и свободы является основой и существом этих государств, даже когда в их конституциях права человека и граждан перечислены весьма подробно?

М. Вишняк

ТРЕТИЙ ЧАС. Выпуск 1, 1946 г., 138 стр.

Русские книги по вопросам религии и философии так редки, что, казалось бы, следует только приветствовать эту брошюру или сборник и ждать с нетерпением второго выпуска. На ста страничках дано много интересного материала авторами русскими и иностранными, православными, католиками и протестантами. Всякий должен прочесть воспоминания К. Мочульского о монахине Марии Скобцовой. Вместо агиографического жития, автор дал яркие отрывки из своего дневника, из которого встает, как живая, эта замечательная русская женщина, ставшая святой, но не переставшая быть героиней

народническаго склада. Остальной материал сборника исходит из анализа общего кризиса современности и ищет ответов на него по трем линиям: социальной революции (Бердяев, Яновский, Дени де Ружемон), русского национализма (Елена Извольская, Ал. Казем-Бек) и экуменического христианства (большинство иностранных авторов и хроника). В. С. Яновский, со страстностью и преувеличениями неофита, но с большой силой, пропагандирует идеи Н. Ф. Федорова, не искажая его. Но Е. Извольская статью о В. Соловьеве, который столько боролся против русского национализма и славянофильства, кончает гимном великой победоносной России (даже «четкой стратегии», «военной согласованности и технической подготовленности»). Ал. Казем-Бек собирает капитал для московского и российского национализма, путем ряда умолчаний и фактических искажений, из жития св. Стефана Пермского, одного из подвижников несомненно анти-московского направления. Так обезвреживается и выхолащивается наследие лучших русских людей для политической потребы текущего дня.

Впрочем, единство сборнику придает не столько общность мировоззрения, сколько имя и лицо человека, объединившего этот необычайный круг — от Раисы Маритэн до Яновского. Это сборник друзей и учеников Н. А. Бердяева, многие из которых не имеют между собой ничего общего, кроме имени учителя. Но даже и в таком широком понимании трудно представить себе, чтобы Бердяев, и в его теперешней фазе, мог иметь что-либо общее с русским национализмом tout court, без всякой претензии на славянофильский мессианизм, или с религиозными обскурантами парижского Фотиевского братства. Это расширение круга приходится отнести на счет издателей. В результате, вместо одного центра (Бердяев) получилось два: Бердяев и Москва. Конечно, тема Москвы, т. е. большевистского мессианизма, поставлена самим Бердяевым в первой руководящей статье: «Раздор мира и христианство». Бердяев видит тьму, которую несет Россия (он впрочем не обвиняет ее), но приглашает ринуться в эту тьму: «Европейской культуре придется пройти через ночь». Впрочем, он почему-то уверяет своих читателей, что «русская идея полярно противоположна германской идее господства».

Самое тяжелое в этом сборнике его заглавие, голубь в лучах, изображенный на обложке и пояснительная статья редакции. Последняя не оставляет ни малейшего сомнения в том, что авторы чают нового излияния Св. Духа на страждущее человечество. Сопоставляя это с конкретным содержанием их чаяний, приходится заключить, что такое откровение Св. Духа ожидается или уже видится ими в Сталинской Москве.

Эта сублимация производит впечатление кощунства. Вспоминается «Серебряный Голубь» А. Белого. В истории не раз пытались

поймать Голубя в сети духовного и социального хлыстовства. На пороге русской революции многие чаяли Красного Голубя. Но видеть его теперь на пепелище, в мрачной пустыне, где, кажется, выжжены все цветы и побеги духовности, свидетельствует о тяжкой болезни религиозного сознания.

Г. Федотов

ПАМЯТИ РАХМАНИНОВА. Нью Йорк, 1946. 184 стр. 2 долл.

Изданный по инициативе С. А. Сатиной и под редакцией М. В. Добужинского, сборник этот является достойным венком на могилу нашего знаменитого соотечественника. Разнообразные и по своему характеру и по размерам (от 20-25 страниц до нескольких строчек), напечатанные в сборнике высказывания тридцати одного автора объединены не только чувством преклонения перед гением Рахманинова-музыканта, но и чувством любви к Рахманинову-человеку. Отсюда теплый и задушевный тон всего сборника, делающий образ Рахманинова живым и близким даже и читателю, видевшему и слышавшему его только на концертной эстраде. Как правильно указывает М. В. Добужинский, собранные в этой книге свидетельства являются ценным биографическим материалом. Помимо краткого, но очень содержательного биографического очерка, написанного Е. И. Сомовым, читатель найдет в сборнике воспоминания В. Е. Букиника о ранних годах музыкальной карьеры Рахманинова и сделанную И. С. Яссером запись разговоров с ним на музыкальные темы. Другую — и по количеству своему наиболее значительную — группу составляют воспоминания лиц, на долю которых выпало счастье встречаться с Рахманиновым, зачастую в интимной обстановке, уже в американский период его жизни. Не все из этих воспоминаний равноценны, есть между ними и неизбежные в таких случаях повторения, но почти каждая из этих «памяток» заключает в себе ту или иную яркую деталь, из совокупности которых и вырастает живой образ Рахманинова. Есть, наконец, в сборнике и статьи, авторы которых дают общую характеристику личности и творчества покойного композитора (статьи М. А. Алданова, А. П. Асланова, Н. К. Метнера, И. И. Сикорского, А. А. Свана).

Передавать содержание этих статей или приводить особенно интересные подробности из напечатанных в сборнике воспоминаний — едва ли необходимо. Книгу эту все равно прочтут все, кому близки судьбы русского искусства и дорога память ушедшего от нас великого музыканта и замечательного человека.

М. Карпович

НОВЫЙ ЖУРНАЛ

Литературно-политическое издание, выходящее раз в три месяца.

●

Цена одной книги по предварительной подписке 2 доллара; цена двух книг — 4 доллара; цена трех книг — 5 долларов. В розничной продаже книга стоит 2 доллара 25 центов.

В виду вздорожания: Цена одной книги 2 дол. 75 цент.
Цена трех книг 6 долларов 50 центов.

●

Адрес редакции:

Mrs M. Zetlin, 112 W. 72nd Street, New York, N. Y.

Tel.: ENdicott 2-9893.

Там же принимается подписка.

В виду вздорожания: Цена одной книги 2 дол. 75 цент.
Цена трех книг 6 долларов 50 центов.